



CARTE POSTALE

pays étrangers n'acceptant pas la correspondance de ce

correspondance

Ксения Кривошеина

**Шум
прошлого**

M...



АЛЕТЕЙЯ

Ксения Кривошеина

Шум прошлого

Повести

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016

Кривошеина Ксения

Шум прошлого / Ксения Кривошеина. — СПб. : Алетейя, 2016. — 352 с.

ISBN 978-5-906823-93-9

Читатель, в силу определенных условностей я не могла раскрыть в этой книге истинные имена персонажей. Многие из них известны как в России, так и на Западе. Люди с внутренним стержнем, в какой бы уголок планеты судьба их не забросила, стараются остаться людьми, потому что у них есть вера, надежда и любовь. События, описанные в этой книге вовсе не вымышленные, а списаны с жизни.

Перед нами предстают люди, которые по разным причинам и обстоятельствам попадают в эмиграцию или живут в СССР: кто-то счастлив, богат и знаменит, а кто-то идёт на сделку с совестью. Эмиграция тяжело действующее средство для каждого человека. Нужна ли свобода выбора, и в чем она заключается? Не легче ли жить по-накатанному? Известные художники, актёры, Ленинград 60-х, «русский» Париж, Италия, Швейцария... Вереница событий приводит некоторых героев книги к раскаянию и даже в храм, а другие не только превращаются в отвратительные существа, но и совершают преступления.

Как и мы с вами, герои этой книги окружены миром соблазнов, в котором слишком много материального и очень мало возвышенного. Вечные ценности размываются, перед нами предстают люди без исторической памяти, лишённые воли и веры. Проходят годы, некоторые осознают соделанное, но запоздалое раскаяние не может вернуть загубленные жизни...

ЗАВОРОЖЁННОСТЬ ЖИЗНЬЮ

Вместо предисловия

Наступают дни пустые, чёрные, и тогда кажется, что вот-вот, прямо за поворотом, ждёт тебя конец. Это состояние приживается: просыпаешься с тревогой, и весь день не в радость. Возвращаясь мысленно в прошлые годы, удивляешься, насколько жизнь была беззаботна, каждый листик, кусочек голубого неба, ожидание встречи с неизведанным — все было окрашено трепетом.

И, казалось, этому нет конца.

По природе я унаследовала характер как бы ветреный, сходилась с людьми легко, но расставалась тяжело, от разлук надолго оставались осадок в душе и рубцы на сердце. Однажды я услышала: «Вот ты сильная, перестрадаешь, а потом как птица феникс возрождаешься».

И вдруг как занавес упал. Вмиг плотной стеной отгородил сцену от зала, оставив меня вне пространства. Определить, где я и что со мной, было немислимо.

Наплывали детские воспоминания, тянуло перелистывать альбомы со старыми фотографиями, хотелось уединения, пеших прогулок, перемены мест, и казалось, что если слетать в Африку к дикарям и крокодилам, то перешибёт тоску, но это было лишь миражем надежд, а потому никуда я не улетала и продолжала нести свинцовую тяжесть на сердце. Установилось

тягостное предчувствие чего-то неминуемо плохого. В пустоте ночей, с блуждающими тенями на потолке, отдалённым плачем ребенка, с отсчетом слонов и баранов, которые так и не ввергали в сон, а только возвращали в какие-то неведомые и давно забытые деревенские тёмные поля и навозные запахи, ночь сменялась тяжёлым утренним забытьем.

Я пыталась вспомнить, с чего всё началось? Вырисовывала картинки, анализировала; невозместимость утрат и одиночество давили и вырастали огромным утесом. Возвращаясь к годам своей зарубежной жизни, я, конечно, могла только радоваться и никак не применять к себе слово «изгнание». Ещё лет двадцать назад ностальгически зазывали родные места, но жизнь сложилась так, что Франция мне стала второй родиной.

Эта многомесячная тоска началась со смерти мамы. Она уходила пять лет, телесная оболочка держала тисками, а душа выстраданно просилась наружу, и, видимо, от этого сопротивления мне казалось невыносимо тяжело сознавать мамину свинцовую привязанность к миру — к мирскому. Уже ведь и удовольствия она не получала, а всё равно улыбалась — хотя бы мне. Это оставалось у неё до конца.

Как менялось состояние самой души в этом полутеле? Как знать, может, и она то выпархивала за окно и смотрела с соседнего дерева на лежащую в своей огромной кровати старую женщину, а потом, передохнув, глотнув свежего воздуха и погревшись под лучами солнца, опять влетала через форточку в удушливое и полутемное пространство с полуопущенными шторами, с характерным запахом старческого умирания и, смилостивившись надо мной, но не над мамой, опять занимала свое место в исхудавшем и уставшем от жизни теле девяностопятилетней женщины. Несколько раз за эти годы мне казалось, что Господь уже отмерил её дни, особенно когда были микроинфаркты, операция шейки бедра, накопления жидкости в легких, многочисленные падения с длительными пребываниями в больницах, когда врач давал сорок восемь часов... Но каждый раз, как бы в насмешку, плоть вновь соединялась с душой и неземные силы, а точнее, современная медицина заставляли это маленькое ссохшееся существо, похожее на скрючившего-

ся дождевого червячка, выпрямиться... для следующего этапа страданий. Да и как тут не задуматься, если передовая наука, спасающая и продлевающая нам жизнь, приносит столько же радостей, сколько и страданий. В стремлении к вечной жизни, а у многих и вечной молодости, работают механизмы не божественные, совершенно иные: мы научились спасать людей от рака, инфаркта, СПИДа; пересаживать почки, сердце, заглядывать в тайну рождения, узнавать в утробе матери пол младенца, годами поддерживать человека в коме, продлевать жизнь стариков и смертельно больных и с легкостью решать проблемы суррогатных матерей.

Медицина почти сравнялась с библейскими чудесами (так ей горделиво кажется), но пока она не может воскресить Лазаря и, совершенствуя свои эксперименты по продлению жизни во благо «жертвы», привносит тяжелые испытания. Когда это касается нас или близких, то решение мы принимаем быстро, мы знаем, что есть благо! Мама могла бы умереть на тридцать пять лет раньше, от рака, но ей сделали успешную операцию, потом была сломана шейка бедра, ей грозила инвалидность или смерть — опять спасли, затем инфаркт, и вновь медицина продлила ей жизнь... Её оболочка укрепилась и смогла дожить до девяносто пяти лет, но ее мозг чудеса медицины не смогли обновить. Ещё не придуманы витамины и стимуляторы, которые могли бы остановить распад серого вещества. Наблюдать деградацию и превращение человека в несуществование — ужасно, утешает только, что сам человек это вряд ли осознает. Хотя однажды, сидя на краешке кровати, она, как бы вернувшись из своего неведомого мира в реальность, сказала: «Я не знаю, что со мной происходит. Где я?»

Многажды я пыталась вернуть её из неведомого мира, как бы полукомы, из сенильности, этой старческой вселенной небытия, в которой пребывает человеческая душа. Родным советуют с этим бранным телом постоянно делиться новостями, проявлять нежность, целовать, показывать фотографии и возвращаться к прошлому в разговорах. Говорят, помогает и случаи успешного вытаскивания на свет божий из «ниоткуда» — есть. А вот усохшее сознание моей состарившейся мамочки

никакими разговорами и показами картинок из прошлой жизни омолодить не получалось... Но что было с душой? Если материальная телесность, состарившись, деградирует, а потом и вовсе умирает, то ведь наша душа не имеет возраста! Когда мы молимся о наших близких, мы общаемся с их вечными душами, и вряд ли случайно так замечательно устроена память, что перед нами встает облик не больного или дряхлого человека, а — во цвете сил и полного радости.

Принято считать, что есть жизни и смерти легкие, естественные: как жил, так и умер. Но не каждому дано умереть во сне. Если вспомнить злодеев, то и они были долгожителями и далеко не все получили по заслугам при жизни. Проклятия, посылаемые их жертвами, словно укрепляли извергов. Доживая до библейских годов, они не теряли памяти и бодрости тела, преумножая преступления до гробовой доски. Может, это «ясное» долголетие послано было им в наказание — чтобы помнили всё содеянное и вздрагивали от каждого ночного шороха? Что стало с ними после смерти, в каких дантовых кругах и сколько лет или столетий пребывают их вечные души?

И всё же — моя мама была старым, но светлым человеком. Сознания и связности речи уже не было, и все таланты и всё сотворённое, выстраданное и пережитое на этом свете — из неё ушло, поглотилось неведомыми чёрными дырами. Они зияли, и каждого человека в разуме и силе — устрашали. Вместо таинственных божественных даров, щедрой доброты, сердечности, энергии, всего, что зовется личностью, остался непроницаемый скафандр, заполненный непознаваемой пустотой. И эта каждодневная пытка (моя, но не её, так мне кажется) оборачивалась выявлением во мне неведомых и дурных чувств. Человек при жизни исчез, стал другим, и, как бы я ни хваталась за соломинку надежды, — «она — та самая, ещё узнаваемая...» — все это было самообманом, который через пару дней окунал меня в ещё большее отчаяние, в выжженную и безысходную пустыню выжидания. Уже было трудно определить, какого ожидания, скорее всего, это была подсознательная надежда на высвобождение страдающего существа из телесного плена, поддерживаемого в этой юдоли слез лекарствами, уходом и лю-

бовью близких. Она так уютно лежала на огромной розовой подушке, укрытая тремя одеялами, с иконкой преподобного Серафима в изголовье и фотографией, на которой её юный внук обнимал белого с розовым брюшком бультерьера...

Почти до самого конца у мамы оставалась реакция на красоту. Она улыбалась совершенно беззубым ртом, и в глазах загоралась смешинка, когда она видела букет живых цветов или на мне красивое платье, но на следующем этапе превращения она потеряла и это, и даже отчетливый вкус: требовала шоколада и в суп добавляла шесть кусков сахара. Потом она стала злой, требовала закрывать двери, занавешивать окна и постоянно завязывала узлы из носовых платков — как бы «на память».

Из подсознания моего все труднее выплывают светлые годы, и возрастная тоска прочно завладевает мной. Житейская суета, мелкие неприятности выбивают из равновесия, лишают сна, необъяснимая тревога теснит разум, а сладкие ностальгические времена размываются в памяти.

Да, с каждым годом всё реже меня охватывает чувство восторга, состояния счастья, когда весенний дождь, первые запахи черёмухи и морского порывистого ветра, наполненного илом и солью, рождают чувства уверенности и безграничного единения со всем миром. В какой-то момент произошел разрыв. Мой вселенский рай стал малым квадратиком: передо мною безбрежное море — темно-синяя, потом бирюзовая, небесная влага, переходящая в прозрачность слезы ребенка; становится видно морское дно и стремительное передвижение косяков мельчайшей рыбешки, встревоженной моим приближением, ракушечная пудра белоснежного жаркого песка, словно повторяющего рисунок волны, сотворенного сильным послеполюденным ветром; а если распластаться на спине на этой застывшей воде, погрузив тело в горизонтальную невесомость, и смотреть в небо, то немедленно, из самой глубины души рвутся слова «Отче наш, Иже еси на небесех!..» — и хочется докричаться до Господа, и всё, абсолютно всё преобразается. В такие минуты, похожие на глубокий сон, с возрастом мы погружаемся все реже, зато всё чаще страшимся приближения тревожной ночи и бессонницы. Море, километры пустого пля-

жа, апельсиновые рощи, наши прогулки, разговоры, только мы и эта тишина, которая перекрывает посторонние шумы. Моя душа одинока, ей не привыкать рваться из собственного плена, искать родственную душу, обманываться, наполняя её страданиями, опять пускаться в поиски, а ведь чего проще, не доводя её до отчаяния или самоубийства, — посидеть, никуда не спешить, почувствовать протяжённость суток и не будоражить лишними амбициями «импульса жизни». Мы вместе, сменяются сезоны, дни становятся короче, мы увлекаемся разговором, сопереживаем, и наши души, такие разные, в эти мгновения соединяются. О, это дивное состояние единства мыслей и вечного узнавания. В такие мгновения исчезает тоскливое чувство твоей затерянности в космосе. И конечно — живопись, книги и путешествия — единое множество частиц, образов красоты, недоступные нашему познанию до самого конца пребывания в этом мире. Как бы мы ни проникали своим убогим умом вселенную, которая питает нашу бессмертную душу, она не может спасти от одряхления и неминуемой смерти наши тела.

И чем больше мы погружаемся в этот тихий мир гармонии, тем острее чувствуем свое душевное несовершенство, недовольство собой, тщетное стремление объять необъятное. И в этот момент нужно сказать себе «стоп!», перестать ныть и требовать, поняв, что то малое, которым нас Господь одарил, и есть счастье. Хотя Ники говорит, что «это малое уже много», а когда оно есть, то малое — огромно...

Всю свою сознательную жизнь мама мне повторяла «я скоро умру», или «вот когда я умру», или «вы меня доведете до самоубийства»... Это укоренило во мне с детства постоянное беспокойство, страх потери, необъяснимую пустоту, пропасть, которые возникают от исчезновения близкого человека. Но на самом деле я почему-то все больше прихожу к мысли, что мама как-то странно относилась к смерти и даже при всех бесконечных болезнях никогда всерьёз о ней не думала. Может быть, это шло от её предков нанайцев?

О вечной жизни в пять лет даже не подозревают, считают, что жизнь не имеет конца и сам ты бессмертен. Но именно в этом возрасте, однажды, прежде чем уснуть после очередной

сказки, рассказанной моим отцом, лёжа в своей детской кровати, я испугалась: передо мной открылась бездна небытия — ведь я умру! Я заплакала. Не позвать ли родителей? Но в тот же миг мне стало жалко их, ведь они наверняка расстроятся, а может, и рассердятся, они только что похоронили мою младшую сестрёнку. Не знаю, как передалось моё волнение через коридор, но из дальней комнаты, где еще горел свет, пришёл отец, нагнулся, поцеловал мои мокрые щёки, и я, как могла, рассказала ему о своих страхах. Он сразу понял мое горе и успокоил, сказав, что и после смерти моя душа воплотится в нечто другое. Он говорил мне о животных, природе, воздухе и о многом, показавшемся мне необыкновенно красивым, тем, что мы называем вечным коловращением природы, никогда не исчезающей материей духа. Это было так прекрасно и утешительно — узнать, что не только я, но и души тех, кого мы потеряли, пребывают в следующем этапе жизни, в других существах. И неважно, что эти существа не одухотворены — деревья, животные, насекомые... А главное — все то, что уже никогда не вернёшь из прежней жизни.

Я получила некую уверенность и надежду на собственное неисчезновение. Более того, на мой вопрос, а я его уже несколько раз задавала родителям: «Вы ведь не умрете завтра?» — был получен обнадеживающий ответ, хоть и на время, но успокоивший меня. Разлуки не будет! Мы встретимся, наша любовь неразделима, мы обязательно перенесемся... Куда, как, когда? Об этом я не знала и даже не хотела бы представлять, потому что до сих пор уверена, что, ушедшие на небеса, наши любимые молятся о нас, а мы о них, и эта постоянная струна натянута между нами и в тяжёлые моменты жизни по этой незримой животворной нити проходят благотворные токи утешения и взаимопомощи.

Во мне самой постепенно, с возрастом, появлялись новые муки, радости, разочарования и надежды, но рушилось многое из того, что я полагала вечным. Всего этого уже не вернёшь, хотя память крепко сохраняет за собой право в самый неожиданный момент, как из темного шкафа вечности, вынимать эти подарки. Мне кажется, и после смерти у памяти, как и у души,

есть свое место пребывания. Пробиваясь из глубины, эти воспоминания странным светом отражают сегодняшнее бытие. Даже ближние события могут внезапно, словно бутон, распуститься, превратившись в прекрасный цветок, так что на мгновение всё окружающее пространство омертвелых чувств оживает. Но бывает и другое, когда память внезапно, как бешеный пес из подворотни, кусает за ляжку и одним махом кидает в пропасть, срывая старательно заклеенные страшные картинки из детской книжки. Прочь, прочь и скорее к синему горизонту.

Сейчас моя мама лежала передо мной маленьким беспомощным ребенком и не могла ответить на мой вопрос, который я, конечно, ей не задавала: «Тебе страшно?» Кстати, я всегда поражалась тем старикам, которые говорили «Мое время пришло» или «Я свое прожил, пора умирать». Это люди высшей кротости, их смирение в осознании отмеренного времени есть истинное христианское бесстрашие смерти. Простому смертному, дожившему благодаря современной медицине до сенильного распада, уже не придет в голову столь логичное и философское решение: «Уже пора!» Хотя восклицание моей мамы «Где я и кто я?» наводит на мысли, что в самом страшном безумии человек вдруг осознает себя и тогда-то он и заканчивает счеты с жизнью... Самоубийства стариков стали так же часты, как и детей.

Все реже я вижу сны. То ли усталость, а может, и мое серое вещество стало усыхать. Но вчерашняя ночь подарила мне видение. Мы идём с Ники, взявшись за руки! Впрочем, так неразлучно ходят все старики, боясь отпустить ближнего своего, он как якорь, как страховка циркача под куполом, как спасательный круг в безбрежном океане... Да, так мы идём по широкой асфальтированной дороге, и вдруг он мне говорит: «Смотри какая быстрая и прозрачная река, давай войдем в неё». И вот мы подхвачены потоком, он несёт нас на сверхъестественной скорости, всё дальше и дальше, нам весело, мы держимся за руки, мы счастливы! Но вот скорость снижается, поток притормаживает и река втекает, как на полотнах Магритта, в некое пространство, а мы, совершенно сухие, в нашей одежде, оказываемся на дороге и с удивлением смотрим друг на друга. Что

это было? «А как же мы вернёмся?» — спрашиваю я Ники. Он улыбается и успокаивает: «Подожди немного, мы обязательно найдём такую же реку в обратную сторону».

Потом мы видим небольшой холм, похожий на гигантский валун, мы взбираемся на него, и перед нами вырастает совершенно неописуемой красоты город, он розовый, голубой, золотой, ярко-белый, на него невозможно смотреть, такой от него исходит свет. Нам хорошо, мы не можем оторваться от этого дивного вида, мы решаем посидеть здесь, остаться ненадолго, нам не страшно, потому что мы знаем, что где-то совсем рядом есть быстрая река, которая, если мы захотим, понесет нас обратно.





**Вера,
Надежда,
Любовь**

У святой Софии было три дочери, которых она назвала именами трех христианских добродетелей и воспитала их в любви к Богу. Но римский император Адриан требовал от них отречения от веры, за что подверг их страшным мукам и обезглавил...

I

Вечер не принес облегчения, жара расплавляла город. На перроне Лионского вокзала рядом с поездом, в который загружалась Маруся с малышом, завершалась посадка пассажиров, напоминая об абордажах советских электричек.

Выделялся горнист в скаутском полосатом галстуке и голубой пилотке. Он дул в медную трубу, мелодия «взвейтесь кострами...» захлебывалась и заикалась фальшью. Девочки и мальчики досадливо посмеивались, ободряюще хлопали горниста по спине и совершенно неожиданно хором затянули «Подмосковные вечера». Пели серьезно, задушевно, качаясь в такт, обняв друг друга за плечи: «Ръчка дивижится и недивижится всяя из люнного сириебря...» И поскольку для всякого француза произнести русские «ы», внятные «у» и шипящие согласные было равносильно пытке, выходило карикатурно смешно.

Последние тюки забивались в проходы вполне обшарпанной плацкарты, знакомые запахи паровозной гари и мочи били в нос, и не верилось, что это Франция. Чужих пассажиров в вагонах не было, все свои, и состав этот был не обычный, а сформированный под отъезд в «пионерско»-христианский лагерь, эмигрантской молодежи из движения РСХД.

Поезд отходил в шесть часов вечера, ехали всю ночь, приезжали в Гренобль в десять утра, потом перегружались в автобусы и до горно-палаточного лагеря катили еще часа три. Среди родителей, собравшихся у одного из вагонов, мелькали знакомые лица, здесь провожали самых маленьких, за всех отвеча-

ли «руко»-пионервожатые, старшие по возрасту, из своих же «движенцев», они покрикивали, подталкивали малышей, начальственно не обращали внимания на суесящихся родителей. Одну из этих мам Маруся уже встречала на общем родительском собрании, где инструктировали, какие пожитки брать в дорогу; толстая Шура была католичкой и работала в «Русской мысли». Её муж, высокий красивый блондин, правозащитник, и в эмиграции ездил в порты, раздавал запретную литературу советским морячкам, все еще по инерции продолжая наносить удары «по самому передовому». В лагерь они провожали двух своих детей. Блондин приветливо улыбался, успокаивал Марусю: «Да мы скоро все к вам туда нагрянем, ходим по грибы, костерок разожжём, водочки попьём. Вон, видите того щедрого человечка, у него вид состарившегося ангела, это же знаменитый диссидент, Алик Гинзбург, он тоже приедет, у нас уж давно дорожка протоптана к христианским ценностям. А вы привыкайте, вам там хорошо будет среди своих».

Муж Маруси напрягся и прошептал: «Ты не вздумай с этой третьей волной там общаться. Я тебе уже говорил, что от них ничего хорошего не жди, одна пьянка. Там наших эмигрантов будет вдоволь, намолишься и наговоришься влать, а я приеду вас навестить».

Он обнял их, поцеловал и посадил в вагон. Малыш с рюкзачком за спиной, она с крошечным чемоданчиком, хранившим память питерских антресолей и еще не впитавшим в свою искусственную кожу французский лоск.

Поезд тронулся, все прилипла носами к стеклу, радостно махали с двух сторон, платформа отъехала вправо, медленно проплыли привокзальные улицы, за ними парижские кварталы, и, будто отбросив сомнения, состав вымахнул в кварталы шлакоблоков, улепленных по фасадам телетарелками, нацеленными на Ближний Восток. А еще через полчаса за окном зазеленели поля, что-то цвело голубым, желтым, потом небо затянуло тучами, и пошел грустный дождь.

Ей удалось захватить нижнюю свободную койку. Подстелила курточку, под голову малышу свернула валиком полотенце; а она, конечно, глаз не сомкнет. На верхней полке кто-то из де-

тей открыл бутылку кока-колы, она рванула теплым фонтаном, залилась липкой буростью ей за шиворот, попала на платье, все дружно засмеялись.

Это лето было их первым упоительным общим счастьем, когда после безнадежной разлуки с мужем и малышом они наконец все втроем соединились в Париже. Страх не прошел, где-то затаился, еще навевался в снах, напоминал о тяжелой борьбе с ОВИРОм и КГБ, возвращался мигренями, так что нужные таблетки лежали на дне чемодана; сейчас было впору принять одну, дабы заглушить отвратительное уныние сердца.

А начиналась вся эта затея с поездкой в лагерь лучезарно и душевно, ей так хотелось прилепиться к неведомой доселе русской православной эмиграции. Сколько она слышала о них, читала, а от любимого мужа, который сам из бывших, так и веяло: пора голубушка, все ужасы нашего воссоединения позади, расслабься... Родители мужа чего-то от нее ждали, но главное, она сама готова была на жертвенные подвиги, к ним она себя давно готовила. Сердце и душа рвались навстречу чему-то новому, возвышенному, а потому ехала она в лагерь одержимая энтузиазмом, искренним порывом принести пользу. Ах, ах, эмигрантских деток я научу рисовать, лепить, буду читать им русские сказки!

Был у нее в университете друг, которого она боялась и избегала, а он был в нее влюблен. Как она ни увивалась, но наступил день, когда этот парень улучил момент и признался ей в любви. Сердце ее отвратительно заняло. Звали его Леонидом, он был старше ее на пять лет, и все в компании, с которой она дружила, дразнили его «столбом», а за спиной намекали, что через него тянутся провода подслушек прямо в Большой дом.

Длинные патлы, прилипшие к потному лбу, и тонкие усики с жиденькой бородашкой вызывали а памяти образ дьячка, так вышукло и со смаком припечатанный Кукрыниксами. Этот длинновострый, далеко смотрящий, приехал учиться из Кишинева. В университетских компаниях болтали, что его отец был большой шишкой, а теперь его перевели в Ленинград, что он мотается по загранкомандировкам не только в страны Варшавского блока, но даже в Югославию и Финляндию. Частень-

ко Лёнчик появлялся то в модном свитере, то с запрещённой книжицей. Маруся с приятелями под его новомодные пластинки танцевали, книжки читали, бесстрашно их обсуждали, хотя втайне были уверены, что Лёня на них стучит. Позже кто-то из-за него даже пострадал, кажется, по делу Марамзина. Одну из общих подруг допрашивали на Литейном, да так затаскали, что у неё поехала крыша, и она попала в психушку. Но был ли в этом замешан Лёня? Не пойман — не вор, и подозрения не есть доказательства, многое осталось для них тайной.

В те годы страна переживала короткую оттепель, так быстро перешедшую в зимнюю слякоть и застой. Народ был почти демонстративно счастлив, одержим поэзией, джазом, песнями Галича и прочими бардами. Длинный Лёнчик за Марусей ухаживал, она его держала на расстоянии, но когда он заявил, что хочет на ней жениться, то её затошнило не столько от его говорка малороссийского парубка, от медовой улыбки, распирающей щёки, и от ватной, мокрой ладони, бррррр...

Но так как в задачи Лёни входило всех со всеми сводить, однажды он познакомил её с Борисом.

Стояло лето, и сосны источали смоляной аромат, он только что вернулся со Щучьего озера, мокрое полотенце вокруг шеи, короткий бобрлик светлых волос, синие глаза с поволокой безысходности, застенчивая улыбка, уже женат, но сплетничали, что он её не любит, а больше всего на свете он любит живопись. Маленькая жена, актриса детского театра, весело протянула Марусе руку, потом они все вместе уселись на пол и долго рассматривали его рисунки, а уже после чая, когда беседа увлекла их, он внимательно посмотрел на Марусю и предложил нарисовать её портрет.

Она никогда не знала, где повстречается с ним в поселке, на какой дорожке мелькнет его тень. Бывало, сердце замирало, и она чувствовала его приближение: вот-вот сейчас из-за поворота он вылетит к ней навстречу на легком гоночном велосипеде... Рано утром в пятницу он выезжал с Васильевского острова, а к вечеру уже спускался по Комаровской горке, притормаживал, у Маруси холодело все внутри, но, когда он спрыгивал с седла и подходил к ней, она успевала справиться

с волнением и принимала беспечный вид, прятала глаза, притворялась, будто случайно прогуливалась в это время и шла к лесной тропинке, протоптанной от их дачи прямо к пляжу...

Каждое утро Маруся стала находить у забора бутылку кефира или молока, горлышко обмотано резинкой, под которой записка, а в ней странные каракули с рисуночками.

«Наверное, это молоко на моих губах не обсохло, вот он на это и намекает», — думала она, но девичью гордость решила преодолеть и не сдаваться.

Окно его сторожки-мастерской выходило в маленький садик, где вместо земли был гравий и странной формы валуны и сухие коряги. Задняя стена домика, увитая густым плющом, жила в основном лесу. Она пролезала в дырку забора, усаживалась на траву и, припав спиной к влажному срубу, замирала. Ветер доносил запахи костра, знакомые голоса с соседней дачи громко спорили: «А я вас, Евгений Александрович, уверяю, что Хрущ — козёл, и по «Свободе» сегодня сообщили, что ему крышка! Кстати, сегодня ночью слушал по «Голосу» солженицынские главы». — «Я вас не расслышал, Игорь Иванович, громче, пожалуйста, говорите, я высоко сижу, на яблоне ветки обрезаю... Так это те главы из «Круга первого», которые я вам давал читать в самиздате, или другие?» Бесстрашие физиков-лириков поражало воображение. Советская интеллигенция при Хрущеве осмелела.

Желание видеть Бориса переростало в муку; даже если его сейчас не было в домике, все вокруг принадлежало ему.

Для Маруси это была первая любовь с первого взгляда, описывать не стоит, скучно, потом будут и слезы, и разочарования. Сначала она стеснялась и всячески старалась не выдавать своих чувств, он частенько засиживался с её друзьями, брал гитару, откинувшись в глубь дивана, пел романсы, острил, делился воспоминаниями, рассуждал о политике, о литературе. Молодежь слушала внимательно, для многих было в диковинку, что мужчина на двенадцать лет старше прилепился к ней, некоторые подшучивали, называли его «папулей», но Маруся не обижалась, она тихо восторгалась им. Был в нём и неведомый уголок, он в эту частицу души Марусю не пускал, она му-

чила, сердилась, но потом решила для себя, что, может, это и к лучшему.

В их среде было много философов, как говорил Борис, «бесплатных болтунов», за их тирадами и выкладками терялся смысл, человеку неразвитому и необразованному эти люди здорово пудрили мозги. Борис однажды ей сказал: «Вот подрастешь, жизнь тебе тумачков надаёт, приучит к терпению, и ты многое поймешь. Главное в жизни — ждать».

Как ни странно, но его слова стали сбываться только сейчас, за перевалами лет, в эмиграции...

Жаркое лето в сосновых борах, хрустящий белый мох с душистым запахом вереска и болотных ночных фиалок, костры на берегу Финского залива, белоснежные песчаные бухты с режущей осокой, осеннее шуршание листьев под ногами, запахи прелой осени... Их беседы, особенно во время длинных прогулок, всегда были увлекательными.

Потом пришла их первая зима, и они встали на лыжи. Каждый старался друг друга перегнать, он научил её прыгать с трамплина заснеженных горок, они ходили на каток к Елагину дворцу, скользили часами по замёрзшим прудам, потом пили чай с рюмкой коньяка, слушали джаз, он рассуждал, делал наброски в альбом, она задавала вопросы, мечтала, Борис шутил, подсмеивался над ней, она обижалась и досадовала на себя, что слишком молода для него и совершенно неопытна. Постепенно у неё возникло подозрение, разросшееся вширь и вглубь, перешедшее потом в уверенность, что он знает то, чего не знает никто!

Наверное, это были детские фантазии и тайна, которую она сама выдумала, но паточный Ленчик вечно крутился рядом, всегда возникал не к месту и не вовремя, он ревновал ее, дразнил «папиной дочкой», намекая на их разницу в возрасте, он задавал странные вопросы, смысл которых Маруся не понимала. Однажды Борис, усмехнувшись, сказал ей: «А ты знаешь, что у твоего «топтуна» есть хвост, я с ним в бане случайно оказался, и, знаешь, хвостик вполне длинненький, волосатенький». Это была шутка, но то, что у паточного ухажёра есть хвост, а может быть, он сам хвост или за всеми нами ходит хвост, волосатый,

серый, в шляпе или кепке, прячется в подворотне, подглядывает, подслушивает, наблюдает,— в это она верила.

В окружении того легкокрылого времени казалось Марусе, что все пребывают в счастии. Да и как не думать? Если с утра на душе пели жаворонки, за окном цвела черемуха, солнышко согревало мир во всем мире, губы шептали: «Лишь бы не было войны, а с остальным мы как-нибудь справимся», а свисток электрички напоминал, что сегодня приедут гости, соберутся вокруг стола, будут читать стихи... на днях к ним привели поэта, он похож чем-то на Блока. Хотя был ли Блок рыжим? Поэт сидел очень прямо, как на электрическом стуле, откинув голову назад, взор закрытых глаз устремлен в потолок. Засунув кулаки в карманы вельветового пиджака, он читал стихи с какими-то странными интонациями. Потом оказалось, что он живет по соседству, и стал часто бывать у них; мать Маруси читала ему свои стихи, а он в ответ вежливо слушал, молчал и внимательно смотрел на Марусю.

Чтение стихов продолжалось бесконечно, оно перетекало с дачи на дачу, поэт жил временно у своих друзей, рядом со знаменитой ахматовской «будкой».

Поэт любил Марусю попугивать. В редкие прогулки по вечернему поселку он ей рассказывал, как к нему прилетают вампиры, оголял шею и тыкал пальцем в какие-то странные синие пятна над самой ключицей: птички, оказывается, с мышиными головами, сосут кровь почем зря. Ага, вот почему он такой бледный, словно пожелтевшая ватманская бумага... Женщины в возрасте льнули к нему с восторженной страстью, да и мать Маруси млела перед ним, но, когда он сохся от любви к одной старой деве, а потом женился на ней, никто его выбора не понял. Боже, зачем?

Ходить на концерты в Малый и Большой залы филармонии на «Мадригал», слушать Рихтера, Браудо, Светланова было неким питерским сакральным ритуалом. После спектакля все скопом шли в пивной бар под Думу, а кое-кто в квартиру на канале, где по периметру одной из комнат висела «невская перспектива», а в знаменитом кабинете с кожаным диваном и книжными стеллажами до потолка бывали небожители наше-

го времени. Здесь звучал голос великой Поэтессы, она читала «Реквием», музыка Шуберта оживала под пальцами великого Пианиста... Маруся всех их знала и вполне была в этом мире своя. Наш мир, наше малое пространство, некий малый обитаемый остров, где царили красота и легкость, в безбрежном океане серости и страха, заполненном не своими людьми. Как она дорожила этим «своим»! А сейчас? Тот мир оказался даже не мирком, а огрызком сточенного карандаша, его в пальцах не удержать и ничего им не написать... Кто спился, кто покончил с собой, умер от рака, от сердца, от почек, ссучился, а те, кто уехал, кто ещё жив, но уже не те, что прежде, забыли о том времени, о вере, о надежде и любви. Этот мир-мирок сжался до того, что его можно запихнуть в старый ломкий спичечный коробок. Для Маруси все эти люди превратились почти в привидения.

В Большом зале филармонии, в красных плюшевых креслах, в те годы ещё сидело много своих.

Поэт всегда появлялся после начала первого отделения, он поднимался на второй ярус, опирался спиной на белую мраморную колонну, руки скрещивал на вельветовой груди и замирал в профиль, слушал, потом блуждал, перемещался, мелькал то с одной стороны зала, то с другой, к кому-то наклонялся, что-то шептал, спускался вниз покурить. Уже тогда он слишком много курил.

Однажды дирижировал японец, Маруся напряженно слушала. Вдруг что-то легло на колени, игольчатый укол прошел сквозь платье, на коленях роза, оглянулась, но увидела поэта в спину.

— Это прощальный знак, — сказал Борис и понюхал розу.

— Так и встречи-то не было...

Она выросла в благополучной семье, защищённой от ударов Советов, никого не посадили, не расстреляли. Наверное, и эта удача не была случайной.

Маруся не раз задавалась вопросом: почему так?

Позже она нашла ответ, к сожалению, не очень приятный.

Романтизм и восторженность, царившие в их доме, воспитали в ней идиллическое отношение к миру, подкрепленное

опасной уверенностью в том, что хороших людей на свете больше, чем злодеев, что прекрасное будущее не за горами, а почти за поворотом, но не потому, что она каждое утро слушала «пионерскую зорьку» и куцый набор песен из репродуктора знала наизусть. Она рано осознала, что семейный оазис счастья существенно отличается от окружающей серости будней. Слишком рано она стала читать взрослые книжки и задавать вопросы. Родители иногда отвечали, а дед с бабушкой отмалчивались.

Когда она подросла, уже другие люди рассказали ей, какими слезами страданий полит красный кумач транспарантов и почему стране нужны не только ударники труда, но и пятилетний план в три года. Профили вождей мирового пролетариата на фасадах отпечатали свою свинцовость и на неулыбчивой толпе граждан, все серо-черно-бурое, ничего яркого, кроме флагов. В те пятидесятые редко кто из девушек щеголял в брюках и стриг волосы «под мальчика». Град оскорблений, ненормативной лексики лился вслед несчастным бунтарям, милиция хватала стилияг, резала на куски «дудочки», отнимала башмаки на «манной каше», брила коки «Элвисам Пресли».

Она вспомнила случай с другом юности на Невском проспекте, у кафе «Север» собиралась пестрая смесь из фарцовщиков, поэтов, художников, частенько среди них мелькали и будущие знаменитости, милиция не дремала, дружинники топтались рядом. В тот день Вильям Бруй пришел в связанном собственноручно веревочном свитере. Это был вызов! День оказался неудачным, загребли всех, «мусора» свитер разрезали на куски. Но через пару дней, когда Маруся зашла к Вильяму в мастерскую, свитер зажил второй жизнью, стал еще «безобразнее», был дополнен комплектом брюк из половых тряпок и немислимой шляпой с пером.

Ее семейное пространство было заполнено наукой и музыкой. Дед был академик, физик-атомщик, а в душе музыкант. Он хорошо играл на рояле, дружил с актерами, и в доме по старинке устраивались журфиксы, на них приглашались только свои, кое-кто из гостей пел, дед садился к роялю. Благополучие держалось на его заслугах и положении, а бабушка всегда была на страже. Она охраняла покой.

Как ей удавалось сочетать свою работу научного сотрудника с порядком в доме? Никто этого не понимал. Но она удачно расставляла все фигуры на шахматной доске светской жизни, кто-то допускался к деду, а кое-кто нет. Так постепенно сложился свой верный круг друзей, в нем было всего поровну, люди нужные, полезные, интересные, но осторожные и не излишне болтливые; в этот райский сад иногда залетали назойливые мухи, но их бабушка быстро вычисляла и очень умело вымела из дома.

В начале пятидесятых годов атомщикам и видным математикам был построен Академический поселок в Комарово, под Ленинградом. Каждый дом — двухэтажный, с финской мебелью, посудой, газовой плитой, тут же ванна, теплый сортир, огромная веранда, паровое отопление, участок земли немаленький, на нем же «сторожка», гараж, сад, огород... Только служи на благо родной науки, развивай мирный атом. Вокруг этого поселка обстроились и другие знаменитости, здесь же были дачи Шостаковича, Черкасова, Орбели, писателей Германа и Гранина и разные «дома творчества».

Дед обожал дачу, жил подолгу, практически с ранней весны до конца октября, а встречать Новый год приезжали родители с Марусей. Все в этом поселке знали друг друга, а молодежь, сменяющая поколения, дружила между собой. Это была «оттепельная» золотая молодежь конца пятидесятых, уже тогда они катались на невиданных красных «Пежо», пили заморское, били джины, папы привозили новые, им многое сходило с рук.

Для Маруси, кроме этой, другой среды как бы не существовало, с другими она общалась в школе, куда ее записали родители по настоянию деда и бабушки. В народ и в школу жизни — так приказал академик! Единственная внучка должна быть воспитана, как все, а что ее привозит и увозит в школу шофер и высаживает за углом, так это... ну, в общем, так надо.

В классе ее посадили за одну парту с Томкой, а ее брат сзади и все норовил Марусю за косу дернуть да на переменке свои руки показывал, усыпанные бородавками, А однажды на уроке физкультуры разулся перед Марусей, и она с ужасом увидела, что у него шесть пальцев на одной ноге. «Во, видала, какой я.

Ни у кого такого нет!» Конечно, она делилась с Томкой разными вкусностями, которые ей давали с собой в школу, и как-то само собой получилось, что однажды привела она ее домой. Шофер возражал, не хотел везти, но Маруся проявила характер и настояла. Бабушка, увидев их, поджала губы, но быстренько сообразила, обняла Томку за плечики и провела в столовую. Домработница поставила на стол яблочный пирог. Девочка испуганно озиралась по сторонам, косилась на картины, сцепила руки под столом и неотрывно смотрела на рояль. «А наш папка на гармошке умеет, а мамка пляшет так, что с потолка штукатурка сыплется... у соседей», — и засмеялась.

После чая Томка осмелела, когда через два часа, набегавшись по огромной квартире, наигравшись в прятки с Марусей, заглянув во все шкафы, она ушла домой, тут-то и обнаружилась пропажа серебряной солонки.

В их квартире, гигантской, с потолками в пять метров, были два рояля и фисгармония, Марусе разрешали терзать только ее. Инструмент завораживал. Резьба по черному дереву, плоский, осипший звук, выдыхаемый нутром эбенового ящика, — чтобы поддержать этот сдавленный голос над клавишами, нужно было вытягивать странные штучки, напоминавшие перевернутые шахматы, одновременно, быстро дотянуться ногами до широкой педали, сильно надавить, и тогда инструмент охал, выдыхал... и оживал звуками, протяжными, потусторонними. Мешанина странных мелодий выстраивалась в причудливые формы, фантазия тянула дальше, под пальцами Маруси множились немыслимые композиции, воображение уносило туда, где что-то мерцало и брезжило, а нотные шкафы были единственными слушателями этой темпераментной абракадабры.

Бывало, что ей разрешали поиграть в актрису. Она залезала в гардеробную, доставала из сундуков мамины платья и переодевалась в цыганку или даму.

Особенно красиво она выглядела в шляпе с вуалью.

Раз в десять дней к ним приходил настройщик роялей Павел Петрович, в семье его прозвали Папи, только ему доверялись рояли. Он ловко откидывал черные лакированные крышки, скрывавшие тугие медные струны, мягко, словно смахивая

пыль, проводил по ним рукой, прислушивался к их перезвону, брал камертон, бил им по краю стола, быстро переворачивал и металлическим шариком наставлял на струны, потом прижимался ухом к брюху рояля, долго слушал его жалобы. Слоновая кость клавиатуры под рукой настройщика журчала все податливее, сердцебиение метронома постепенно выравнивалось, и «доктор Айболит» что-то ласково шептал.

Маруся садилась тихонько в уголок, милый Папи с ней болтал, рассказывал смешные истории, угощал любимыми тянучками, позволял управлять метрономом. Она знала Павла Петровича столько, сколько ей было лет. Однажды бабушка сказала, что он заболел, попал в больницу и вместо него придет другой человек. Маруся огорчилась, но в обычное время забралась в уголок оттоманки.

Новый настройщик оказался сумрачным, даже неприветливым, гораздо старше Папи, сразу велел ей выйти из комнаты и не мешать работать. Маруся обиделась, закрыла за собой дверь, но осталась сидеть в коридоре на банкетке. Какое-то время за дверью слышались обычные звуки настройки рояля, но вдруг странный возглас, стон, и что-то тяжелое упало на пол. Маруся подошла к двери, приложила ухо, прислушалась, попыталась заглянуть в замочную скважину, но, к сожалению, дверь была заперта на ключ с другой стороны. Гробовая тишина в комнате вызвала легкий страх, но детское любопытство взяло верх, и она побежала за бабушкой. Дверь долго пытались открыть, толкая карандаш в дырочку, но старинный тяжелый ключ не поддавался, тогда бабушка позвонила в соседнюю квартиру, где жил здоровенный бас, заслуженный и народный «мастер на все руки», он принес с собой «фомку» и топор, дверь сдалась без боя. На полу лежало тело несчастного настройщика.

Ему ткнули в нос флакончик с нашатырем, брызнули водой, открыли настежь окно, мужчина пришел в себя.

— Я ведь не знал, что именно здесь меня мучили, ночью взяли, долго куда-то везли, потом вели по этажам, коридорам... куда? На краешке табуретки сидел сутками, есть, пить не давали, а если засыпал и падал на пол, то выливали ведро ледяной воды, смену дня и ночи узнавал только по квадрати-

ку неба и отсветов на крыше. Вон та труба... я ее на всю жизнь запомнил.

Все посмотрели «туда». И вправду, в форточке маячили кровля, труба и мирные голуби.

— На отца показания выбивали. Вы знаете, что это такое? Лучше не знать. Мой отец во время нэпа был часовщик, ювелир, его арестовали уже в тридцать втором, нам сказали, что он умер от сердечного приступа в тюрьме, но мать всегда была уверена, что он не выдержал побоев. Ведь из него золото «выпаривали». Прошло несколько лет, и меня взяли. Долго допрашивали... Как все странно, но я теперь понимаю, где у них были камеры, ведь этот дом примыкает к их главному штабу. Ирония судьбы, что отдали его под квартиры учёным и актерам, хотя очень удобно, можно всех знаменитостей держать под прицелом. Многих, наверное, арестовали? — участливо спросил он обращаясь к бабушке.

— Да, я помню, как перед войной, из некоторых квартир... — неожиданно произнес бас и осекся.

— Постыдились бы, ведь ребенок рядом слушает, потом будет повторять разные глупости, — строго сказала бабушка. — Нет, я ничего подобного не помню, и вам не советую... фантазировать.

Но бас не смутился и продолжал:

— Вы ведь, когда сюда шли, видели, наверное, сколько мемориальных досок на фасаде висит. Одна из них знаменитой Коллонтай, её окна приметные прямо на улицу выходят, а стекла бумажными полосками накрест переклеены... от бомбежки осталось или от чего другого? Почему квартира до сих пор необитаема? И таких в нашем доме странных квартир не одна и не две... Ваша внучка ходит балетом заниматься к знаменитой К., она мне сама рассказывала, что по ночам слышит, как кто-то плачет постоянно, а вот где, она понять не может. Даже в ЖЭК заявления писала, они комиссию прислали, стены простукивали.

— Замолчите, хватит при девочке небылицы рассказывать! Что она подумает! Что мы живем в доме с привидениями? У нас здесь царят наука, искусство и музыка... чистое искусство,

и, кстати, люди рядом, наши прежние соседи, это вполне понимали.

Бабушка подошла к окну, подергала шнурок, и тяжёлые шторы, упав театральной гильотиной, отрезали серенькие сумерки.

Маруся квартиры напротив знала. В одной из них жил дружок, Паша Преображенский, отец его — морской адмирал, а в другую она ходила три раза в неделю заниматься уроками балета, именно к этой прославленной К.

Девочки в пачках, мальчики в трико, брусья вдоль стен, напротив огромное зеркало, стареющая прима, посасывающая пустой янтарный мундштук, кожаным стеклом подстегивает в фуэте... быстрее, быстрее, пот градом, ан-де-труа, ан-де-труа, ноги выламываются в бесконечных плие, прыжки все выше, выше, кажется, и сил нет, а если поднажать, то неожиданно приходит второе дыхание.

— Пожалуйста, выйди, Маруся, — и бабушка плотно закрыла за ней дверь.

Маруся двинулась по длинному коридору к кухне, налево — тут ванная комната, лампочка источала мертвецкий голубоватый свет, кафельные квадраты, отмытые хлоркой, блистали больничной чистотой. На дне огромной белоснежной ванны, у самого стока сидела ангорская Манефа. Лапкой и язычком она пыталась слизнуть струю, носиком тыкалась в сток, припадала ухом, слушала.

Вчера еще здесь плавали здоровенные толстые карпы. Раз в месяц их привозили в подарок деду. В квартиру заносились клеенчатые сумки, в них что-то булькало, ванна заранее наполнялась водой, живность вываливалась, а домработница, деревянной скалкой похлопывая по рыбьим телам, приговаривала: «Ну, братцы кролики, оживайте...», и «кролики», с шумом расплескивая воду, оживали. Маруся стояла рядом.

Кошка будто знала день, когда должны были привезти рыбу, два дня постилась, сидела у входной двери, ждала, а как только карпы плюхались в воду, мгновенно вспрыгивала на табуретку рядом, замирала сфинксом, наблюдала, в темноте ее глаза светились немигающими плошками.

Домработница включала свет, карпы темной массой жирных тел в страхе замирали, чуяли, что перед смертью не наплаваешься. Она надевала резиновые перчатки, запускала руки в кишащее склизкой чешуей месиво, вытаскивала одного «кролика», материлась, с маху шлепала карпа о край ванны, хватала топор и отсекала голову.

Так ловко она расправлялась с рыбеёй «дичью». Процедура повторялась, за неделю стадо редело, чтобы оно не сдохло раньше времени, подливали живую водицу.

Для Манефы наступали счастливые денечки, зажмурив от наслаждения глаза, давясь рыбьими костями, она до отвала объедалась, а потом, вылизываясь, часами наводила свой кошачий марафет.

С этой рыбой у Маруси было связано воспоминание. Она гуляла с матерью в Летнем саду, бегала вокруг дедушки Крылова, копалась в песке и нашла розовую пластмассовую рыбку. Потертая, маленькая, она умещалась в её детском кулачке. Дома Маруся её отмыла и решила, что, когда привезут очередных карпов, её «золотая рыбка» обязательно спасет своих живых сородичей. Наступил день завозки «дичи», улучив момент, она прошла в ванную и бросила игрушку в воду. Не прошло и часа, как Марусю позвала бабушка, перед ней на блюде лежало её чудо. «Это что?» — «Моя рыбка. Я ее нашла». — «Немедленно выброси и никогда не приноси с улицы чужие грязные игрушки. Может, они заразные или отравленные». — «Я её нашла, она теперь моя, она чистая, ну, пожалуйста, оставь мне её, я тебя очень прошу». Маруся захлебывалась в плаче. «Как всегда, это фантазии твоей матери». — «Да, мама разрешила мне». Бабушка пошла в уборную и спустила рыбку в унитаз.

Но волшебная рыбка не утонула. Маруся пробралась в туалет, запустила руку и вытащила её из стока.

Она тоже приехала с ней в Париж.

Мама вышла замуж за папу, и через четыре месяца Маруся появилась на свет. «Он тебе не пара, но коль уж тебе вожжа под хвост попала, так будь любезна сама отдувайся, оформляй отношения и рожай». Бабушка с дедом так и не «приняли» отца Маруси, они все вместе жили в одной квартире, но силы ока-

зались неравными, старшее поколение обладало принципами морали, а мама и папа нет. «Моя дочь испортила себе жизнь, нашла какого-то ущербного. И это она! За которой ухаживал профессор Г., так нет, связалась с недотёпой, он, видите ли, непонятый гений, а как деньги зарабатывать, тут мы подкидываем, а уж к воспитанию Муси его лучше вообще не подпускать». И так далее.

О том, что мама оступилась в жизни, она слышала часто.

Дедушка ухаживал за бабушкой год и ни разу к ней не притронулся, вздыхал, стихи писал, только после свадьбы всё случилось... Пресловутый кодекс чести держался на пуританстве тех лет; если девушка в первый вечер целуется с парнем, следовательно, она нехорошая.

Мама долго боялась переступить за черту дозволенности. Времена менялись, над ней посмеивались, а она мучилась, оглядывалась на семью, тяготилась своей скованностью. Грезилось о большом и прекрасном! Но время шло, и «девушка созрела», настал день, когда она позволила себя поцеловать, потом бегала от этого парня, пряталась. На третьем курсе ещё один шажок, стихийный романчик, он даже предлагал руку и сердце, красиво ухаживал, но она нашла в себе силы, и дело «до дела» не дошло, было страшно. За ней укрепилось прозвище, не очень лестное, из-за чего парни стали её побаиваться, постепенно ряды поклонников заметно поредели.

Толик стал её лебединой песней, подвернулся случайно, оказался тихим, незлобным человеком и уж совсем не ожидал, что окажется зятем академика. Он стал любящим и заботливым отцом. От безденежья, от того, что он оказался не из «своих», что академическая семья прикрыла грех дочери, Толик был обречен на вечные унижения и сосуществование под одной крышей с родителями жены. Мама частенько плакала и защищала отца, а Марусе было всегда хорошо с папой-недотепой.

Они часто гуляли, отец фотографировал и все норовил пробраться в какие-то недоступные глазу места, за заборы, в разрушенные церкви, усадьбы, дворы, бродил по Карельскому перешейку с аппаратом и мечтал побывать в «закрытом от народа» Кронштадте. Инженер по специальности, в квартире он

отвоевал себе чулан, устроил лабораторию, проявлял, печатал, развешивал на веревке странные снимки. Пейзажи — мрачные. Лица — невеселые. Однажды он показал Марусе фотографии воздушных шариков, улетающих в небо.

— Как ты думаешь, доча, если их вместе связать, они человека подымут в воздух? — и засмеялся.

Мысль ей понравилась:

— Пап, давай испробуем на Манефе, отправим её в космос, как Белку-Стрелку, а потом и мы с тобой улетим далеко-далеко.

— Найдут, из-под земли достанут. Но мы с тобой придумаем, как их обмануть. Хорошо бы купить двести шариков, баллоны с воздухом, поехать в Комарово, на залив, обязательно ночью, проверить, куда ветер дует; если вправо, к Финляндии, то мы с тобой обяжемся и полетим... а как опасную черту пересечем, будем шарики палкой протыкать, по одному, и спустимся на землю...

— А потом?

— Будет суп с котом.

— Может быть, маму возьмем с собой?

— Подумаем, а пока это будет наша с тобой маленькая тайна.

Маруся никому никогда об этом не рассказывала.

Как нужно вести себя в обществе, что смотреть, слушать, читать и за кого выходить замуж, Марусе тоже внушали с детства. Нет, не мама с папой, потому что их воспитание никуда не годилось, да и что они могли привить дочери, в лучшем случае таскать в гости к своим сомнительным друзьям, песни под гитару петь, Мусенька говорит уже о каких-то «бардах», а на днях из их комнаты слышались джазовые завывания. Бабушка не выдержала, потребовала объяснения от родителей, у них здесь не кабак, и ткнула папу носом в фотографии Ломоносова и Бетховена над роялем.

Марусе было лет четырнадцать, когда ей, вернувшейся домой после школы, открыла дверь мать с помятым от слез лицом и каким-то ватным голосом произнесла: «Иди к себе, у нас тут разговор». На маме было ее самое красивое крепдешиновое платье, сложный восточный орнамент, бирюзовые, розовые,

белые цветы, материал из Индии, подарок отца ко дню рождения. Родители собирались вечером в гости, да, видимо, опять поссорились с бабушкой и выясняют отношения.

Муся пошла к себе, взяла книжку, прилегла на кушетку. За стеной слышались рыдания матери.

«Но при чем здесь мой муж, он, когда этот отрез покупал у спекулянта, не рассматривал его в лупу, да и я уже второй год это платье ношу». Голос деда — бу-бу-бу, что-то увещательное: «...ну, а на парткоме, тебе что сказали? Чтобы ты это платье разрежала на куски при них! Почему ты этого не сделала?»

«Как же я могу это сделать, ведь это подарок Толика, я это платье люблю, я им сказала, что готова свастики заштопать, а они требуют при них чик-чик, ножницами, иначе будут неприятности всем. Я пыталась им объяснить, что свастика у индусов совсем не то, что у фашистов, но они сказали, что и Толику влепят выговор, и устроят неприятности».

«Да, плевал я на их угрозы! Могу хоть завтра уволиться, с моей квалификацией я себе работу найду».

«Толик, а откуда они знают, что ты фотографией занимаешься? Я никогда им ничего не говорила».

«Стучат, подсматривают, прослушивают! Все! Это конец, я сойду с ума в этом доме! Может быть, вы думаете, что я всю жизнь готов в вашей золотой клетке сидеть и смотреть, как вы калечите нашу жизнь и ребенка! Я очень рад, что у нас возник этот разговор, пусть он станет последним. Или мы уходим втроем, или разводимся».

Марусе за стеной стало очень страшно, она выбежала в коридор, толкнула соседнюю дверь и шагнула на середину комнаты.

— Папочка, я с тобой.

Отец ее обнял, взволнованно что-то забормотал в ответ, мама растерялась, а бабуля-дедуля угрожающе примолкли. Так старые разногласия в семье неожиданно приняли новые формы.

Помимо фотографии, он увлекался историей и географией, мог часами фантазировать о возможной поездке в Италию или Францию, рассказывал ей о Париже, да так, словно там побывал, знал названия улиц, фамилии президентов. Бывало, он

говорил: «Вот если бы мы с тобой поплыли вместе на пароходе по Средиземному морю, то обязательно посетили бы Марсель, а потом...», и дальше следовало много интересных подробностей о маршруте, о странах, о людях, их языках, обычаях. Его мысль улетала далеко, блуждала в неведомых странах, рисовала вполне конкретные подробности путешествия, и вдруг на самом интересном месте появлялся некий затор, тупичок. Отец замолкал, мрачнел лицом, собирал разбросанные по столу листки бумаги, засовывал их куда-то на дальние книжные полки и как бы полушутя говорил: «Доча, это все между нами, мы ведь с тобой друзья и умеем хранить тайны?»

Его полеты фантазии, как ни странно, сводились к некоей сознательной слепоте и глухоте, отчего он совершенно не интересовался окружающей жизнью. Газет не читал, радио не слушал, говорил, что все вранье, но однажды она поделилась с ним случайно попавшими к ней текстами диссидентских поэтов, ей хотелось их показать отцу, и почему-то она была уверена, что ему понравится. Он взглянул, никак не поддержал разговор и ступшевался.

Марусе было это неприятно.

То ли от того, что отец знал, что обречен на вечное прозябание в ВПК, а потому никогда не увидит даже Болгарии, то ли от вируса хрущевской оттепели он немножко разморозился. Будучи от природы любознательным, а по жизни ставший человеком в футляре, он запер себя на ключ, который вполне сознательно потерял. Так однажды он сказал Марусе: «Ты знаешь, что если бы мне купили билет и предложили поехать в путешествие по Европе, то я бы отказался. Мне так хорошо с моими книгами, а там... там все наверняка иначе, чем я представляю».

Отец, сам не ведая, бросил зерна на благодатную почву. Он зародил в ней любопытство, которое так тщательно на протяжении всей его юности старались в нем самом убить. Она выросла, становилась старше, чаще задавала ему неудобные вопросы, но их беседы шли все труднее.

Вот опять ей дали на сутки листочки самиздата. Отец близорую прищурился, поднес папиросную бумагу к толстым

стеклам очков и через пару минут вернул Марусе. «Ты это в нашем доме не держи. Пожалуйста, немедленно верни».

Двухэтажная дача в Комарово по настоянию старшего поколения была давно разделена пополам, весь первый этаж с верандой в сад обжит дедом и бабушкой, а задняя веранда с крутой деревянной лестницей, по которой попадаешь сразу наверх, в три светлых комнаты и чердак-мансарду, вела к родителям. Была еще сторожка, в ней каждое лето жили дальние родственники, так уж завелось, приезжали они из Харькова на три месяца, и бабушка под суровым взглядом мужа-академика терпела глупые и неинтеллигентные разговоры с провинциалами. Дед ценил в себе доброту и поэтому старался поддерживать кровные связи.

Мама познакомилась с папой в Куйбышеве во время эвакуации, туда направили много ученых из Ленинграда, с ними и дед-академик с семьей. Свою дочь он устроил в «ящик», а Толик был комиссован и как ценный специалист работал в этой закрытой структуре. Маруся так никогда и узнала, что он там делал. Частенько он ей жаловался: «Вот сыграю из ящика в ящик, так и не увижу мир».

Фотография для отца стала отдушиной, окном в другое измерение: здесь никто его не контролировал, за свои эксперименты (так он их называл) отвечал сам, показывал только верным друзьям. Любил он делать портреты, в них характер человека проявлялся. Подсмотрел он как-то домработницу на кухне в момент генеральной уборки, умудрился нащелкать так, что она и не заметила. Как назло, попались эти фотки на глаза академику, обычно погруженный в свою науку и брезгливо относящийся к хобби зятя, он возмутился: «Все дурью маешься! Какое право ты имеешь издеваться над рабочим классом!»

Маруся с годами поняла, что папа совсем не похож на других, а они его на дух не переносили, чуяли что-то не то. Он все больше маялся, болел, что-то писал и чаще повторял дочери: «Сохрани себя, не дай им себя сожрать». Кто-то ему звонил, звал в другие города, якобы для новой работы. После этих звонков он метался, не мог найти себе места. Его тянуло в глухомань, в недоступные для связи места. Будто хотелось ему спрятаться от

кого-то. Он стал брать отпуск за свой счет, уезжал все чаще, все дальше, звонил реже...

Маруся его жалела, а с возрастом вспоминала их «полёты» на шариках, отцовские роговые очки, за которыми вспыхивали весёлые солнечные глаза, как только он склонялся над воображаемым планом их путешествия. В процессе подготовки нашлись пробелы, они вместе подробно доделали схему, отец сверял все по каким-то старым картам, он даже составил список продуктов, лёгкой непромокаемой одежды, внимательно высчитал время, которое понадобится им после того, как они приземлятся и найдут нужную дорогу до первого посёлка. Маруся была в восторге от того, как здорово он знал местность Карельского перешейка, но однажды, когда она вечером поскреблась в его каморку-лабораторию, чтобы продолжить игру, то увидела в корзинке для бумаг обрывки их плана и карты. Отец на её удивленный возглас не обернулся и довольно сурово сказал, что отказался от перелёта, потому что чего-то недодумал и, по его расчетам, они все равно бы не долетели.

Она загрустила, но тогда у неё было много других забот, которые отвлекли её от игры.

Перед своим окончательным исчезновением он позвал её пройтись.

На продуваемой ветром набережной из старенького портфеля он вытащил тетрадку и сказал, что это его «дневник»; в нем много подробностей, впечатлений, особенно характеристики разных людей и встреч. При этом он смущенно хмыкнул и добавил: «...как знать, может, он тебе пригодится. Пока я храню его у себя, но придет время, и ты его прочтёшь».

Вид у него был болезненный.

Любовь к отцу была её первой несчастной любовью, а когда он их бросил, она все чаще вспоминала их разговоры, плакала и думала, скучает ли он о ней.

Мать от скуки, а может, и от тогдашней моды, стала пописывать. И надо же такому случиться, что один тип ляпнул по пьяни, что эта «суперталантливо и музыкально построенная строка ляжет на мелодию». Мать в это поверила, взяла гитару и сочинила к стихам музыку. Компании собирались часто, после

выпитого и ещё раз налитого она пела и читала стихи... Папа Толик сразу вставал, собирал грязную посуду со стола, выносил пустые бутылки, курил одну за другой, а уже в три ночи все ехали допивать за город или в аэропорт. Мать на ногах еле держится, но «вперед, ребята, махнем в Комарово, на Щучье озеро, костер разожжём...» Толик за ней, придерживает, чтоб не упала. «Ой, отстань, лучше дома сиди, не видишь, что ли, кто со мной рядом». Но он от жены ни на шаг, в машине пьют, поют, маму укачивает: «Ой, мне плохо...», шофер притормаживает. Толик вытаскивает её грузное тело на обочину.

Стихов маминых почему-то никто не хотел печатать. «Новый мир» отказал, журнал «Юность» порекомендовал кое-что доработать. И выходило, что мама — поэтесса непонятая, талантливая, но не ко времени и, как объяснили ей друзья, что она «диссидентская поэтесса», а может быть, даже «внутренняя эмигрантка», и её могут понять только за границей.

Ей предложили с оказией переправить стихи во Францию.

Она недолго колебалась и согласилась, а чуть позже ей сны нашептали, что со своим мужем-вахлаком она погубит талант, который нельзя закапывать, талант нужно подпитывать, так что лучше всего действовать через именитых писателей, с одним она вскоре сошлась.

Это был первый побег матери из дома.

Она тогда исчезла на несколько недель. Отец после работы часами просиживал в каморке лаборатории, а на выходные собирал рюкзак и уезжал.

Сейчас уж трудно восстановить, когда у неё началось своего рода помутнение рассудка, желание всё бросить, бежать без оглядки, упиваться любовью, настоящей, последней, а потом вымаливать прощение у мужа, бить себя в грудь и казнить.

И он её прощал.

А Маруся умирала от жалости к отцу и ненависти к матери, которая прожигала свою истерзанную душу то на даче у известного писателя Н. в Переделкине, то в Москве, на квартире у поэта Е. Месяца через три, а иногда и раньше она, выброшенная за дверь законными женами, униженная и посрамленная, возвращалась в Ленинград.

Отец и это прощал.

Тогда-то и начался распад семьи, соскальзывание в пропасть, и никакие академические сетования бабушки и деда не помогали: «Позор, позор, ты хоть о нас подумай, ведь ты замужня, у тебя дочь растёт...»

Потом отец окончательно исчез, и Маруся поняла, что он больше не вернётся.

В университете она расцвела, оттаяла душой, подружилась с интересными ребятами, вместе на «джем-сейшенъ», на вечера с Соснорой, первые джазклубы, споры о смысле жизни. Она часто вспоминала отца, он наверняка был бы рад за неё. После его окончательного ухода из семьи у Маруси долго сохранялось чувство, будто отрезали ей руку или ногу. Что он поехал искать в глуши, какую правду, от чего или от кого скрывался? Вопросы эти мучили её постоянно. Мать от прямого разговора увиливала, а дед с бабушкой локти кусали, потому что за последние годы он из никчемного зятя стал «кчемным», единственной опорой и спасением от материнских закидонов... А если он уехал не в Сибирь, а куда-нибудь дальше?

Вот опять не спится. Движущиеся тени на потолке, над окном, они расплываются, принимают причудливые формы, превращаются в уродов с толстыми животами, маленькими головками, склеиваются в какие-то шары, укатываются за гардину, что-то шуршит за шкафом, отдаленное треньканье последних трамваев, гнилое дыхание из открытой форточки.

Матери нет уже три дня, где она, с кем... хлопнула входная дверь, шепот, смешок, голоса, потом за стенкой в родительской комнате возня, что-то тяжелое падает на пол. Маруся, свернулась калачиком и натянула на голову одеяло. Сердце стучит молотком по душевной наковаленке, стучит так сильно, что кажется, разрушит стену, за которой происходит что-то ужасное, и остается только молиться. Да как и кому, она не знает, не умеет. Может, помогли бы заклинания, но и они ей неведомы. Стихов материнских она не знает, всегда отказывалась запоминать. Ведь она никакая не поэтесса, а так, выскочка, вот и ни один журнал ее печатать не хочет. Так что ее вирши — это полная ерунда, только одни несчастья от них, одно разрушение.

Но из ночной памяти выплыли слова, и её губы зашептали: «В углу зловещем наших будней, в потоке черных слез отчаяния, в надежде на спасение, в мольбе на воскресение и в радость пробуждения, приди ко мне, покой; по ниточке натянутой, канатом перетянута, над пропастью иду, и горло запечатано, да так, что не сказать, что в радость, что в печаль; а если вынуть кляп, и в голове продует сквозняком, и под канатом расстянуть матрацы приземлений, то, может быть, в надежде на спасенье не будет страшен роковой прыжок...»

Стихи эти когда-то читала мать.

Утром Маруся резко распахнула дверь в родительскую комнату, чтобы всё раз и навсегда расставить по местам и поговорить начистоту.

На кровати в полумраке шевелились два тела.

Она выбежала на улицу, жгучие слезы позора заливали лицо, прохожие на неё оборачивались, и у самого входа в университет столкнулась нос к носу с Ленчиком.

— Ты что, детка? Что случилось? Ну-ка пойдём поговорим.

Почему именно ему она все рассказала, до сих пор непонятно. Задыхаясь, путаясь, прижимаясь всем телом к этому чужому человеку, она лепетала нечто совершенно несусветное, неприличное, то, о чем обычно молчат.

— Скажи, а твоя мать действительно отправила стихи на Запад?

— Откуда ты знаешь? Я ведь тебе этого не говорила.

— Да я их читал в одном русском журнале, он издается во Франции. К сожалению, показать тебе не могу, так как мне самому этот журнал давали на время.

— Что же теперь будет, как ты думаешь?

— Знаешь, пусть это останется между нами. Я умею хранить тайны. Для поднятия настроения предлагаю программу: сегодня пойти в филармонию на концерт, а завтра махнем в Комарово, там один художник устраивает сабантуй, он недавно вернулся из Тарусы, долго жил там, почти пять лет. Собирает разных людей — и поэтов, и музыкантов, а жена его, актриса ТЮЗа, травестишка-маленькая мышка, здорово бьет чечетку. Неужели ты его не знаешь? Их дача недалеко от вашей?

— Нет, я художников в поселке не знаю, только поэта, он мне все про вампиров сказки рассказывает, ухаживает за мной. А как зовут художника?

— Борисом кличут.

Она в деталях помнила этот день: стояло лето, и сосны источали смоляной аромат.

Он только что вернулся со Щучьего озера, мокрое полотенце вокруг шеи, короткий бобрик светлых волос, синие глаза, застенчивая улыбка, уже женат, но сплетничали, что он ее не любил, а больше всего на свете он любил живопись и Тарусу. Сюда он приехал на дачу к матери, на короткое время, у него мастерская в Ленинграде, в доме художника на Песочной набережной, вид из окна на Неву.

Маленькая жена, актриса детского театра, весело протянула Марусе руку, потом они все вместе уселись на пол и долго рассматривали его рисунки, а уже после чая, когда беседа увлекла их, он внимательно посмотрел на Марусю и предложил нарисовать ее портрет. Леня помрачнел и вышел, жена, маленькая мышка, сердито надула губки и закурила, а Борис улыбнулся синевой глаз.

Потом пришло много гостей, стали пить, курить, петь песни, а он сидел рядом с ней и рассказывал о Тарусе, говорил, что мечтает поскорее туда вернуться и что его приезд в Ленинград временный, связан с семейными неурядицами. Маруся слушала его и чувствовала, как у нее наворачиваются слезы и что ей ужасно не хочется, чтобы он уезжал, и как-то сразу стало понятно, что ее ножом в самое сердце ударила любовь с первого взгляда; что слова, которые она ему нашепчет, ей тоже известны: «Проводы стали обычным делом, ночь и день мы проводим вместе, память наша обнимает за плечи; через туман мы старались пробиться, руки тянули и были биты, мы хотели искупать наши лица в прозрачных водах разговоров о птицах, тех, что поют нам соловьиные песни, тех, что кукуют отсчеты лет, тех, что прилетают под видом вампиров и пьют нашу кровь из высохших вен. Проводы стали банальным событием, мы уже не страдаем от ран, зажили и затянулись порезы...»

— Правда, что ваша мама — поэтесса? — спросил Борис.

— Не знаю, говорят, что да, но я её стихов не помню, поэтому не смогу вам прочитать.

Наверное, влюблённость в Бориса — это тоже не случайно, в чем-то подмена отца, Борис бы ему понравился...

Таинственность забавляла, сердечко трепыхалось, как осенний лист на ветру. Отношения их зашли далеко, да так, что теперь многое нужно расставить по местам. Но почему-то, как только Маруся приглашала его в гости, он уклонялся. На дачу заходил, но всегда в компании друзей, как бы между прочим и всегда держался так, что её семья не догадывалась об их отношениях. Комаровская молодёжь шушукалась, строила планы, видно, кто-то настучал, и однажды дед спросил: «Борис что, за тобой ухаживает? Ведь он старше тебя лет на десять, только что развёлся».

Гербарий из фиалок и васильков скоро пополнился репейником и колючками, нашлись подружки, дополнили её фантазии, ревность разъедала кислотой, проедала подушку бессонницы, утром Маруся ругала себя и обходила телефон — подальше от соблазна позвонить и жгучего стыда, что сама навязывается. Она считала часы, дни, ехала на дачу, а там пусто, его нет, она пускалась в длинные прогулки по заливу, морской ветер дул так сильно, что вышибал слёзы, но это слёзы от ветра, а не от ревности, ведь на самом деле Борис её любит, и все подозрения напрасны, она напишет ему письмо, в нём не будет ни слова упрека.

События, о которых она даже не помышляла, уже стояли на пороге, выстроились в очередь, и каждое кричало, что хочет быть первым. Но рухнуло сразу всё, и под обломками погибла надежда.

* * *

Ей было хорошо в объятиях этого молодого человека. Он молчалив, но от того еще загадочнее. Вчера в накуренной полутьме он подсел к ней, представился и заговорил о поэзии. В этой компании он был самым молодым, а она самая старая. Может, от выпитого, но он ей показался трогательным и податливым телянком, нежная кожа его небритых щек возбуждала в

ней материнскую позабытую страсть — слепить и подчинить. В ночном такси, прижавшись к нему, она зашептала: «Ты должен держаться уверенней». Он ухмыльнулся.

Академическая квартира спала пустым сном, обстановка пьянила роскошью, мягкость ковров, картины, она протасила его к диванчику, а сама, откинув крышку рояля, заиграла. Окна не занавешены, звуки падают на дно дворового колодца, поднимаются в серенькое поднебесье ночного города, улетают за Невский. Они были одни, и весь мир принадлежал только им. Чуть позже их тела, раскачиваемые в такт объятий, переместились в спальню и продолжили начатое.

Поздним утром, проснувшись первой, она накинула халатик в ярких китайских драконах и села перед трюмо. Отражение в зеркале смотрело на неё женщиной с распавшимися по плечам волосами, в которых поблескивали ниточки инея, мешки под глазами, подтеки туши, а если спустить взгляд ниже, то далее следовала белая шея с резкой серповидной складкой, переходящей в пополневшее с годами тело.

Она постаралась красиво причесаться, привела в порядок лицо, тщательно запудрила мелкие морщинки на лбу и вялые тени вокруг глаз, встала и, отдернув тяжелую портьеру, впустила в комнату солнце. Взгляд её перешел на худенькие обнаженные плечи, выпростанные из-под одеяла, и она подумала, сколько может быть ему лет, вчера в компании он выглядел до странности застенчивым, беспомощным. Но потом она поразилась его осведомленности: он знал современную литературу, читал многое в самиздате, вхож в те же круги диссидентских поэтов, что и она, говорил, что упивается Бродским и слышал, как тот читает стихи. Кажется, он учится в университете, вот только чему, она не запомнила.

Солнце уже целиком заливало комнату, и луч нахально бил в лицо спящего юноши. Она пощекотала у него за ушком, он как-то мгновенно проснулся, свесил худые ноги с кровати и, смущаясь, стал натягивать брюки. Застегивая рубашку, он старался на нее не смотреть, молчал и смущенно попросил стакан воды.

—Я хочу сделать тебе подарок, — она выдвинула ящичек и достала из него галстук. — Он совсем новый, один иностранец

привез в подарок моему мужу... да мой муж объелся груш, — и засмеялась.

Парень неожиданно ослабился и небрежно сунул галстук в карман брюк.

— Так ты не хочешь кофе?

— Нет, мне пора бежать, я вечером позвоню, — утро сменило ночную похмельную страсть на неловкость, и было как-то не о чем говорить.

— Нет, дорогой, это я тебе позвоню. Вот, черкни свой телефон.

Он откашлялся, во рту противный вкус — смесь горечи с кислятиной.

— Нет ли... тройчатки, голова раскалывается.

Она усмехнулась, он тщательно избегал «ты», на которое они вчера перешли совершенно естественно.

— Я тоже с тобой за компанию глотну... ой, ой, моя бедная черепушка, — и, словно китайский болванчик, она смешно закачала головой.

От этого безымянного не «ты» и не «вы» она в первый раз почувствовала всю неловкость ситуации, которая настолько не вязалась с её привычным укладом жизни, настолько не входила в ее планы, хотя планов уж давно не было и жила она по накатанному; а таким образом из пустяка, из случайной встречи в компании полудрузей, где она многих знала, выросло нечто странное, глупое и, что самое удивительное, вскрывшее в ней неведомые стороны самой себя.

Последние годы её жизнь напоминала гигантский жадный пылесос, поглощающий все сразу и без разбору, прожорливость этой адской машины утолить было нечем. Она не любила вспоминать их жизнь с Толиком, хотя долгие годы ей казалось, что именно это и было настоящим счастьем; её забавляли отношения с родителями, вечно они были недовольны, учили, как нужно жить и воспитывать Мусю. Эта жизнь взаимно скрашивалась некой игрой в сопротивление, и им обоим грезились, что наступит день, когда они освободятся от оков, бросят всё и начнут жить хоть в шалаше, да в раю.

Иногда ей было жаль себя, вот и сегодня утром, наблюдая за спящим юношей, она подумала, что он почти одного возраста

та с ее дочерью и вполне мог бы ухаживать за ней, а что она, старая дура, сошла с ума и выглядит смешно. Когда за ним закрылась дверь, ей стало совсем грустно, хотя в последние годы она убеждала себя, что грусть и тоска — лучшие спутницы поэзии, именно во имя этого нужно страдать и только через неустройство в личной жизни она окончательно состоится как поэтесса. На ум приходили биографии великих литературных дам, которые ради музыки сжигали и не такие парусники, как их с Толиком жалкое суденышко.

В столовой слышалось равномерное шарканье щетки, это домработница пришла через черный ход и уже занялась уборкой, натирает пол. Старики на даче до глубокой осени, Маруся с ними, у неё сейчас каникулы, а она одна в царстве мыслей и томления. Лето было в разгаре, а она любила лето, но не на даче, а здесь, в душном и влажном Ленинграде. В прошлом году именно в это время она рассталась с известным писателем, уже немолодым, каждый вечер он читал ей главы своего нового романа и обещал свести её с издателем...

Она приняла душ и, переодевшись в легкое крепдешинное платье, прошла в столовую. С широкими плечами грузчика, пухлозадая домработница, заткнув по-деревенски юбку за пояс, ползала под роялем, натирая до блеска паркет ворсяной тряпкой. В комнате вкусно пахло воском, мебель из карельской березы сдвинута в угол, рядом скручен в упругий валик гигантский ковер, томная тяжесть в ногах и теле после горячего душа тянула Тамару прилечь на кушетку, где щеки и губы еще хранили память безумной ночи. Она подошла к роялю, нажала на белую клавишу, потом на чёрную, села на вертящийся табурет, вытянула из стопки наугад ноты, раскрыла их и заиграла. Пальцы легко бежали по октавам, но мысли были не здесь, они роились и плохо выстраивались в обычный порядок. Домработница раскорячила стремянку и, повесив на шею ведерко с мыльной пеной, тяжело взобралась на вершину, к люстре.

Два раза в году, летом в мёртвый сезон и перед новогодними праздниками, над хрусталём этого старинного монстра совершались таинства омоложения. Специальные составы из

уксуса и нашатыря творили чудеса, каждый листик и бусинка промывались и протирались.

В детстве маленькой Марусе разрешали, устроившись на полу, «помогать в работе»: разбирать бусины, отделять листики от колечек и крючочков, готовить их к развеске, а через два часа — оп! — сверкающий каскад заливал комнату. Теперь Маруся большая, у неё своя жизнь, о которой никто ничего не знает. Неожиданно Тамара Николаевна вспомнила, как весной её пригласили на день рождения в шумную компанию, и там сквозь табачный чад в группе, стоящей у окна, она увидела дочь, а рядом с ней мужчину, блондина с голубыми глазами. Она попыталась к ним подойти, но Маруся первая подбежала, шутливо чмокнула в щеку и сказала, что ей нужно убежать, и они скрылись. Кто-то сказал потом, что у её дочери роман.

Пальцы замерли, она закрыла лаковую крышку и подошла к раскрытому окну. Августовское лето дохнуло в лицо. Она уперлась в широкий подоконник и попыталась заглянуть на дно двора, но не вышло: было слишком высоко, а вот и труба, вечные голуби на ржавой кровле прямо перед глазами. Как Мусю в детстве напугал этот настройщик, бац, и в обморок упал... да, она всегда была слишком чувствительной, слишком ранимой девочкой и слишком любила отца. Ну, да ничего, жизнь её обеспечена, квартира, дача, а со временем она многое поймет и простит мать... На этом странном месте мысли её совершили кульбит и уперлись в тупичок. Она сердито повернулась спиной к окну, решительно пересекла комнату и вернулась в спальню.

Здесь было пусто и одиноко. Чёрная самопишущая ручка дремала на незаконченной строке, рядом клочок бумаги с его телефоном, а где-то рядом должна быть книжечка в синей обложке. Куда же она завалилась? Ведь не могла она так просто исчезнуть? Как ни была она вчера опьянена, но в памяти четко осталось, что славист ей эту книжку дал в руки, поздравил и сказал, что он готов передать в парижское издательство ее новую рукопись. Вчера она пришла в компанию именно для встречи с этим французом, через общего знакомого ей передали, что наконец-то она получит изданную книгу. Сюрприз! Тамара Николаевна уж и не надеялась! А тут вдруг такая радость.

Именно в тот момент, когда в квартире друзей, устроившись в укромном уголке, они перелистывали страницы, а она, замирая от радости и подливая себе и ему водочки, пила за успех, подсел к ним этот «мальчик». Иностранец смутился на мгновение, но мальчик протянул руку, и пришлось ему книжку показать. Хотя напрасно, не нужно было этого делать. Но, с другой стороны, он так мило и хорошо говорил, хвалил и говорил, что читал ее стихи в самиздате и что он счастлив их неожиданному знакомству, ну а потом уж все закрутилось дальше.

Она раскрыла сумочку, но её внутренности зияли скучной пустотой, она встала на колени, заглянула под кровать, но и эта надежда испарилась. В это мгновение раздался стук, и дверь приоткрылась.

— Есть будете? — спросила домработница. — Я вам на кухне сырников оставила, они теплые.

— Слушай, Дуся, ты, когда убирала в столовой, такой книжечки в ярко-синей обложке не видела, она маленькая, на тетрадку похожа? Не могу найти, все перебрала.

— Да откуда же мне знать? Я чужого не беру, а если и найду, где что завалилось, то всегда кладу на место, или в шкаф, или на ваш стол. Нет, книжки не видела. Так, может, этот малый захватил? — и она осклабилась в улыбке.

«Неужели этот паршивец взял мою книжку, да нет, этого не может быть, нужно вспомнить, принесла ли я ее домой, или она осталась там, в гостях, а может, выскользнула в такси».

Первые цифры его телефонного номера говорили от том, что он живет где-то в центре. Она сняла трубку и набрала номер, было занято, она перезвонила через пятнадцать минут — опять занято. Прошел час, и тревожные короткие гудки вызвали в ней уже не только раздражение, а уверенность, что книжку взял он. Но тут же она стала успокаивать себя и говорить, что если он и сделал это, то только потому, что хотел прочесть стихи, и опять всплыли в памяти вчерашние разговоры с иностранцем. С каким любопытством и тактом молодой человек расспрашивал слависта о французской поэзии, о русской эмиграции, а под конец между ними завязался интересный разговор об Ахматовой и Мандельштаме. «Знаете, мне всегда казалось, что она давно

умерла, а тут выяснилось, что она еще живет в Комарове». Тамара Николаевна сказала на это, что ей однажды посчастливилось и один из молодых модных поэтов даже передал великой поэтессе её стихи, но реакции не последовало.

* * *

— Проходи, садись, рассказывай, — коренастый, лысый человек неопределенного возраста, в лёгком пиджачке без галстука, в белой рубашке апаш, дружелюбно указал Лёнчику на стул. Он плюхнулся на жесткое сиденье, вытянул длинные ноги и бросил взгляд на поверхность стола. Мужчина занял место напротив, закурил, вынул из ящика пухлую желтоватую папку и развязал тесёмочки.

— Ох, устал я, больше не могу. Такого еще со мной не было, и зачем вы это на меня повесили? Может, замену мне найдете, кого-нибудь постарше да поопытнее?

Человек в ответ усмехнулся, бросил быстрый взгляд на молодого человека и ласково погладил поверхность папки.

— Что с тобой, парень? Уж не жара ли расплавила твои мозги? Ты у нас незаменимый, да мы же договорились, что будем считать это дело твоей последней стажировкой, ну, а впереди тебя ждут великие дела. Знал бы ты, какие сигналы мы получаем от друзей академика! А он человек государственный, его нужно оберегать, дело дошло до того, что он, бедняга, письма наверх пишет, защиты просит. Умоляет обуздать дочь.

— Да, я от Маруси слышал, что дед её совсем сдал, держался всегда молодцом, а тут стукнуло ему восемьдесят, отпраздновали юбилей, а семейка ему сюрприз за сюрпризом, он и заболел, теперь на даче безвылазно живет, кроссворды на веранде решает и никого не хочет видеть.

— Плохо, очень плохо, не должен я тебе говорить, но врачи поставили ему диагноз... Ну, да ладно, показывай, что принес.

— Вот, — и Лёнчик вынул из дипломата книжечку в яркосиней обложке. — Учтите, я уверен, что она скоро кинется её искать.

Человек, сверкнув золотыми коронками, улыбнулся и любовно погладил шершавый переплет. Закурил, прищурил глаз

от дыма. Перелистнул несколько страниц, задержался на выходных данных, рука его потянулась к листу бумаги и что-то записала, потом добавила несколько цифр, сигарета скурилась в три затяжки, прикурилась новая, пометки заполнили лист, и синяя книжка упокоилась в деле.

— Не волнуйся, мы над ней поработаем и тебе вернём. Придумай своей поэтессе легенду попривлекательней, ну, не тебя учить.

— Скажите, а что с Марусей будет? Отец у неё исчез, она говорит, что он уехал в другой город работать, у матери крыша поехала. Муся так переживает...

— А ты за неё переживаешь, да? Угадал?! — Лысый хохотнул и закатился в астматическом кашле. Вытирая платком набежавшие слезы, он раздавил в огромной пепельнице сигарету, и, словно из пустого пространства, на столе появилась бутылка коньяка.

— Жалко тебе её, ты в неё ведь давно втюрился? — Привычным жестом был разрезан лимон, а блюдечко с сахарным песком и два гранёных стакана, выплыв из небытия, завершили натюрморт. — Не должен я тебе этого говорить, но у её папаши, Толика, тоже шарики за ролики заехали, нервишки сдали, вот мы и помогли ему поменять место работы. Он к нам обратился, а мы ему помогли, он ведь специалист отменный, да и фотографию хорошо знает, так что перепрофилируется постепенно, успокоится, а там, глядишь...

Лёнчик удивленно поднял брови, раскрыл было рот, чтобы спросить, но сдержался, понял, что лучше не знать подробностей, да и вряд ли бы он их получил.

— Давай хлопнем, расслабимся, — коньяк одним глотком булькнул в горло, лимонная долька обмакнулась в сахар, и смачно обсосанная корка сплюнулась в пластиковое ведро из-под бумаг.

— Ты слышал, слух какой прошел? Сейчас грипп желудочный в городе свирепствует, так что давай-давай не стесняйся, коньяк с лимоном — лучшее профилактическое средство от всякой заразы.

— Это что-то вроде дизентерии? — Ленчик о гриппе ничего не слышал, но подумал, что в такую жару в городе любая дрянь

может появиться, а потому нужно мыть фрукты и овощи кипяченой водой.

— Расскажи-ка об этом французском слависте, Жане Нуво. Как они с поэтессой общались, о чем говорили, какие планы строили? — Лысый разлил еще коньяка, встал, прошелся по кабинету и включил вентилятор.

Лёнчик взмок, темная прядь длинных волос отклеилась и непослушно падала на глаза, и как он ни старался прилизать её гребеночкой, никак не получалось поставить её на прежнее место. Несмотря на открытое окно, в комнате было душно, день догорал, в коридоре за дверью ни звука, ковровые дорожки скрадывали шаги сотрудников.

— Как я понял из разговора, она еще ему кое-что собирается передать для этого издательства. Как оно называется... ИМКА, что ли? Тамаре Николаевне предложили печататься под псевдонимом, но она заявила, что ничего не боится и прятаться не собирается. Может, она думает, что ее не тронут из-за отца-академика?

— Что я могу тебе сказать на это? Мы готовы, конечно, оградить от неприятностей прежде всего семью, а потому вызовем ее, поговорим, объясним, припугнем. Надеемся, что голос разума в ней восторжествует. Она ведь не сумасшедшая, чтобы калечить свою жизнь из-за каких-то стишков?

— Да уж, странная ситуация, ведь не девочка, а уже вполне в годах, живет в роскоши, дочь красавица, муж тихий, приличный.

В голове у Лёнчика промелькнула мысль, но он её сразу прихлопнул, как надоедливую муху, нет, с мужем всё в порядке, он и вправду в другом городе.

— Вот полюбуйся, — и Виктор Иванович положил на стол небольшой журналчик, — это «Континент», издается в Париже, главный редактор Максимов, когда-то был вполне нашим писателем, а как уехал за бугор, так продался за деньги ЦРУ и издает всякое мракобесие. Тут и славист Жан Нуво пописывает, рассказывает о Солженицыне, о своих встречах с Пастернаком... что ни слово, то ложь. Да ты полистай, тебе полезно знать врагов в лицо и с кем твоя бальзаковская красавица связалась.

Лёнчик заглянул в оглавление, где наряду с совершенно неизвестными ему фамилиями были имена писателей, которых он знал как вполне своих и даже патриотических.

— Как же здесь Виктор Платонович Некрасов оказался? Он же наш! Это он написал «В окопах Сталинграда»?

— Был наш, да сплыл. Хороший человек, а слабак, поддался провокациям, теперь во Франции выступает, печатается и клеветает на все передовое. И таких много, только нельзя допустить, чтобы Тамара Николаевна пошла тем же путем. Скажу тебе откровенно, что мне самому такую головомойку устроят, мало не покажется. Так что нужно действовать быстро и умело.

Он вышел на Литейный и сразу перешел на противоположную сторону, взглянул на фасад Большого дома. Каждый раз, как он там бывал, его не оставляло чувство страха: вдруг что-то не так и его запрут здесь навсегда? Ведь так бывало с другими. Но с ним вряд ли это возможно. Все-таки у него отец — большая шишка, и с ним они считаются. А сам он поработает «стажером» и будет свободой птицей, да и поручения, которые ему доверяет В. И., не так уж скучны, все-таки он многое узнал, познакомился с разными людьми.

День догорал, и вдруг он вспомнил, что впереди выходные, а потому можно сесть в троллейбус, доехать до Финляндского вокзала и махнуть в Комарово. Но от бессонной ночи глаза слипались, сил ехать за город не было, и он решил пройтись пешком до дома.

Леня четко запомнил, как в ночном бреду она ему проговорила: «Слышь, малыш, он еще и денежку обещал, хоть они мне и ни к чему, но все-таки приятно».

Деньги ей и вправду были не нужны, но мысль, что она за стихи получит не деревянные рубли, а валюту, приятно щеконала тщеславие. Он, конечно, не сказал В. И., что, помимо книжечки, французский славист привез Тамаре Николаевне гонорар и что в ближайшее время он эту сумму ей передаст.

— Вот ведь здесь, у себя на родине, ни одна собака меня не оценила, а там взяли, издали да еще заплатили.

Часы показывали три ночи, опивки теплого шампанского

уже не пенились, а скучали на дне бокалов. Тамара опять закурила.

— Может, не нужно эти деньги брать? — робко предложил он.

— Это еще почему? Они никогда не лишние, вот и тебе, малыш, подарочек устрою. Поедешь со мной к морю?

— А может, не надо?..

Об этом ночном разговоре он лысому тоже не сказал, потому что красочно представлял, что бы произошло, если бы «они» об этой валюте узнали, тут наверняка разговор с Тамарой Николаевной пошел бы иначе. Пока они еще могут надавить на совесть, что, мол, старик академик страдает, а вы, мол... Хотя нет. С их языка сорвалось бы: «...а ты с..., одумайся, зачем тебе эти сомнительные связи с иностранцами, мы постараемся тебе помочь, порекомендуем твои стишки в одно из наших издательств».

Они сумеют ее разжалобить, а если нужно, запугать. Согласится ли она на это? Ленчику казалось, что она на эту приманку никогда не клюнет. Судя по настрою слависта, он тоже упертый. Дело зашло далеко, что-то там странное, чего он не уловил из слов В. И. о судьбе несчастного мужа Тамары Николаевны. Куда-то он уехал, куда-то его устроили работать? Да неужели он в психушке?! От «них» всего можно ожидать, вот и меня не пожалеют, пока я им нужен, они возьматся, обещаниями потчуют, а придет время...

Мысли его сыпались, как семечки из дырявого кулька, прыгали по мостовой, шелухой застревали в горле, от них скребло, мутило. Противная ночь, душное утро, от разговора с лысым холодящий страх. Ленчику стоило большого труда сосредоточиться, прошлое выплывало разными картинками, крючочки дел привязывали следствие. Из «стажировки», которую он принял играючи от этих типов, совершенно не подозревая, к чему все приведет, на сегодня выстроилась даже не западня, а тюрьма, да ведь сам себя он в нее и засадил. «Ты не волнуйся, ты нам поможешь — мы тебе подсобим. Все через это проходили». И расписали ему радужные перспективы распределения после диплома с работой в одной из ведущих газет, а еще намекнули

на целый ряд «стажеров», с которыми он сталкивался в университете. Фамилий, конечно, не назвали, а потому оставалось только догадываться, кто под таким паскудным делом подписался.

Ничего от него поначалу не требовали, хотя сразу дали кличку — Длинный.

Жил он один в большой квартире, родители вечно по заграничным командировкам, а потому Ленчик частенько собирал большие компании, и никто не подозревал, о чем он ведет свой дневник. Он писал как бы для себя, ведь он учился на факультете журналистики и хотел отработать стиль, развить наблюдательность, отточить перо; самое-самое сокровенное он доверял этим страницам и особенно о чувствах к Марусе. Он ее боготворил, он стал ее рабом, ее тенью, ради нее он готов был спрыгнуть с Дворцового моста и переплыть Неву в самом широком месте. Высоты он боялся, но ради Муси спрыгнул бы. Ничего у него с ней не было, даже намек на близость, только однажды как-то грустно она ему призналась: «Вот и мои родители были когда-то счастливы, а теперь крышка, папочка уехал». Никогда никому она не рассказывала о выкрутасах матери, о ее загульной, забубенной жизни, но Леня сведения накопил сам, и дневнику пришлось выслушать и об этом, а теперь придется отчитаться страницам и о проведенной ночи с Тамарой Николаевной.

Мысль, которая пришла ему в голову сегодня утром, хоть и раскалывалась башка от нестерпимой боли, была проста, но если план удастся осуществить, то он спасет Мусю.

Еще до того, как вставить ключ в замочную скважину, он услышал, как за дверью разрывается телефон, но торопиться не стал. В голове промелькнули все те, кому он сейчас нужен позарез, и прежде всего Тамара Николаевна. Главное — затаиться на время, ведь книжечки у него все равно пока нет, большая надежда, что вернут завтра к вечеру, вот тогда он и объявится перед ней.

Леня прошел из комнаты в комнату. Родительская квартира дышала скучнейшим уютом заграничных поездов, венгерские стенки, ковры, хрусталь. На кухонном столе под тарелкой с черешней записка. По каракулям он узнал почерк домработницы: «Звони-

ли родители, прилетают через три дня». Спелые, сладкие ягоды навевали мысли о солнце и отдыхе. Вот и Тамара мечтает поехать в Крым. Может, и вправду махнуть с ней в Коктебель?

В квартире было душно, в этом году стояло необыкновенно жаркое лето. Перед домом во дворе, почти влезая ветками в окна, рос старый гигантский тополь. Каждую весну он цвел, приходилось держать окна закрытыми, иначе белый пух залетал в квартиру, оседал на коврах, забивался под мебель. Мать очень сердилась и много раз писала в жилищное управление с требованием спилить его. Но на домкомах все соседи выступали против. Споры доходили до криков и обвинений в адрес «семейки», которая разъезжает месяцами по границам, а приезжает и свои законы устанавливает. Больше всех разорялись старухи. Они под этим гигантским стволом, в тени кроны, пасли детишек, часами судачили на лавочке и следили за подъездом. За этот стратегический наблюдательный пункт старшее поколение билось насмерть. Для Ленчика тополь тоже был дорог, он в детстве с дворовыми ребятами тополиный пух поджигал. Чирк спичкой — и пламя бежит вдоль тротуара, синей дымкой забегает в желобки, исчезает в люках. А если накидать спичек по всей длине пухового одеяла и особенно под скамейку со старухами, то выходили замечательные взрывчики.

Черешня была на редкость вкусной, косточки он сплевывал в окно, стараясь попасть в ствол тополя. Потом он набрал целый рот ягод и, надув щеки, выплюнул все кости сильной шрапнелью. Большая птица, мирно дремавшая в глубине веток, испуганно шарахнулась прочь. Тарелка опустела. Он поставил ее в раковину, достал из холодильника бутылку пива и сразу обратил внимание на то, что к приезду родителей домработница постаралась. Купила овощи, сметану, любимый материнский творог, а на плите большая кастрюля. Леня снял крышку. Аппетитные пары еще не остывшего борща напомнили ему, что отец всегда заказывал к своему возвращению борщ с уткой. Говорил, что за границей он страдает, потому как ничего там есть не может.

Осенью у Лени начинался последний год в аспирантуре, потом защита и распределение. Он надеялся, что это будет даже

назначение. Отец обещал помочь, у него были связи, старые друзья, которые добра не забывали, а ведь без этого никуда. Будь хоть гением и отличником, а хорошего места не добьешься без блата. Кто-то намекал о Госкомспорте, а это наверняка иностранные командировки. Виктор Иванович тоже говорил, что при знании языков сможет устроить спецкором в одну из аккредитованных газет. Однажды в разговоре промелькнула даже Франция, Париж! Родители с детства, не скупясь, нанимали ему учителей, привозили журналы, интересные книжки, пластинки с французскими шансонье. У него оказались недюжинные способности, и он довольно бойко годам к пятнадцати уже лопотал по-английски, а потом стал читать и французские книжки.

Так как же теперь быть?

План дальнейших действий он почти в деталях обмозговал, но обстоятельства превыше всего. Малейший промах, и все пойдет насмарку. Да и не от него это все зависит.

Он прилег на диван, от выпитого пива и от того, что целый день ничего не ел, приятно закружилась голова. Надо не торопиться. Может, подождать до завтра? Поест, выспаться и с утра начать действовать, но, будто против воли, ноги сами понесли его к телефону, и нужный номер всплыл в памяти. Он расслабленно опустился в кресло и, поставив аппарат на колени, крутанул диск. С первым длинным гудком его словно кипятком обдало, он швырнул трубку, как ядовитую змею, и выдернул шнур из розетки. Ну, и болван! Хорошо, что вовремя сообразил! Коли уж действовать по плану, так необходимо уйти в глубокое подполье. Да так, чтобы дня на два, а лучше на три исчезнуть, быть недосыгаемым для всех. Напялив джинсы и майку, он спустился на улицу. Телефонная будка маячила на противоположной стороне, но, приблизившись, Ленчик увидел, что над ней совершен акт вандализма, так что придется пойти до следующей и попытаться счастье.

Время перевалило за десять, серенькая ночь наплывала на пустой город, синюшный свет фонарей слеповато подмигивал, впереди маячила одинокая фигура мужчины, прогуливающего рыжего сеттера. Собака виляла плоским профилем,

и по вытяжке, и по понюшке было понятно, что она не только породистая, но и холеная. На углу улицы Марата издали он заметил будку и отчетливо понял, что сейчас подойдет, наберет номер, дозвонится и отступления уже не будет. Говорить нужно не дольше трех минут. Иначе засекут, а квартиру, где ночует иностранец, наверняка прослушивают. Ржавый диск сопротивлялся, вихлял, скрипел, и с первого раза он попал на какое-то хамское, по-солдатски рявкнувшее «слушаю». Вторая двушка выдала длинные, степенно низкие гудки, и на пятое сильное «буууу» бодрый голос сказал: «Oui, je vous e2coute, — и, спохватившись, поправился: — Пардон, да, я слушаю».

— Простите, что беспокою, — у Ленчика перехватило дыхание, и он как можно быстрее затараторил: — Мы вчера были вместе с вами в одной компании, и Тамара Николаевна нас познакомила. Она дала мне ваш телефон... — врать, так с музыкой, — и просила вас позвонить. Помните, мы с вами говорили о Рильке?

Настороженное, безответное молчание. А часики-то тикают...

— Але, вы меня слышите?

— Да... так что же? — природная учтивость не позволила французу оборвать разговор. — Вы ведь ушли вместе и провожали ее? — и взволнованно добавил: — С ней что-нибудь случилось?

— Ах, нет, что вы! С ней все в порядке, но она просила меня с вами поговорить наедине. Но это не телефонный разговор, и долго я не могу оставаться на проводе... понимаете?

— Я только что вернулся домой, был за городом и уже ложусь спать, — недовольным, капризным тоном пробурчал славист.

— Так вы подумайте, а я вам через пять минут перезвоню, и вы мне сразу назовете место встречи. Все, пока...

Уф! Он уложился в две минуты и десять секунд.

Кажется, как он помнил из вчерашних разговоров, француз хоть и приписан был к гостинице, но ночевал не там. Его давние и многочисленные связи в литературно-художественной среде позволяли располагать ключами от разных квартир, ему

это было удобно, а друзьям хоть и хлопотно, но приятно оказать услугу.

Ленчик нервничал, потирал между пальцев монетку. И — оп! — подбросил! Орел или решка? Но свинская медяшка отлетела в сторону, звякнула, встала на ребро и закатилась в люк. Вот те раз, а больше двушек нет, и менять ночью негде. Он растерянно оглянулся. Вокруг ни души, кроме человека с сеттером, который все вынюхивает свои собачьи радости, а хозяин за ней наблюдает, что-то посвистывает, не спешит, руки в брюки, нога за ногу.

— Простите, нет ли у вас двушки? Мне срочно нужно позвонить, а телефон мою проглотил.

— Нет у меня двушки, да она и не к чему, — хохотнул мужик, и Ленчик увидел, как из кармана брюк он вынул пилку для ногтей. — Это понадежней, да и дешевле. Только я сам наберу номер, иначе ты не сообразишь, как вставить эту штуку, тут особый фокус. Он перешел на «ты» как-то играючи, но, с другой стороны, понятно, что обладателем секрета может быть только свой в доску парень.

Разные мысли зароились в голове Ленчика. И что этот тип за ним следит, и что все это подстроено (хотя как?), и что сейчас он соединится с иностранцем, и тут же его схватят с личным. А время-то шло... Можно было вернуться домой, пошуровать, и наверняка найдется двушка. А если нет? Звонить из дома было ни в коем случае нельзя, и самое главное, что за это время славист может сообразить, заподозрить неладное, набрать номер Тамары, и тогда все пропадет.

— Ладно, валяйте, вставляйте свою пилку, а номер я вам продиктую, писать мне не на чем.

Человек свистнул собаку, та послушно подбежала, дружески улыбнувшись, свесила язык и села рядом с будкой, а ее хозяин одним ловким движением, будто вскрывал консервную банку, вложил металлическую пилочку в щель, куда обычно бросают монету, потом припал ухом к аппарату, в нем что-то щелкнуло, клацнуло, и в трубке раздался сигнальный гудок.

—Ну, давай свой номер!

Ленчик продиктовал.

— Держи, да не вынимай пилку, а то все разъединится! — и освободил место в кабинке.

Собака завиляла хвостом, запрыгала от радости, будто не видела хозяина битый час, а он деликатно отошел в сторону, отвернулся, закурил и устался в какие-то темные кусты. Вроде не слушает.

По номеру телефона выходило, что славист жил где-то недалеко, в районе Техноложки, но узнавать и записывать адрес времени не было, поэтому он спросил:

— Так где вас ждать?

А тот, опять позевывая, не спеша и неохотно начал мычать что-то неопределенное, но то ли любопытство взяло верх, то ли телефонные волны донесли до его сознания, что отказываться от встречи нельзя, он выпалил:

— Через полчаса у здания ТЮЗа.

— Что, не сработало? — окликнул собачник. Щелчком пальцев он мастерски отбросил сигарету, да так, что она светящейся пулей описала дугу и врезалась в ствол дальнего дерева.

— Все отлично, вот ваша пилка. Спасибо за науку и хорошей прогулки.

— Слушай, парень, может, пройдемся, я тебя еще одной штуке научу.

Только сейчас Ленчик обратил внимание, что мужик этот одет как-то странно и вся его повадка напоминала вихляющие движения рыжего сеттера.

— Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз, знаете, я договорился с девушкой и должен бежать.

Хоть торопиться было некуда, впереди уйма времени, а до театра рукой подать, он действительно ускорил шаг и решил прийти на встречу первым. Разговор ему предстоял сложный, и необходимо его провести так, чтобы Жана не напугать и убедить помочь Тамаре Николаевне. Удастся ли ему обрисовать всю ситуацию и связанную с ней опасность, нависшую над поэтессой?

Трамвай, словно запоздалый пьяненький прохожий, подтренькивая и спотыкаясь на стыках рельс, пустым аквариумом медленно проплыл рядом. Леня посмотрел ему в хвост, под колеса, и задумал желание.

Вот и пустынная площадь перед ТЮЗом, мелкий кустарник, скамеечки из гранита, на фасаде уродливого куба украшение из мозаики, персонажи сказок вперемежку с пионерами. Он присел на мраморную лестницу, ведущую к входу, и подумал, что события последних дней напоминают лавину, которая несется с такой оглушительной скоростью, что остановить ее нельзя и скоро она накроет всех.

Он отчетливо помнил этот роковой день встречи Маруси с Борисом. Знал бы он тогда, чем это закончится! И дернул его черт знакомить их. Уж и не затормозить бег времени, а ему остается только страдать и любить безответно. «Ты не вздумай поссориться с твоей Мумусей, знаю, что ревнуешь, да дело есть дело. Так что хвост пистолетом — и вперед, а не то, сам знаешь, иногда и у нас бывают утечки, вдруг ей кто-нибудь расскажет о твоих наблюдениях, какую роль ты сыграл в деле М. и в деле Б.». Вот что это лысая гэбэшная сволочь ему однажды сказала. Нужно было тогда немедленно рявкнуть, все бросить или поговорить с отцом, рассказать, пожаловаться, он бы его защитил и отмазал от них, они его уважают... Но не решился, струсил, но именно после этого разговора твердо задумал, как только подвернется случай, он им отомстит за все унижения.

И в эту минуту в сумраке аллеи, будто из театра теней, возник удлинённый силуэт мужчины, и от того, что момент истины настал, Ленчику стало невыносимо грустно.

Славист приближался, дружески помахал рукой, завидев его издалека; а сердце билось и сжималось, и трудно было совладать с желанием убежать, а ноги приросли к месту, и казалось, что все слова, доводы рассыпаются в прах и что впереди его ждет один позор, позор со всех сторон, а может быть, и наказание.

— Ну, здравствуйте, дружище, напомните ваше имя.

— Меня-то? Лео, вам так проще, а мне приятно.

Ну что, он не помнит, как меня зовут? Игра, одна игра, чтобы сбить с толку противника. Хотя глупости.

Жан говорил на прекрасном русском языке, почти без акцента, и если не знать, что он родом из Марселя и что медовый запах табака его массивной крючковатой трубки оставлял

позади шлейф, не похожий ни на один из знакомых ленинградских ароматов, и если бы не то, что он носил ярко-синий шейный платок в крапинку, и не то, что его угольно-черные блестящие глаза смотрели прямо в переносицу собеседнику, то можно было принять его за кавказца, изящного, модно одетого грузина.

— Спасибо, что пришли, давайте присядем, а еще лучше, обойдем здание, поговорим за домом, там нас никто не увидит.

— Нам есть кого бояться? — усмехнулся Жан. — Уверю вас, я соблюдаю крайнюю осторожность, — и, помедлив, добавил: — Уж коли мы с вами познакомились в одном доме, а это мои друзья, то вам можно доверять?

— Наверное, это логично. Но у нас береженого Бог бережет, да не вам рассказывать, но хочу сразу к делу, и вы поймете, что...

Высокие, почти одного роста, они стояли друг против друга, и их лица, такие разные, освещала табличка с надписью «актерский вход». Жан беспечно попыхивал трубкой, а Ленчик вскинул голову к небу и, бросая слова как вызов, закончил фразу:

— ...Тамара Николаевна в опасности.

Видно, такого славист не ожидал и пять секунд думал, что это шутка, но в следующее мгновение он схватил Ленчика за грудки, да так сильно, что чуть не оторвал все пуговицы на рубашке.

— Ты соображаешь, что говоришь?! Это что, моя вина?

— Отпустите меня! И дайте объяснить все по порядку, — он решительно высвободился из мускулистых рук француза. — Я знаю от Тамары Николаевны, что вы привезли ей деньги, гононар за книгу, и что это валюта.

— Да, это так, но мне ничего не стоит их обменять на рубли, я знаю и предупреждал ее, что хранить франки, даже малую сумму, в вашей стране опасно, что она не сможет ими пользоваться. Но она человек упрямый и легкомысленный, ее переубедить трудно, но в конце концов она согласилась и сказала, что у нее есть знакомый и он сможет ей обменять валюту. Но сейчас она хочет всю сумму сразу... Ах, как же я не сообразил? Вы и есть тот человек, который поможет ей?

Он не договорил, осекся и замолчал.

— Нет, это не я, и совершенно не знаю, кого Тамара Николаевна имела в виду, в том-то и дело, что фарцовщик может ее подставить. Это может быть провокацией, и тогда ее арестуют за спекуляцию валютой, а второй вариант — ее просто облапошат. Вот почему я вызвал вас, чтобы сказать... предупредить по-дружески, что вся эта история с изданием книги в Париже и деньгами может плохо для нее кончиться. И для вас, кстати, тоже. Вы не боитесь?

— Кто вы такой, что позволяете себе мне говорить подобное, я свободный человек, я не боюсь угроз!

— Вы неправильно меня поняли, я пытался намекнуть, поговорить с Тамарой, чтобы она не брала у вас денег, но она ничего не слышит, у нее от славы крыша поехала. Жан, вы ведь не первый раз в СССР и знаете, что за такими, как вы, следят постоянно и что наверняка за ней тоже. У нее отец... академик, он государственная ценность. Вы понимаете, чем это пахнет?

— Я предупреждал ее, обо всем предупреждал! — Славист распалился не на шутку, от его выдержки не осталось и следа. — Может, вы думаете обо мне как о провокаторе, как об искателе скандалов и приключений? Ошибаетесь! Послушайте, а вы сами-то, Лео, не стукач?

Он ждал этого вопроса, он знал, что именно в этот ключевой момент должен выйти победителем, и, собравшись, совершенно спокойно, понизив голос, сказал:

— Если вы считаете меня провокатором, то мы с вами сейчас расстанемся, вы забудете наш разговор и никогда меня не увидите. Но учтите, что дальше вы будете действовать самостоятельно, а если с Тамарой что-нибудь случится, то пеняйте на себя. Вы-то действительно укатите в свой Париж, а она здесь останется.

Их беседа достигла пика, дальше ей предстояло или плавно скатиться в мирную долину слепого доверия, или ввергнуться в непредсказуемую пучину подозрений. Славист насторожился, он просчитывал всевозможные последствия. Он, несомненно, потрясен разговором, колеблется, готов немедленно уйти, но ноги словно приросли к этому поганому месту, а ведь он

старался ее убедить, да и сам много раз сомневался, но что не сделаешь, когда женщина просит!

— Предлагаю вам от чистого сердца или не давать ей валюту, или передать ее мне. Я обменяю ее. Завтра к вечеру или, самое позднее, послезавтра, она получит деньги. Понимаете, за вами следят и за ней тоже, большего я вам сказать не могу... поверьте мне.

— Но она сама просила... — фраза Жана завязла, он усмехнулся и, повернув руль разговора, неожиданно спросил: — А вам ее стихи нравятся?

— А вам, если не секрет?

Напряжение спало.

— Скажу вам откровенно, что стихи — самые обыкновенные, да теперь мало кто заботится о качестве, но не я решался их публиковать, меня попросили, я взял, отвез, передал. Помню, Тамара меня пригласила на дачу, долго читала вслух, она ведь жалкая какая-то, ужасно потерянная.

— Откровенность на откровенность, хочу вам признаться. Мне на Тамару Николаевну глубоко наплевать, да ее жалко, мужа ее еще жалче, но их жизнь сложилась, как сложилась, а вот кто действительно может пострадать, так это их дочь. Я ее люблю. И если у матери будут проблемы... сами знаете какие, то Марусе будет очень плохо. Теперь вам понятно, почему я предложил свои услуги?

Видно, такого оборота Жан не ожидал.

— Ого, ну и ну! Хорошо, я подумаю над вашим предложением, но должен буду поговорить об этом с Тамарой и позвонить в Париж.

— Глупостей-то не делайте! Ведь вас прослушивают. Забудьте вы об этом телефоне, вы ведь не в Париже. Давайте здесь сейчас и решим, когда мы встретимся, а уж поверьте, я найду способ увидеть Тамару Николаевну и все ей рассказать. И мой вам совет: уезжайте поскорее.

Окончательное решение, видимо, никак не выстраивалось в голове француза. Да и как тут быть? Свалился этот парень неожиданно, вроде бы все правильно рассказывает, убедительно, ну, а вдруг он сам провокатор, и стоит ему передать деньги

из рук в руки, как из соседних кустов на них бросятся стражи порядка. Нужно навести о нем справки, хотя бы у общих друзей, в конце концов, поговорить с Тamarой. Вызвать через знакомых, погулять по городу и расспросить об этом Лео. А с другой стороны, не такие уж миллионы он привез, не стоит из-за них копыя ломать, ну пропадут, так ничего. Всего-то какие-то три тысячи франков. А неприятностей может возникнуть в сотни раз больше, и, кстати, непредсказуемых. Завтра он уедет в Москву, а оттуда в Париж.

— Так как мы с вами договоримся... на завтра, утром?

— Слушайте, я решил, — славист сунул руку в задний карман брюк и вынул довольно толстый конверт, — вот деньги, будь что будет, может, вы вор, может, сейчас меня загребут... Эй, там, в кустах, хватит прятаться!

— Перестаньте валять дурака! — Ленчик ловко сунул конверт под рубашку, а больше было некуда. — Идемте!

Завернув за угол, они вышли на лобное место перед театром. Ленчик обнял слависта за плечи, и, как два загулявших друга, они дошли до конца аллеи.

— Теперь вам нечего бояться. Вам направо, а мне налево. Прощайте, наверное, мы никогда не увидимся. Спасибо. Вы даже не представляете, как я вам благодарен.

И он крепко пожал руку Жану.

Уже пройдя метров сто, Ленчик оглянулся, и странным образом, это, конечно, была чистая фантазия и перемигивание фонарей, но тем не менее ему показалось, что в той стороне, где растворилась в ночи фигура слависта, мелькнула плоская тень сеттера.

* * *

Она знала, что застать Жана, хоть по одному из трех имеющих у нее номеров телефона, было трудно. Он, как заяц, все заметал следы. Звонить в гостиницу — дело безнадежное, там он появлялся только, чтобы переодеться, а потом опять исчезнуть. На этот раз он приехал почти на две недели под предлогом работы в научной библиотеке и составления словаря, но настоящая цель, конечно, другая. Уже в третий раз он приезжал

в СССР, и с каждым разом все труднее ему выдавали визу. Но он любил Москву, обожал Ленинград, а знание русского помогло завести кучу знакомых: писателей, художников, инакомыслящих.

Где его черти носят почти сутки? И утром, и вечером по всем номерам телефон гнусно молчал. А так нужно поделиться сомнениями, страхами, ведь книжка-то ее пропала. Она четко помнила, как положила книжку в сумочку, потом ее синяя обложка мелькала под абажуром на столике у кровати. А может, на письменном столе, на полу?

Она еще раз перебрала каждую бумажку, выдвинула ящики, заглянула в третий раз под кровать и тут без всякого самообмана поняла, что книжку утащил этот парень. Может быть, он вернет? Почитает и вернет. Тамара Николаевна прошла по комнатам, распахнула все окна, сквозняк загулял по квартире, любимая пластинка Шуберта окончательно очистила атмосферу, она прибавила звук и, накладывая на лицо и шею клубничную маску, а на глаза ватные лепешечки, пропитанные специальным лосьоном, который ей из Парижа привез Жан, улеглась на кровать, и в этот момент ей послышалось треньканье. Из-за громкой музыки она не сразу поняла, что это звонок.

Звонок отдаленно потренькал и угас, потом повторился. Теперь она сообразила, что кто-то звонил в дверь. Старики на даче, Муся с ними, у домработницы свой ключ. Кто же, кроме Жана, мог приходить? Хоть она его и выискивала, но между ними был уговор: если что-то срочное, он приходит прямо к ней домой. Да, конечно, это был он! Тамара Николаевна все-таки вскочила, неуклюже пытаясь на ходу подтереть сползающую на грудь клубнику, подбежала к окну, заглянула во двор, может, успеет окликнуть, но фигура исчезла под аркой. Бежать за ним в одном халате и в столь непристойном виде она не могла, но больше по инерции, думая спасти положение, заторопилась, чуть не растянулась в темноте коридора всем своим грузным телом на скользком паркете, привычным движением нащупала выключатель и, прежде чем открыть дверь, увидела торчащую бумажку. Записка, сложенная пополам, гласила: «Дорогая Тамара, твои родители сказали, что ты в городе, я много раз тебе

звонил, но не застал. Срочно нужно встретиться и поговорить о важном деле, оно касается тебя». Подпись — Миша Склярлов.

Тамара Николаевна была разочарована, но, с другой стороны, ее успокоило, что она прозвала не Жана. Последний раз они виделись с Мишей на юбилейном вечере в Доме ученых, где с речами, цветами и роскошным банкетом чествовали ее отца-академика. Миша был его любимым учеником. Еще в далекие годы эвакуации, в Куйбышеве, начинающий талантливый аспирант, активист-комсомолец ухаживал за ней. Миша Склярлов ненавязчиво помогал в самых простых делах, с легкостью выполнял академические капризы, порой глупые и привередливые поручения, постепенно он так сумел себя поставить, что родители Тамары стали называть его «сынулей». В шутку, конечно, но ей это было неприятно, а потому почти на зло им она отказала ему и завела роман с Толиком. А когда через четыре месяца она с гордостью объявила им, что беременна и не собирается выходить замуж, тут уж скандал разразился небывалый, и Миша опять пришел на помощь. Он сумел успокоить ее родителей, совершенно не обиделся на нее, а, напротив, убедил зарегистрироваться с Толиком, который неожиданно оказался любящим мужем, хорошим отцом, и лет десять они прожили в любви да согласии.

Сам же Михаил Склярлов женился почти сразу по возвращении в Ленинград на дочери какого-то видного военного врача, но жена оказалась слабого здоровья, часто болела, вечно ездила в санатории и не могла иметь детей.

Миша быстро сделал научную карьеру. Теперь он завлабораторией, много бывает за границей и всегда привозит им подарки. «Ну, Мишенька, ты нас балуешь, не надо, — притворно отмахивалась Анастасия Георгиевна и в следующий момент кричала академику: — Посмотри, Николенька, что нам привезли!»

Николай Владимирович ждал подарки и знал заранее, что это будет или очередная пластинка классической музыки, или редкие ноты.

Тамара помнила, как на том юбилейном вечере, захмелев, она подошла к Мише взяла его под руку, а он ей вдруг сказал:

«Ты, наверное, слышала, что твой приятель, великий поэт, ну, тот, который бывал у вас на даче в Комарово, теперь в ссылке, и говорят, что его посадят за тунеядство. Я об этом твоим старикам не говорил, не хотел расстраивать, да они вряд ли узнают: «вражьи голоса» они не слушают. А ты должна знать и запомни, что бы с тобой ни случилось, я всегда рядом».

Тамару удивило не то, что поэта сослали за тунеядство, а то, что ей сообщает об этом Скляр. Насколько ей было известно, никогда Миша поэзией не интересовался, да еще диссидентской. Скоро события понеслись, словно сапоги-скороходы, встреча на банкете забылась, а после того, как жизнь выбросила за борт Толика, она настолько погрузилась в свои проблемы, в свою поэзию, в совершенно другой круг знакомств, что этот человек, казалось бы, так естественно и всегда находящийся поблизости и так любящий ее, перестал для нее существовать. И вдруг эта странная записка. Что же нужно было от нее Мише?

Женское любопытство взяло верх, и, окончательно приведя лицо в порядок, переодевшись, она набрала его номер. Обычно если Скляр не работал, то копался в библиотеке и приходил домой поздно. Но тут он сразу взял трубку.

— Ох, не ожидал, что ты позвонишь.

Тамара сразу поняла что врет, очень даже ждал, и с большим нетерпением.

— Мишуня, времени на разные глупости у меня нет. О чем хотел говорить? Опять о руке и сердце? Я ведь теперь соломенная вдова.

— Не дури, есть серьезный разговор. Но долго рассказывать. Понимаешь, у меня есть один очень хороший знакомый, он редактор «Нового мира», и они хотят напечатать твои стихи.

— Сегодня не первое апреля, и я шуток не понимаю, особенно когда дело касается моего творчества!

— Подожди, не бросай трубку! Я сейчас к тебе примчусь и все расскажу!

Ей показалось, что Миша выглядит озабоченным, суетливым. К делу сразу не приступил, все о погоде да о ее стариках, в кресло не сел, по комнате расхаживает, чай на ходу прихлебывает, а она закурила и с усмешкой наблюдает.

— Успокойся, что с тобой? Будто это тебя собираются издавать.

— Мне трудно начать этот разговор. Издательство попросило меня с тобой связаться. Ты многого не понимаешь.

— Так объясни, в конце концов. Тебя что, редакция «Нового мира» просила мне позвонить? При чем здесь ты, почему они сами не связались со мной?

— Не знаю, как это случилось, но я действительно знаком очень давно с одним из редакторов, и он мне вдруг сам позвонил из Москвы и сказал, что читал твои стихи и что они ему очень понравились. Он показал их главному, и тот не возражает, только тут есть маленькая заковыка... условие.

— Какое же условие? Они что, перекроют мои стихи до неузнаваемости? Я в такой публикации не нуждаюсь, тем более... — Тамара помедлила и решилась, — тем более что у меня только что вышла книга в Париже!

— Ты дура, ты не соображаешь, что творишь! — взорвался Скляр. — Вот именно об этом и идет речь! Твои стихи издадут у нас, только ты должна будешь отказаться от этой французской книжки публично, сказать, написать в прессе, в нашей прессе, что тебя обманули, что тебя издали «там» без твоего согласия. Ты должна выступить и покаяться, заявить об этом как о провокации против тебя и твоей семьи. Подумай о Николае Владимировиче, о своей матери, о Мусеньке, наконец, да и своей жизни. Ты ведь не хочешь их погубить?!

В комнате воцарилась такая гробовая тишина, что мирное раскачивание маятника больших настенных часов казалось боем курантов.

— Миша, это что, «Новый мир» предложил мне такую сделку с совестью? И откуда же они все знают о Париже? И при чем здесь ты?

— Твой бедный Толик, как к нему ни относиться, но он уже пострадал из-за твоих выкрутасов.

Его ответ поразил Тамару.

— При чем здесь Толик? Просто ему все надоело, и он меня бросил. И правильно сделал

— Нет, дорогая, ничего ты не знаешь. По моим сведениям,

он сейчас на излечении. Хорошо, что нашлись добрые люди, не бросили его на произвол судьбы.

Голос его дрожал от волнения, он то вскакивал, то подбегал к окну, то садился на вертящийся стул перед роялем, открывал и закрывал крышку, сморкался в мятый носовой платок, хотя никакого насморка у него не наблюдалось. Цепко держа в руке фарфоровую чашку и пытаясь ее раздавить, маленькими глотками отхлебывая уже давно остывший чай, он был далек от знакомого ей, обычно сдержанного и флегматичного Миши Склярова. Казалось, что не ей, а ему предстояло сделать выбор.

— Миша, ну-ка скажи честно, кто тебя попросил со мной поговорить? Неужели ты... — и слово «стукач» почти сорвалось с ее языка, — неужели «они» попросили? А может, ты уже давно...

— Вот номер телефона, времени осталось очень мало, но еще можно кое-что спасти. Позвони, тебя не съедят, посоветуют, помогут...

— Пошел вон! И чтобы ноги твоей больше не было в моем доме!

Он усмехнулся, аккуратно поставил чашку на стол, вплотную подошел к ней и тихо сквозь зубы процедил:

— Пока еще это твой дом, но может так случиться, что ты увидишь другие стены.

Конечно, она представляла, что может наступить такой день, когда у нее возникнут неприятности. Войдя в писательскую тусовку, все эти разговоры о западных публикациях, о разных арестах и судах Синяевского и Даниэля, о Солженицыне, да и о Бродском она знала, но ей казалось, что она как бы в тени и никого особенно не интересует. Слава грезилась ей давно, но и с этим ей удалось справиться, на каком-то этапе она поняла, что можно писать «в стол». Не она первая, не она последняя, но когда-нибудь, а этот момент наступит обязательно, ее издадут и о ней заговорят. Однажды в Перedelкине, когда у нее был роман со Ступалиным, он ей небрежно заметил: «Тебе нечего бояться, твой отец так знаменит, что его имя прикроет все твои грешки, даже если тебя напечатают на Западе, тебе все простят. Таскать не будут».

Эти слова она запомнила, они легли в ее сознание некоей охранной грамотой; и, когда ей предложили напечататься в Париже, она, не раздумывая, сразу согласилась. А кстати, именно у Ступалина, где она познакомилась со всеми полудиссидентскими поэтами, с красавицей Б., с ее тогдашним мужем Ж., ей предложили издать стихи в парижской ИМЖе. Наверное, предлагали и другим, но они, кажется, отказались. Б. сказала, что пока не готова, Ж. поехал на какую-то ударную стройку писать поэму, а Тамара подумала, что ее время уже прошло и что она кажется старухой рядом с этими молодыми, зубастыми и бесстрашными, что у них маячат слава, почести, а у нее уже ничего не будет. Что ей терять? Это вот Б. или Ж. — им было что терять, они и ходили осторожно и, как надо, талантливо писали. А она? Эмигрировать она не может, стать Наташей Гординевской, чтобы выходить на манифестации, тоже сил нет, а уж коли предложили книжонку издать, так почему бы и нет? Вот и решилась. Теперь это казалось историей, покрытой паутиной и засиженной мухами, она, честно говоря, за два года даже перестала надеяться, хоть Жан и появлялся и что-то там обнадеживающее лепетал, но она вполне переключилась на другое. И вдруг...

Тамара Николаевна теперь ясно поняла, что необходимо как можно быстрее встретиться с Жаном и все ему рассказать. Он должен знать о визите Склярера. Да где же этого слависта черти носят! Она поежилась, словно холодом потянуло, накинула на плечи шаль и услышала, как от порыва ветра где-то в дальней комнате, видимо, в кабинете отца, громко хлопнула дверь. А может, оконная рама? Ей показалось, будто что-то звякнуло, посыпалось.

Пройдя по коридору, она открыла дверь кабинета и увидела, что на полу разбросаны осколки стакана, а по комнате в панике мечется большая птица.

Она бьется, натывается на предметы, замирает, мигает черным испуганным глазом, взлетает под потолок. Тамара скинула шаль, распахнула окно и попыталась выгнать птицу вон. Но вредная бестия забилась в глубину книжных полок, куда-то на самый верх шкафа, и никак не удавалось ее оттуда вызволить.

Она махала шалью и каким-то неловким движением зацепила овальное зеркало, висевшее на стене, и, как она ни пыталась подхватить его на лету, оно выскользнуло из рук, упало и вдребезги разбилось!

А птица будто только этого и добивалась. Плавно взмахнула крыльями, взлетела, совершила плавный круг по комнате, присела на подоконник и, оттолкнувшись лапками, устремилась в открытое окно.

День подкатился к вечеру, и она решила все-таки позвонить в гостиницу. Несмотря на довольно свободный образ жизни, Жан старался регулярно появляться в номере, «отмечаться», как он сам говорил.

— Можно поговорить с Жаном Нуво? Он в триста пятнадцатом номере.

Ее сразу соединили, но трубку никто не брал, и через минуту опять переключилось на коммутатор.

— Знаете, он уехал из гостиницы, и его номер числится за другим иностранцем.

— Нет, этого не может быть! Вы ошибаетесь...

— Слушайте, гражданочка, мало того, что вы почти ночью звоните в номер к незнакомому мужчине, вы мне еще хамите. Скажите спасибо, что я с вами разговариваю!

Первое, что мелькнуло в голове Тамары Николаевны, что он смылся с ее деньгами. Но мгновенно она припомнила все, что он сделал для нее — дорогие подарки, трогательные жесты постоянного внимания. Она отогнала глупые мысли о краже. Все-таки ученый с мировым именем и ради денег, в которых он не нуждался, рисковать не будет. Нервы были натянуты, как струны, и вот-вот готовы были лопнуть. Необходимо что-то предпринять, и она решила немедленно поехать в гостиницу.

До «Октябрьской» троллейбус тащился бесконечно. Около Гостиного двора образовалась пробка, и многие вышли из троллейбуса, но Тамара Николаевна осталась и теперь корила себя, быстрее бы добралась пешком. Часы показывали девять пятнадцать вечера, когда наконец она оказалась у входа в гостиницу. Швейцар с совершенно наглой рожей ни за что не хотел ее пропускать, требовал пропуск. Тамара сразу поняла, что

ему нужно. Сунула в его потную клешню пятерку и с деловым видом свободно прошла к стойке администратора.

Полнотелая дама, затянутая в кримпленовый темно-синий костюм, не заметила появления Тамары. Не поднимая головы, она сосредоточенно перебирала счета, рылась в бумажках, а телефон, стоящий рядом, непрерывно и безнадежно надрывался.

— Милочка, — самым нежным голосом, на который она была способна, пропела Тамара Николаевна, — не могли бы вы...

— Какая я вам милочка! — рявкнул темно-синий костюм. — Вам чего? У нас номеров нет, мы обслуживаем только группы.

— Мне номера не нужно. Я хочу задать только один вопрос. Видите ли, наш сотрудник Литинститута, то есть наш иностранный гость, остановился в вашей гостинице. И он не пришел сегодня на конференцию, его ждали с выступлением. Мы волнуемся, может быть, с ним что-нибудь случилось. Он нам не позвонил, не предупредил.

— Как фамилия?

— Нуво, Жан Нуво. Он проживает в триста пятнадцатом номере.

Тетка пролистала несколько страниц регистрационного журнала, что-то отметила карандашом, заглянула под стол, встала, обронив на ходу: «Подождите», пересекла гостиничный холл и исчезла за массивной дверью у самого лифта.

Это «подождите» прозвучало как-то зловеще и вызвало в Тамаре Николаевне нехорошие предчувствия, более того, чем дольше она ждала возвращения администраторши, тем беспокойнее билось ее сердце. Хотя оснований для волнения нет и еще ничего не известно, вот сейчас выяснится ошибка в записи, и просто Жана перевели в другую комнату, а телефонистка этого не знала. Но это кримпленовая дамочка как-то странно на нее посмотрела, когда Тамара произнесла имя Жана, да нет, это ей просто показалось, и через пять минут все станет ясно.

Вот наконец и она выплывает, но уже из другой двери.

— Пожалуйста, гражданочка, подождите немного, вон там... Нам нужно кое-что уточнить. Не беспокойтесь, это просто ошибка в регистрации.

Время тикало, тянулось, она просмотрела все витрины киосков с янтарем и гжелью, даже померила какие-то сережки и серебряное колечко, приценившись, поняла, что ценники в валюте; она села в кресло и, выкурив третью сигарету, взглянув на часы, увидела, что стрелки подползли к одиннадцати. Что же они там так долго выясняют?

И только она решила опять подойти к администраторше, как та сама перед ней возникла и с вежливой улыбкой произнесла:

— Пожалуйста, поднимитесь в номер четыреста пятьдесят шесть, на четвертый этаж, вас там ждут.

Дверцы лифта зловеще лязгнули и с тоскливым поскрипыванием понесли Тамару Николаевну к неведомой встрече. В длинном, тускло освещенном коридоре было пустынно, где-то в самом конце, несмотря на поздний час, слышался надрывный гул пылесоса, горничная выбрасывала из номера тюки с грязным бельем, и почти все двери комнат были открыты. Тамара никак не могла обнаружить четыреста пятьдесят шестой номер, сверялась со стрелками указателей, но каждый раз совершала какой-то странный круг и возвращалась обратно к лифту. Пришлось обратиться к уборщице, и та сказала, что в конце коридора будет зал с цветами и там она увидит нужную ей дверь. Оказывается, это люкс.

— Скажите, а вы не встречали такого симпатичного черно-волосого француза? Он живет здесь уже несколько недель...

Девушка напряглась.

— Ничего не знаю. Нам не положено справок давать.

Врет, наверняка знает, Жан по-русски говорит не хуже них, наверняка с ними болтает, не раз намекал, что все эти барышни, вплоть до коридорной стукачки, в КГБ работают, хоть и подарочки от иностранцев с удовольствием принимают.

Вот зал, цветы в кадках, номер, а если не знать, то и не найти, невооруженным глазом не приметен, спрятан за пальмой. Она постучала, послышалось легкое покашливание, и лысоватый мужчина средних лет, в джинсах и ковбойке приветливо распахнул перед ней дверь.

— Проходите, Тамара Николаевна. Очень рад нашей встрече. Как говорится, если Магомет не идет к горе, то гора идет к

Магомету, — хмыкнул, осклабился, сверкнул коронками, и она поняла, что попалась.

— Садитесь поудобнее, вот хоть в это кресло, а хотите — на кушетку. Не смущайтесь, поверьте, что наша встреча — это не простое совпадение, если так можно выразиться — судьба. Я давно хотел с вами поговорить, познакомиться, и так неожиданно, поверьте, совершенно неожиданно представился этот счастливый случай. Мне позвонил администратор гостиницы, сказал, что вы ищите своего друга-слависта. Я сразу приехал, даже лучше сказать, примчался. Сейчас нам принесут чаю. А хотите чего-нибудь покрепче? Время вполне подходящее... — опять осклабился.

— Как вас зовут? Кто вы такой? И что, собственно, происходит? — Тамара хоть и вскипела, но так, для отвода глаз, потому что сразу поняла, кто этот лысый зубоскал.

— Виктор Иванович меня зовут, и хочу сразу вас предупредить: не будем ломать комедию, вы отлично знаете, о чем и о ком пойдет разговор. Так что задавать вопросы буду я, а если вы не захотите отвечать, то мне придется отвезти вас в другое место.

— Что, собственно, происходит? Какие вопросы и о ком? — взвизгнула Тамара и послушно опустилась на кушетку. — Я пришла сюда узнать о моем друге Жане Нуво. Мы беспокоимся, он должен читать лекции, а мне здесь сказали, что он уехал из гостиницы и не предупредил никого. Какое право вы имеете меня допрашивать! Вы знаете, что мой отец — академик и у него большие связи. Я буду жаловаться!

— Тамара Николаевна, я хочу помочь вам и вашему отцу тоже. Он переживает за вас, за семью... и он еще не знает о книге. Да, да, о книге, изданной во Франции, которую вам привез Жан Нуво, и ваш отец не знает еще о передаче по Би-би-си, он не знает, что вы получите деньги за эту книгу. Причем в валюте.

Тут он остановился, закурил и, выждав паузу, закончил:

— Вы должны публично отказаться от этой книги. Мы вам поможем опубликовать опровержение. Напишите, что вас обманули или выкрали рукопись. В общем, это детали и дело техники.

— Но о какой книге вы говорите? У меня нет никакой книги. Можете хоть сейчас поехать ко мне домой с обыском, и денег никаких нет. А писать я не буду ничего, это гадко.

Лысый молчал и ждал. Он слушал лепет этой испуганной дамочки и думал о том, что неужели ее стихи стоят тех тысяч, которые они найдут у нее в квартире. А еще лучше, если она их принесет сама, ведь наверняка славист ей уже передал пакет, потому что ни в комнате, ни при личном досмотре у него валюты не оказалось.

— Вот она, ваша книжечка! — и синяя обложка шлепнулась на журнальный столик.

Это был эффектный жест. Как же она у них оказалась? И тут она поняла, что «они» уже арестовали Ленчика, а может, и Жана.

— Умоляю вас, скажите, где Жан? Что с ним? — рыдания перехватили горло, слезы текли по лицу, смывая все на своем пути, от ее уверенности не осталось и следа.

— Думаю, что господину Нуво уже лучше, но сегодня его срочно отвезли в Боткинские бараки. У него сильное отравление, а может, и дизентерия...

— Я могу навестить его?

— Ни в коем случае! Он в карантине, в специальном блоке, останется там до полного выздоровления. Врачи пока не выяснили, что с ним, может, просто грибков поел, а может, что посерьезней. Так что минимум дней на десять.

— Но у него билет в Париж, через неделю он должен улечь!

— Не беспокойтесь, мы об этом позаботимся. В Париж он улетит... но чуть позже, а меня интересует другое, почему вы мне говорите неправду? Почему отрицаете, что никаких денег не получали от господина Нуво?

— Клянусь вам здоровьем моего отца, моей дочери, я никаких денег от него не получала. Ну, хорошо, я скажу вам... это правда, что он мне привез деньги за книжку, вот за эту, — и она скосила глаза на синюю обложку, — но он мне их должен был передать сегодня. Он не приехал, я стала волноваться. И потом, у меня пропала эта книжка. Причем странно как-то исчезла, я

ее искала повсюду, но так и не нашла. Но теперь это не важно. Вот она, она у вас...

Ни в коем случае нельзя говорить о Лёнчике, не хватало ещё и этого дурачка наивного приплести. Пусть будет, как есть. Книжку эту они изъяли у Жана, теперь понятно, ну, а о той, что стибрил Лёнчик, лучше не заикаться, пойдут расспросы кто да что — позора не оберёшься. У Жана они обыск делали, может, даже допрашивали. Странно, что не нашли валюты. Может, этот лысый врёт? Сами деньги взяли, а валят на неё.

В дверь деликатно постучали, и девушка в кокетливой белой наколке и розовом передничке вкатила на столике целую пирамиду угощений. Чашки, шоколадные конфеты, бутылка вина, коньяк, бутерброды.

— Спасибо, Наташенька, мы тут сами похозайничаем.

Девушка скрылась за дверью, а лысый молодцевато встал и каким-то вульгарно знакомым жестом, будто он это делал по пять раз в день, подсел к Тамаре, не спросив её, разлил коньяк по стаканам и чокнулся.

— Угощайтесь, не стесняйтесь. Вам сейчас нужно снять напряжение. А потом продолжим разговор, подумаем вместе, как лучше поступить, — он сделал большой глоток, она тоже, но крепости не почувствовала, словно вода.— Главное, вы должны вернуть нам деньги. Понимаете, это снимет с вас всяческие подозрения. Не нужно их вам укрывать, ведь не приведи Господи, если дело дойдет до суда... могут и валютные операции всплыть. Тогда дело из политического может обрасти другими обвинениями. Как говорят в народе, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Зачем вам это? Подумайте о семье.

— Вы хотите сказать, что меня арестуют?! За что?!

Тамару била дрожь, от её лихой бодрости и уверенности не осталось и следа. Да как и за что её могут арестовать, неужели издание этой книжонки уж такое преступление, неужели встречи с Жаном, который не первый раз бывал в СССР, могут быть причиной ареста? Почему лысый намекал на отца? Ей вспомнились слова друзей, что её отец-академик для неё стена, защита и ничего произойти не может, а потому она и решилась на эту публикацию.

— Мы ведь знаем, что о вас будет передача по Би-би-си. А если ваш отец ее услышит?

— Но мой отец — человек интеллигентный, он ученый с мировым именем, он меня любит и многое может понять.

— Наверное, но.. — и, помедлив, лысый добавил: — Он нас просил с вами поговорить.

— Как?! Этого не может быть, вы лжете!

Она почти без сил, в изнеможении полулежала, откинув голову на спинку кушетки, и судорожно думала только об одном, как ей выбраться отсюда. Неужели он меня сейчас арестует, а может, отравит, как Жана? Тут она почувствовала, как ее зубы бьются о край стакана и холодная змейка льется по шее за вырез платья. Лысый, наклонившись и больно упершись острыми коленками ей в ноги, насильно вливал в неё коньяк. Она не сопротивлялась, она пила, и с каждым глотком ей становилось всё страшнее.

— Что совсем раскисла? Как дурака валять и с мальчиками кувыркаться, так смелости хватает, а как отвечать, так в штаны наделала! А ведь не девочка.

Тут Тамара в отчаянии подумала, что может переспать с ним, и все уладится. Она так близко чувствовала его мерзкое несвежее дыхание, которое не перебил даже коньячный смрад, ей было так страшно и душно от всей этой пирамиды чашек, конфет, фруктов. Но как же все это прекратить, как вздохнуть свободно? В следующую секунду будто молния пронеслась в ее голове, и она осознала, что ведь с этим страхом она жила всю жизнь и ненавидела не только отца и мать, а еще совершенно подсознательно стремилась обойти непреодолимые препятствия, которые воздвигали перед ней подобные лысые сволочи. На ее пути они стояли всегда и теперь, и в этот странно непредвиденный момент ее прозрения в этом гадком номере гостиницы она поняла, что наконец-то перед ней лежит прямой и ясный путь. Да как же она раньше этого не видела?

— Так вот, дорогая Тамара Николаевна, ты сейчас вернешься домой, обдумаешь все, вспомнишь детали и утром мне позвонишь. Вот по этому телефону... — бумажка легла ей на колени. — И еще на всякий случай хочу напомнить, что пред-

ложение издавать стихи в наших журналах остаются в силе. Но это зависит только от тебя.

И Мишка Скляр... тоже?

Тамара, словно в тумане, помнила, что через пару минут лысый кому-то позвонил, говорил тихо, потом взял ее за руку, помог встать с дивана, они вышли в коридор, спустились на лифте в пустой холл, перед входом в гостиницу стояла машина, но не такси, а какой-то частник в сером «жигуленке».

Домчались быстро. Она вошла в квартиру, бросила сумочку под вешалку, прошла в ванну, ополоснула лицо холодной водой.

Неужели они Жана арестовали? Разве с иностранцами они имеют право так поступать? И о Би-би-си знают, и, как ей показалось, лысый намекал на её связь с Лёнчиком. Неужели и его арестовали или только на допрос вызывали? Когда же они все успели?

Уже ночь, нужно бы успокоиться, обдумать, а посоветоваться не с кем. Был бы Толик рядом... но где он и как его найти? Мысли продолжали нанизываться, словно бусы, и она вспомнила об отце. Неужели он всё знал и почему никогда с ней не говорил? Значит, считает меня пропащей. Да ведь я только стихи писала, и если подумать, то никогда к ним серьезно не относилась, а так, играючи, ради спортивного азарта попробовала их издать. Ну и что?

Она прошла в комнату, открыла дверцы платяного шкафа. Хоть и нехорошо, что отец и мать так о ней думают, но ведь они умрут от позора, когда узнают, что их дочь — валютчица. Сразу вспомнились рассказы о диссидентах, разные процессы, недавняя история с Бродским. Неужели и меня так будут судить? Может, вышлют из страны? Но это же несерьёзно! Какая же я диссидентка? Тамара порылась на полках, но того, что искала, не нашла. Наконец вспомнила, где это у неё лежит, открыла тумбочку и достала три пакета с ватой. Она знала, что в ванной, в аптечке есть широкие бинты.

Опять о Толике подумала. Может, он по их вине исчез; ей всегда казалось странным его поведение, особенно в последнее время. А Мусенька, боже, что она подумает, она и так меня не-

навидит из-за отца, из-за стихов, за все то, что разрушило их счастливую семью. Да была ли она счастливой? Полжизни с Толиком в этой квартире и в вечной борьбе с родителями, а потом нагрянули другие муки, поэзия, поиск себя. Маруся последние годы её словно не замечает, будто и нет у неё матери. Ну, а Толик, он тоже на «них» работал, или, наоборот, стал их жертвой из-за неё? Может, мои родители тоже на всех доносили? Странно, почему она никогда не задумывалась обо всем этом.

Она стянула покрывало с кровати, сбросила одеяло. Подумала, что лучше всего разрезать простыню на полоски, будет подобие бинтов, и под ними вата хорошо удержится. Разложила все на кровати, достала ножницы, но тут вспомнила, что забыла самое главное, и пошла на кухню. Содержимого в бутылке было вполне достаточно, так что все обильно пропитается. Тамара села перед зеркалом, разорвала пакеты, засунула куски ваты за прическу, крепко примотала бинтом, потом подумала, взяла думку и, укрепив её на затылке шпильками, еще раз обмотала голову. Покрепче завязала. Остатки ваты она засунула за бюстгальтер, так будет надежней.

Бросила взгляд на стол.

Здесь было разбросано много разных предметов. Нужных и не очень. Вот незаконченное письмо, а здесь стопка стихов, записная книжка, из письменного стола бумаги тоже лучше уничтожить, да, вот еще и фотографии. На мелкие кусочки она порвала письма и спустила все в унитаз, записную книжку разодрала особенно тщательно, выбросила за окно. Белые бабочки адресов, подхваченные ветром, на прощание мелькнули в ночи, кое-какие фотографии она возьмет с собой, их можно засунуть под бинты, а рукописи нужно сжечь. Хотя... Она подумала и, собрав кое-как разваливавшуюся кипу бумаги, прошла в комнату дочери. Нет, оставить Марусе нельзя. Если будут искать, то найдут, и ей будет плохо. Заподозрят в сговоре. Лучше всего послать это по почте. Но кому и как? Единственный адрес, который она помнила наизусть, был адрес Миши Склярова. Тамара быстро написала записку: «Вот рукописи. Я согласна. Можешь их передать в издательство». Вложила все в большой конверт и снесла на кухонный стол.

Завтра утром придет домработница и отнесет эту бандероль на почту.

Как давно за ней следят? Может, еще с незапамятных времен их счастливой жизни с Толиком? Странные разговоры, странные знакомые — воспоминания множились, теснились, бежали наперегонки и в панике забивались в угол. Этот лысый наверняка сюда завтра заявится, а поэтому нужно спешить. Мальчишку этого, Лёнчика, жалко, попался как кур в опил. Глупенький...

Ну, а на тело, видимо, ваты не хватит, и тогда необходимо разрезать простыню. Она засунула кое-какие обрывки бумаги в карманы, открыла бутылку, понюхала. Да, вроде то самое. Нужно действовать быстро, сначала полить голову, чтобы хорошо пропитались вата и бинты; едкая жидкость попала в глаза, хватило в самый раз, платье и простынные полоски промокли, как надо. Керосин нестерпимо жёг кожу. Скорее, скорее, скорее, только бы успеть...

Тамара Николаевна пододвинула стул к широкому подоконнику, встала на него, пошире распахнула окно, чиркнула спичкой. Не повезло, сломалась. Зато вторая вспыхнула синеватым язычком. Огонь быстро перекинулся с шелкового платья вверх к волосам, охватил всю фигуру, и Тамара, неловко взмахнув руками, словно желая удержаться на краю, а не упасть, отчаянным огненным факелом ухнула в пропасть дворового колодца.

II

Ночью в темноте Маруся прислушивалась к беготне по коридору, поезд стоял на полустанках, нагонял время в пути, вагоны шатало из стороны в сторону, под утро, крепко обняв малыша, она заснула.

Выгружались дружно, будто и не было бессонной ночи, горнист продудел приветствие утру, рюкзаки, сумки заполнили платформу, «руко» кое-как построили ребят, и все двинулись к автобусам на площади перед вокзалом. Гренобль встречал солнышком, а вдали — заснеженными вершинами.

— Дайте я вам помогу, — высокий седовласый мужчина ловко подхватил её чемоданчик и взял за руку малыша. — Вы, видно, в первый раз в лагерь РСХД едете, ничего, привыкните, да не обращайтесь внимания на эту гвардию «пионервожатых», они плохо воспитаны, слово «спасибо» они не знают и руку братской помощи от них не ждите. Я от этой эмиграции и не такого насмотрелся, хоть они и внуки великих русских философов, но правила хорошего тона им не знакомы, к нам, новеньким, отношение как к плебсу, мы для них второй сорт, и не потому, что по-французски плохо говорим.

Он представился, она улыбнулась, но его имя сразу вылетело из головы, наконец автобусы заполнились, мужчина сел рядом с малышом, Маруся сзади, поехали.

Такой Франции она еще не видела, вокруг поля, лес хвойный на зависть Шишкину, оказывается, и здесь огромные елици растут, вот и берёзы весёленьким белым хороводом напоминают о родине, толстые рыжие коровы, как с выставки ВДНХ, медленно бродят по изумрудным лугам, стада барашков наращивают кудрявые шкуры, ровные ухоженные квадратики угодий, фермы с припаркованными джипами, проехали пасеку, потом заводь с гусями-лебедями, ни одного сельского жителя, ни одного трактора, битва за урожай идет по странным законам, будто не только все само по себе растет и наливается спелостью, но и человек при этом чуде как бы ни при чем. Дорога ползла вверх, деревни остались позади, справа лужайки с иван-чаем в рост человека, за ним ромашки и дрок, усеянный желтыми ароматными слезками, по обочинам ежевика, и опять ни души, но чувство, что вот-вот из-за деревьев появится Красная Шапочка под ручку с Мальчиком-с-пальчиком...

Маруся смотрела в окно, любовалась природой, мужчина рассказывал ее сыну смешную историю, тот оживился, рад был поболтать по-русски. Она встала на колени, оперлась руками на спущенное стекло, высунулась в окно и вдохнула. Боже, какие ароматы! Конечно, сразу мелькнуло: «как у нас в деревне», но нет, все-таки пахнет иначе, даже если зажмуриться и вдохнуть глубоко-глубоко, задержать воздух в легких и попро-

бовать вспомнить свой русский аромат, нет, он почти, почти такой же, но не совсем такой. Когда появилось у нее это странное желание сравнивать, кто есть свой, а кто чужой, что свое лучше чужого? Ведь за последние годы многие «свои-наши» обернулись вполне чужими. Не нужно ли наконец подумать и окончательно перестроить себя на другой лад? В корне убить ностальгию, а ведь в ней угнездился не только запах и вкус пирогов с капустой, а и много того, чем заражен всякий русский человек до самой смерти. Кажется, ностальгию придумали не французы? Надо решиться, отбросить сантименты, отказаться от тоски, найти любовь в другом, хотя бы в той красоте, которая вокруг, стоит только руку протянуть, сделать два шага вперед навстречу неизвестному (а может, оттого чуждому?), и тогда устрицы покажутся вкуснее селедки и сала, а французская литература, которой грезили русские поэты, напитает душу не хуже Пушкина. Ну, а вдали, там, за горами лет, на их склоне, ей обязательно повезет, и она опять вернется в питерские морозящие дожди и золотую кленовую осень.

Новый знакомый обернулся к ней и неожиданно сказал:

— Знаете, а у меня ведь было другое имя, я здесь начал новую жизнь, сменил паспортные данные на французские. Конец прошлому.

Он улыбнулся, и Марусе показалось, что она уже встречалась с ним.

— Странно, мы с вами знакомы? Может быть, в прошлой жизни?

— Нет, вряд ли, у нас слишком большая разница в возрасте, а во Франции я довольно быстро из эмигрантских кругов сбежал, испарился и осел на дно. У меня поначалу тоже были иллюзии о наших за границей, не верил рассказам умных людей, а уж когда нахлебался, решил и от них сбежать. Я, знаете ли, что-то вроде вечного побегушника, видно, на роду мне написано искать свое место всю жизнь.

«Просто он старый, а я молодая, я сумею, выучу язык, вот ведь вокруг меня молодое поколение русских-французов, православных и вполне счастливых, правда, ко мне они с опаской относятся, но понять их можно».

Приехали. Голое поле, в поле уже несколько брезентовых палаток времен последней мировой войны. В одной, самой большой, самодельная часовня, рядом кирпичный двухэтажный домик, смахивает на белую мазанку, в нем помещается штаб лагеря, и здесь же живет директриса с семьей, на втором этаже свалены старые вещи, книги, ломаная мебель, пустой каменный сарай, видимо, бывшая конюшня, одной стеной примыкает к домику, а другой к кухне. В сарае Маруся будет учить деток рисовать и читать русские сказки, а для начала хорошо бы вынести отсюда хлам и подмести пол.

Народ вывалил из автобусов, «руко» распределяли лагерьный инвентарь.

— Мы пока с вашим сыном пойдем вон к тем кустикам. Видите, там уже ставят палатки. Подтащим соломы, нарубим еловых веток. У нас с малышом много работы.

Она благодарно улыбнулась в ответ, а он по-хозяйски стал выбирать палатку поновее, да нет, не повезло, все, что осталось, зияло дырами.

— Шустрые детишки, под стать нашим пионерам, быстренько растащили. Идите к директрисе, может, она сжалится, все-таки у вас ребенок, наверняка у них есть резерв на случай неожиданных гостей. Ну, пойдем, помощник, — он задорно подмигнул малышу, взвалил на плечи рюкзак, а Маруся побежала к белому домику.

Она знала, что директриса была из известной эмигрантской семьи, о чем говорила ее фамилия. Но, толкнув дверь, она увидела грузную, немолодую женщину с помятым лицом, то ли с бодуна, то ли от бессонницы, и на Марусю пахнуло до жути знакомым персонажем «нашей» тетки из очереди. От неожиданности она даже попятилась. Может, обозналась? Да нет, женщина говорила с кем-то по телефону по-французски, а значит, все-таки та самая, которая нужна, на Марусю она не взглянула, отвернулась и продолжила разговор, прикрыв трубку рукой.

Табуретка тут же рядом, но вежливее подождать приглашения, а то чего не так подумают, ворвалась и без приглашения сразу плюхнулась, лучше постоять. Вот и девчушка лет трех в уголке на горшке сидит, у нее в руке кусок белого хлеба, лох-

матая собачка визгливо лает, машет просительно хвостиком, норовит хлеб оттяпать, а ребенок довольно ловко увиливает, крутится юлой, собачка подпрыгивает, и ай-ай-ай, горшок выскальзывает из-под задницы, и содержимое заливает пол... Вонь, рев, добыча оказывается в собачей пасти.

Женщина резко бросила трубку, встала из-за стола и, подхватив ребенка на руки, заметила Марусю.

— Простите, что беспокою, я приехала с сыном, буду здесь преподавать рисование и русский язык, но все целые палатки разобрали, нельзя ли попросить из вашего запаса?

То ли обращение неприятно резануло директрису, то ли весь вид «новенькой» вызвал отрицательную реакцию, но лицо ее окаменело, и она смерила молодую нахалку взглядом.

— Нет у нас других палаток, вы, наверное, не знаете, что здесь... — и она обвела комнату глазами, — все принадлежит нашим предкам. Эта рухлядь... а вы ведь именно так думаете? Эти предметы — дырявые и старые и есть наше прошлое — наша история, и мы ее бережем. Не вздумайте нас судить и учить. У меня в семье уже завелась одна критикесса... «оттуда». Предупреждаю заранее: со своим уставом в чужой монастырь не лезьте.

«Антикварный салон» состоял из трех колченогих венских стульев, обшарпанного стола, покрытого облупленной клеенкой, продавленного дивана да раскладушки, заваленной бесформенным тряпьем. Тут над головой, на втором этаже, будто слоны запрыгали, послышались визг, шум драки, девочка лет семи кубарем скатилась с лестницы, подбежала к матери и, захлебываясь в слезах, затараторила:

— Же ве, же ве, мэ ил не ве па... маман, же ве...

— Что ты хочешь? Объясни, чего не поделили? — и, взглянув на Марусю, отчеканила: — Вам предстоит научить их говорить по-русски, у нас это не получается.

— Странно, но ведь вы только что сказали, что храните традиции, а язык не смогли сохранить. Ваши дети вырастут не помнящими родства и не знающими русской культуры... — и осеклась.

Она хотела было спросить о странном песенном репертуаре, который она слышала на платформе, и почему внуки ста-

рой эмиграции смакуют совковые песни? Может, они слов не понимают, и им кажется, что эти задушевные мелодии и есть русский фольклор? А вот и неприметный книжный шкаф, как бы стыдливо занавешенный простыней.

— Можно взглянуть? Для занятий, может, книжки найдутся?

На нее глядели зеленые и синие корешки знакомых подписных изданий Чехова, Толстого, а вот и другой набор — Герцен, Маркс, и уж совсем неожиданно с верхней полки зыркнули «Поджигатели» Шпанова.

— Это почему такой странный набор?

— Потому что умер один старик, жалко было выбрасывать на помойку, вот и перевезли его библиотеку сюда. Может, пригодится когда-нибудь.

Из дальнейшего, уже почти мирного разговора Маруся выяснила, что многодетная семья директрисы живет в соседней деревне и что хороших палаток нет. Расписание лагерной жизни: с утра подъем, линейка, молитва, потом занятия с детьми в разных группах, разбитых по возрасту, у Маруси самые маленькие, их около двадцати.

На пороге появилась девушка.

— Идемте поищем в кладовке, там наверняка найдутся кусок брезента и раскладушка. Я вам помогу дотащить.

Лицо у директрисы опять одеревенело.

— Это моя невестка Нина, с ней вы наверняка найдете общий язык.

Когда они пересекали лужайку, девушка застенчиво сказала:

— Знаете, в эмиграции ничего нет тайного. Я о вашей истории слышала, о том, как вы выезжали, а еще мне один знакомый рассказывал о вас. Как я поняла, вы с ним были знакомы еще в Ленинграде, до той трагедии с вашей матерью.

— Странно. А как его зовут?

— Зовут Леонидом, но теперь он предпочитает Лео. На иностранный манер.

— И что же он делает во Франции?

— Кажется, он переводчик, а может, пишет что-то? Но об этом он сам вам расскажет. Он сюда собирается заглянуть, — и быстро добавила: — Но о том, что вы здесь, он, кажется, не в курсе.

Да, прошлое всегда с нами, и как бы ни хотелось его забыть, сменить имя, вычеркнуть из памяти события, — ничего не получается.

В последний раз она видела Ленчика на похоронах матери. Он к ней подошел, хотел что-то объяснить, но разговора не получилось, а уж потом она заболела, попала в больницу, перебралась в Москву.

Маруся на похороны пришла, дядя Миша Склярлов стоял рядом и плакал, и Ленчик тоже пришел и тоже плакал. Вид у него был жалкий, почему-то наголо побрит. Народу было совсем мало. Дед и бабка отказались прийти и даже выступили резко против того, чтобы мать похоронили на Комаровском кладбище. Хотя дядя Миша очень хлопотал и добился места, убеждал деда, что матери здесь будет хорошо лежать. Но старики были неумолимы, и пришлось маму закопать на дальнем Парголовском. Марусе потом стало казаться, что она никогда не найдет ее могилы. Вокруг километры почти одинаковых холмиков, нужно было запомнить не только как добраться к могилке, но где повернуть, вправо или влево и на каком участке, а примет-то никаких, даже креста не поставили, только номер... и много, много свежих могил рядом. Она и не подозревала, что столько народа мрет.

Незадолго да самоубийства матери жизнь ей поднесла еще один сюрприз. Из чудного сна, любви с Борисом, она вынырнула в отвратительную пошлую действительность...

Он сидел за своим рабочим столом, она примостилась в сторонке и рассматривала его наброски в альбоме. Вот рисунки велосипедистов, а это эскизы иллюстраций к повести Битова, а это, видимо, натурщица, красивая дородная девица, кормящая грудного младенца; потом пошли ее портреты тушью, а вот она полулежит, а это ребенок играет с мячиком, ему уже года два... Маруся до сих пор помнит сухость во рту, почти жжение, дыхание перехватило.

— Борис, это кто?

Он помедлил с ответом и, улыбнувшись через плечо своими лучезарными глазами, небрежно произнес:

— Это, наброски для книги, а это соседка в Тарусе. Она и её забавный парнишка живут в доме рядом, видишь, как удачно...

я ее уговорил попозировать. У меня есть всякие идеи. Может быть, сделаю серию литографий о материнстве.

— Да, слушай, я тебе забыл показать кое-что, — он хотел перевести разговор, сбросить неловкость момента, — вот смотри. Вчера был в гостях у приятеля, он устраивал сабантуй по случаю выхода своей книги, и там собралось много разных деятелей. Я сделал несколько рисунков, так, просто на память. Ну как, узнаешь?

На Марусю смотрело лицо матери, а рядом какой-то мужчина вполне кавказской внешности.

— Ты с ней познакомился?

— Да, мы с ней немного поговорили, но она была с каким-то иностранцем, кажется, французом, хорошо говорящим по-русски. Потом ее попросили почитать стихи.

— Ну, и какое впечатление она на тебя произвела?

— Мне показалось, что стихи хорошие, она их умеет читать, но сама Тамара Николаевна какая-то странная, старомодная, как из чеховских пьес, мне все казалось, что вот-вот и она воскликнет: «Я чайка, я чайка!»

Маруся взглянула на него с любопытством.

— Ну, это одна игра, на самом деле моя мать вполне знает себе цену.

— Ты к ней несправедлива. Поверь мне, она несчастный человек, одинокий и ищущий.

— Вот именно — ищущий, — она усмехнулась, — но искать нечего. Ей все дано. И семья, и муж, и любовь... а она дурака валяет.

Борис разговора не поддержал, потом они пили чай, шутили. Через пару дней он уехал в Тарусу, сказал, что исчезает на два месяца работать в одиночестве. А ее с собой не позвал.

И как-то вечером, истосковавшись сердцем, следуя все той же женской интуиции и молодому желанию все расставить по местам, она решила встретиться с его бывшей женой. Ей необходимо было освободиться от мучений, разбить подозрения и в конце концов утвердить свои права.

— Глупая, — усмехнулась стриженная травестишка. — Вот не думала, что ты так наивна. Ведь он с этой бабой уж давно.

Еще при мне она мальчонку родила, теперь ему годика два. Мне-то было наплевать, я ведь Бориса со школы еще знаю.

Именно тогда ей ясно стало, что мир повернулся к ней враждебной стороной и, как бы она ни цеплялась за счастье, ничего у нее не получится. Наверное, нужно было что-то предпринять, поехать к нему, наскандалить, встретиться с этой теткой, но в ту же минуту она представила все унижения, которые ей предстоит испытать, и ужаснулась.

* * *

Столица, которой она не знала, а потому не любила, жила своей суетой. Сюда ее занесло желание сбежать из Ленинграда.

Она по улицам не ходила, старалась утром нырнуть в метро и прямо на работу. Ей повезло: благодаря дяде Мише Склярову её взяли в Ленинку в архивный отдел. Если бы не он, то не взяли бы. Ведь туда берут только с особым допуском. У дяди Миши друзья повсюду и здесь тоже, а потому, как только она объявила деду и бабе, что намерена уехать, они сразу подключили всякие связи. Да, ей повезло, особенно потому, что в тишине этих залов и шкафов, рядом с тихими выдержанными сотрудниками она постепенно оттаивала. Дом, метро, позднее возвращение, сон... и так каждый день. Неожиданно пелена прошлого стала спадать, и будто в награду за что-то ей приоткрылась дверь в другой мир.

Вспоминая людей, дом, семью, увидела, что она росла как бы в некоем театре, с детства была окружена людьми, которые не по своей воле играли чужие роли, добровольно отказались от себя, врали, обманывали других и ни во что не верили. Да и сама она вполне вписалась в этот театр абсурда, следовала правилам игры, стремилась к счастью и крепко верила, что оно ей обеспечено. Если хочешь быть счастливым — будь им! Ей часто казалось, что колесо счастья ей подвластно и даже если у него собьется ритм, оно начнет скрипеть и в результате остановится, то она простым усилием, почти мизинцем, сможет оживить его. Так внушили ей с малолетства, а семья и положение деда вполне это гарантировали. В школе, а позже в университете ей прививали мораль и учили быть честной, доброй, отзывчивой,

приводили примеры, но на проверку получалось, что вокруг люди боролись за выживание, лгали, не стесняясь, расталкивали друг друга и о справедливости вспоминали редко. Ее дед, бабушка и отец были коммунистами, но она помнит, что когда они были среди своих, то позволяли всякие вольности, посмеивались над Брежневым, травили анекдоты о Чапаеве. Но все в допустимых пределах.

Теперь ей казалось, что ее мать действительно стремилась найти себя, оградиться от чего-то. Марусе стало жаль ее, обидно, что она была несправедлива к маме. А все потому, что у нее самой никогда не было собственных мыслей, а только упрямство, капризы и фальшь. Да и во что верили ее родители, дед, бабушка? Кажется, отец пытался найти некую правду. Он ей повторял, что нужно выстоять и не дать себя «им» «сожрать». Но она его не очень понимала. Он был милый и очень странный человечек. Наверное, он предполагал некую борьбу за выживание, за нахождение своего места в жизни?

Как и все в её окружении, Маруся никогда не задумывалась о вере в Бога. Академическая семья жила наукой, музыкой и достатком. Были ли они одурманены коммунистической идеологией? В семье об этом не говорили, делали вид, что это стереотипное суждение и что никогда коммунизм не занимал такого места в умах людей, чтобы их «одурманить». Сама Маруся сдавала экзамен по истории КПСС, но на другой же день выбрасывала из головы зазубренное. Ну, ходила она пару раз на демонстрации, но это было общение с одноклассниками и сокурсниками, а не политические акции. Как-то дед ей сказал, что пионеров и комсомольцев воспитывают по христианским ценностям. Лет в семнадцать, наслушавшись разных дискуссий, Маруся попыталась в семье задать пару вопросов, но связанного ответа не получила, а только «подрастешь, сама узнаешь» и «лишнего не болтай, чтобы не осложнять всем жизнь». А о вере они просто ничего не знали.

Единственное, что она помнит, так это книга новгородских икон, которую подарили деду и которую выпросил отец. Он несколько раз давал Марусе эту книгу смотреть, но ничего не объяснял. В университетской среде никто никогда о Боге не го-

ворил, в церковь не ходил, а в те шестидесятые все, от инженера до поэта, упивались другим. Сейчас, оглядываясь назад, она понимала, что эта вольность была бурей в стакане, некоей иллюзией и что должно же в жизни быть нечто главное, фундаментальное, то, что удерживает человека от безрассудных поступков, от самоубийства, от невозможности сохранить не только себя, но семью и любовь.

День начинался рано, она старалась допоздна сидеть на работе, зарывалась в архивах, составляла какие-то графики, библиотечная работа ей нравилась. Здесь, в тишине стеллажей, она жила не настоящим и даже не близким прошлым, а веками. Постепенно работа в архиве стала для нее почти наркотиком, она увлеклась, перед ней открылись неведомые стороны жизни, письма, исторические документы, фотографии. Некоторые полки были заполнены большими коробками, которые редко кому выдавались, да и то по особому разрешению. Однажды любопытство взяло верх, а запретность вызывала в ней почти спортивный азарт, и когда она в очередной раз ставила папки на место, то заглянула в одну. Маруся знала, что она не имеет права копаться в них. Инструкции запрещали сотрудникам самовольничать. Более того, к ним применялись еще более драконовские правила, чем к читателям. Прежде чем получить доступ к научной работе с фондами, требовались всяческие справки, обоснования, печати, разрешения, а ведь могли и не дать этого злосчастного допуска. После прочитки, перед тем, как вернуть все в хран, сотрудник пересчитывал каждый листок, а читатель расписывался в особой тетради. У входа сидел милиционер, строго смотрел в паспорт, посетители заполняли бланки, в читальный зал запрещалось приносить портфель и тем более фотоаппарат.

Ни из библиотеки, ни из архива за все годы никогда ничего не пропало.

Что же скрывают от граждан? И почему только избранные могут работать с этими архивами? Скорее всего, по природному любопытству и потому, что, кроме этих запретных папок, она двадцать четыре часа в сутки ничего не видела, Маруся все больше вчитывалась в страницы. Так она впервые узнала

о жизни в старой России. Это по учебникам истории в школе они не проходили. Хотя в университете, в диссидентских кругах многое болтали...

Потом была папка о гражданской войне, об эмиграции, прочитала откровения о революции, ей попались пожелтевшие отчеты со списками конфискации, уничтоженных церквей... Единственный человек, которому она могла задавать вопросы, был ее новый знакомый — коллега-историк. Доверие к нему у нее возникло не сразу и случайно.

Как-то задержавшись на работе, будучи уверенной, что она одна, Маруся в своем уголке читала и не заметила, как за ее спиной возник мужчина. Он бросил взгляд на стол, улыбнулся и сказал:

— Не бойся, никому не скажу. Я сам здесь такое откопал... волосы дыбом.

Так уж случилось, что, однажды застав Марусю за преступлением, он стал ее подкармливать разной литературой, советовал, что лучше почитать и в какие папки заглянуть. А через пару месяцев под видом упорядочивания архивных материалов он попросил у заведующей отделом разрешение взять Марусю в помощницы, и та дала свое добро.

Изо дня в день, из месяца в месяц они, как два заговорщика, приносили в свой рабочий отсек папки и делали вид, что сдувают с них пыль, пересчитывают и подклеивают страницы, а на самом деле читали и переписывали. То есть это Маруся помогала переписывать интересующие его материалы. Историк многое знал, но вслух, при других, ни о чем с Марусей не говорил. Он действовал очень осторожно, и между ними постепенно возникло полное доверие.

Частенько после работы он провожал ее до метро, а однажды предложил погулять по Замоскворечью, и Маруся, плохо знавшая город, открыла для себя удивительные уголки. Да, наверное, ему хотелось за ней поухаживать, но она держала себя с ним сдержанно и всем видом давала понять, что дальше общего дела и разговоров их отношения не пойдут. Историк был интересным собеседником, она не стеснялась задавать ему вопросы и однажды спросила:

— Скажи, а какая разница между хорошим коммунистом и христианином? Ведь хороший коммунист — честный, образцовый, чистый, вежливый, порядочный. А в Бога верующий человек — он должен тоже быть порядочным? Значит, разницы нет?

Он был удивлен, не сразу нашелся с ответом, а потом сказал:

— Так вопрос не в честности, а в причине этой честности. Твое отношение к другому человеку чем характеризуется? Христианин — тот, кто принял Христа в свое сердце.

Маруся не поняла, стала возражать, спорить. Они уже долго бродили по улицам, беседовали, и казалось, что он не может ей объяснить, что такое настоящая вера. Для нее все оказывалось на уровне схоластики и формальности, на каждое его объяснение она находила отрицательный ответ. Много она представляла как невежда, но все-таки много чувствовала сердцем. И вдруг он сказал:

— Маруся, ты рассуждаешь, как все атеисты. Вот докажите мне, что Бог есть, и тогда я поверю! А вера в Бога — это чувство, но другое, чем у коммуниста. Он может быть вежлив и корректен, но убьет за свою веру и глазом не моргнет. Христианин — другой, он и врага простит. Это антиподы. Принять Христа идти за Христом — значит принести себя в жертву, а не других. Значит, себя сделать рабом Божиим, а не других...

— Откуда ты все это знаешь? Ты веришь?

— Теперь да, но был, как все. Мы ведь окружены этой коммунистической идеологией. Мой папа тоже был таким (царство ему Небесное!), а он четырнадцатилетним пацаном полгода отсидел в лагере за кружку колхозного молока. Вернулся покалеченным, но остался коммунистом и все мне повторял: «Время было такое. А тех, кто катовал, и так Бог покарал». Но я как-то в это не очень верю. Для меня коммунист — это антихрист. Враг Христа! И еще скажу тебе, это не может быть смешано, не может быть никакой примиримости в этом, особенно если коммунизм объявил свое намерение уничтожить веру, уничтожить чувства. Знаешь, ведь немного коммунистов, которые крестили своих детей, это известно всем.

— Ты до всего этого своим умом дошел? Или тебя кто просвещал?

— Повезло, встретил человека, он мне много интересных книжек давал. А потом предложил покрестить меня... он был священник, немолодой, сам в лагере отсидел. Я тогда ничего не понимал, и он мне замечательно объяснил, что такое настоящая вера, церковь и молитва. Что вера не сводится только к обрядам. Ну... красить яйца, печь куличи, одеваться в русские одежды и прыгать через костер в ночь на Ивана Купала. И что вера — это постоянство. Что в церковь нужно ходить не когда зуб болит и молить Господа помочь в трудный момент, а молиться постоянно. И как бы это «обыденность», которая станет необходимостью и приведет к церковности.

Он помолчал и добавил:

— Я хочу тебя позвать... пойдём со мной на воскресную службу?

— Понимаешь, мне в церковь, наверное, нельзя. Ведь я не крещёная. Меня атеисткой растили, и я не готова еще отказать от прежней жизни. Свои грехи я вполне сознаю, но справиться с собой, оттаять не могу, сердце моё, как камень, не смягчается.

— Коли у тебя уже осознание есть, то самое время и к Богу прийти.

Маруся такого поворота событий не ожидала, смутилась и согласилась.

В воскресенье он её ждал у входа в храм Иоанна Воина.

Все для нее было странным, она смущалась своей неловкости. Её напугала строгость священника, особенно его глаза, он казался неприступным. Детей и молодежи в храме было мало, в основном старушки да несколько пожилых мужчин, одетых в ватники. Лица молящихся поражали, прекрасное пение вызывало необъяснимое волнение души, свет и тепло свечей завораживали. Она вспомнила маму, свою любовь, и все невысказанное, страшное вылилось в молчаливые слезы. Они текли по ее щекам, рыдания подступали к горлу, ей хотелось убежать и больше никогда не переступать порога церкви.

Через пару недель её новый друг принес маленькую книжку — молитвенник.

Перед сном она раскрыла его, и слова, которые дремали в ее душе и не складывались в нужный ряд, наконец обрели форму и смысл.

Маруся сама стала заходить в храм, ненадолго, хоть на десять минут, поставить свечи, прочитать молитву и сразу уйти. Много было непонятного, а оттого чуждого. Страшно подойти к иконам, страшно заговорить со священником. Ей казалось, что этот строгий немолодой человек сверлит ее взглядом, что он видит насквозь все ее грехи и знает наперед, что она скажет.

Но однажды она решилась и подошла к нему:

— Мне нужно во многом разобраться. Я могу с вами поговорить, задать вопросы?

— Не нужно смущаться. Говорите.

Они были одни в церкви.

— Отец Николай, мне трудно смириться, трудно простить. Мой отец исчез, а мама... она покончила с собой... — и словно гнойник прорвался, сбивчиво, несвязно, долго и слишком откровенно говорила Маруся.

Он слушал, не перебивал, смотрел как-то в сторону.

— Вы должны знать, что мы, грешные, не всегда готовы к смирению. Но Господь велик и прощает нас, он помогает нам. Вот у вас много гордыни, и вам от нее тяжело самой. Трудно простить мать, понять отца, простить Бориса. Попробуйте просто не осуждать их. Подумайте, что они не осознавали, что творили. Их души жили в хаосе и шатании, а потому они не сохранили ни любви, ни семьи, — священник снял с полки книгу, раскрыл её, вынул маленькую бумажную иконку и протянул ее Марусе.

— Это Мария Египетская, а это ее жития. Почитайте. И если вы хотите стать настоящей христианкой и если Господь уподобит вас прикоснуться к таинству причастия, то вы должны прийти к нему с чистым сердцем. С полным примирением и без злобы. И навсегда сохранить любовь к Христу, а тогда придет и настоящая любовь к человеку. Это может быть долгий путь, но я помогу вам.

Отец Николай обещал подготовить её к крещению, а через полгода в этом храме она познакомилась со своим будущим мужем.

* * *

В первые дни она не верила, что он парижанин, русский-француз. Олег говорил без акцента, только непривычная манера строить фразы выдавала в нем иностранца. Он подошел к ней после службы, заговорил и попросил разрешения проводить. Потом они зашли в кафе, съели мороженое, и он все шутил, что только русские едят мороженое зимой. Так они встретились, и Марусе почти сразу стало ясно, что именно он будет ей опорой и что наконец-то ее жизнь будет обращена к чему-то настоящему, полноценному и к достойному человеку.

За три года их супружеской жизни у них было много радостей, родился малыш, а вот выехать к мужу на постоянное место жительства ей долго не разрешали. Сначала возражали дед с бабушкой, хоть им было уже далеко за девяносто и терять было нечего, но письма в ОВИР они строчили бодро и регулярно. Требовали отдать им на воспитание малыша, писали, что Маруся вся в мать, такая же непутевая и что она ребенка испортит. Кровушки Марусиной они выпили много. Помог опять дядя Миша, уговорил их, убедил, что Олег из приличной семьи, занимает хорошую должность во французском МИДе и что Маруся с малышом будет в Ленинград к ним приезжать. Все эти перипетии с оформлением брака, с рождением малыша и отъездом длились долго. Им казалось, что они обречены на постоянное житье врозь, и каждый раз, когда Олег улетал в Париж, она не знала, разрешат ли ему вернуться. Хоть и был у него диппаспорт, но слишком много неприятностей доставляли им постоянные письма ее родственников и знакомых. Вообще-то все эти годы дядя Миша ее опекал, приезжал в Москву, звонил, она познакомила его с Олегом, и они очень быстро сошлись. Он был незаменимым ангелом-хранителем по всем вопросам, и когда она призналась ему, что никак не решается рассказать Олегу о смерти матери и об отце, то он сразу вызвался разрешить эту проблему. В ближайшую встречу он

легко и непринужденно пригласил Олега погулять по Москве и рассказал о несчастьях Муси.

— Я теперь знаю, что твоя мать была талантливая поэтесса! В следующий раз обязательно достану ее книжку, наверняка она есть в русском магазине в Париже.

И он привез маленькую синенькую книжечку, которую она увидела впервые. Задумала желание, загадала страницу, открыла и прочитала: «Нет больше чувств, ни слез, ни радости от встречи. Осталось все повесить на просушку. Веревка бельевая — лучший врач. Стекут потоки слез с замученной подушки, пройдут недели, высохнет душа, и носовой платок промокший я выброшу и заменю бумажным. Он стерпит только одноразовый поток и не подвергнется вмешательству застирок...»

Встреча с Олегом была для Маруси неожиданностью, она произошла в тот момент, когда уже не осталось в ней ни капельки надежды на нежность. Наверное, эта встреча была втройне неожиданной, потому как приоткрыла в ней самой неведомые стороны ее души. А рассказы Олега о жизни русских в Париже стали для нее настоящим открытием...

— Знаешь, Марусенька, мое детство было благополучное, счастливое. Это я только теперь понимаю, ведь мои предки, которые в эмиграции оказались сразу после гражданской войны, пережили страшную нищету. Но как только они оказались в Париже, сразу стали создавать православную общину и искать место для церкви.

В пятнадцатом округе был найден гараж, и его оборудовали под храм. Своими силами, из подручных материалов пристроили помещение для трапезной. Это было время крайней бедности. Денег хватило только на то, чтобы снять этот гараж да кое-как собрать церковную утварь. Ничего не было. Люди несли, кто что мог. У кого-то были иконы, кто-то сшил облачения и ризы... Представь себе, Маруся, храм в бывшем гараже! Тебе может показаться это диким, но для моих дедушек и бабушек это было счастьем. Хоть и каменные, неоштукатуренные стены, фанерный иконостас, заполненный бумажными, копеечными иконами. Духовенство в облачениях, трогающих сердце: столько положено видимой заботы, любви и тщания, чтобы

из жалких тряпочек соорудить одежды, достойные предстоятелей... Вот и мы с тобой и малышом, Бог даст, в этот храм придем. Он сейчас уж не тот. Меньше старшего поколения, зато сколько детей. Все они уже плохо говорят по-русски. Но мы с тобой должны постараться, чтобы наш малыш был настоящим русским. Кто знает, может, времена изменятся, и он будет приезжать в Россию свободно, не так, как я...

...У нас большая семья, и очень дружная, и мой отец этот храм строил и думал, что никогда не увидит его достроенным. А вот все-таки получилось. И знаешь, меня и моих братьев и сестер в нем крестили. Я всегда буду помнить, как малышом меня готовили к церкви, одевали в самую хорошую одежду. Каждое воскресенье мы отправлялись в храм, не пропускали ни одной службы. Все чинно, всегда семьей, свечки брали, просфоры... прекрасный хор церковный, но из своих прихожан. Я помню еще священников старого времени, мой отец рассказывал, что в тридцатые годы было много рукоположений офицеров, которые умели себя держать, но богословское образование получили под свист пуль. Нравственно они прозрели тогда. Вот так мои родители жили в Париже и нас так растили, и это великая благодать.

Казалось, что русские в эмиграции погибнут и все было обречено, но в какое-то время стало вдруг все обустроиваться, как бы вырастать. Понять это трудно, потому что наши люди часто говорят: «Все кончено, сил не хватает», но все продолжается. Наверное, это специфика жизни эмигрантов, и особенно русских. Была первая эмиграция, которая храмы строила. Это был костяк. Ведь они еще в тридцатые годы создавали приходы в США, Южной Америке и Австралии... После войны была вторая волна, которая пополнила храмы, и эти люди естественно вошли в нашу жизнь.

А потом уж приехала третья волна — «инакомыслящие», они даже теперь не полноценные эмигранты, они — искатели, кто ищет добро, а кто — богатство. Они покинули свою родину сознательно, переезжая в другую страну, чтобы богатеть. К России уважения у них мало и к Церкви тоже, большинство из них мы не видим, ведь они выросли в безбожном СССР. Но есть

какая-то часть, которая приходит в храм и воцерковляется, становится там верующими.

Счастье, Марусенька, что ты нашла свой путь в храм здесь, в Москве. Счастье, что ты пришла к этому сознательно. И еще я очень надеюсь, что у нас будет полная семья и мы сможем вложить в наших деток настоящую веру, которая защитит их от душевного хаоса.

Мой отец до сих пор боится сюда приезжать, да его и не пустят, он убежден, что России так и не увидит. Если бы не моя работа, я бы тоже не приехал и тебя бы не встретил...

И вот наконец-то они вместе и все неприятности позади!

В это первое парижское лето Маруся совершенно сознательно решила поехать в русский лагерь. Рассказы Олега ее так напоили, так вдохновили, что хотелось ей послужить русской эмиграции всей душой.

Прошло несколько дней, и первое неприятное впечатление от лагеря улеглось, на смену пришел покой. Она много ходила пешком, особенно по лесу. Закидывая голову вверх, удивлялась диковинным древесным стволам, так непохожим на русские липы и дубы. Неизвестные гиганты, словно зелеными змеями, были обвиты плющом, а сквозь заросли пробивались необычные кудрявые кусты с колючими листьями и гладкими, словно капли крови, красными ягодами. На полянах, там, где деревья расступались, пушистым золотом светились пахучие незнакомые цветы и совсем свои русские колокольчики, ромашки, брусника, черника, малина, а вот ежевика, и терпкий вкус ее Марусе не нравился. В лесу было много гигантских валунов, белого мха, и это тоже напоминало Карельский перешеек. Тянуло из глубины леса болотной сыростью, и неожиданно бутылочным стеклом высвечивались маленькие озерца, густо заросшие по краям кувшинками. Она всегда любила природу, а здесь, в этой соблазнительной французской глуши, она неожиданно испытала восторг, когда нос к носу столкнулась с дикой козочкой, а в другой раз увидела лису. Каждое утро, выйдя из палатки, она окуналась в млечное марево, ноги жгла роса, но через полчаса будто внутреннее солнце растворяло этот временный туман, и за чернobarхатным лесом вырисовывались

белые пики Альп, а в розовое заспанное небо из дальней высокой трубы деревенского дома, затерявшегося на склоне, поднимался сизый дымок, и ветер доносил запах испеченного хлеба и свежескошенной травы. Изо дня в день эта красота и покой постепенно заполняли Марусю, вытесняя из ее груди все темное и тяжелое. И дрожащее счастье, похожее на счастье невинного детства, на волнения души, сравнимые только с первой любовью, поднималось в ней и закрепляло уверенность, что все страшное уже позади и не нужно жалеть о своем решении уехать навсегда во Францию.

Общение с детьми, занятия с ними русским языком наладились легко. Уроки она построила на игре, разучивании стихов, песенок. Директриса сменила гнев на милость и предложила Марусе устроить постановку русской сказки. Тут в ход пошли ножницы, бумага, обрывки ткани, нужно было смастерить костюмы. В этой затее ее помощниками были Нина и новый знакомый, попутчик, как он сам себя в шутку называл, «побегушник».

Как-то после воскресной литургии, которая проходила в одной из больших палаток, оборудованных под походную церковь, все ушли трапезничать, а Маруся осталась вдвоем с Ниной прибрать после службы.

— Ты давно во Франции?

— Уже три года, но каждую зиму езжу к себе домой в Тверь.

— Скучаешь?

— А как ты думаешь? Подожди, вот пройдет годик, и ты взвоешь. Видела мою свекровь? Ведь она меня приняла мордой об стол, я как только появилась, сразу стала для нее врагом номер один. Думаешь, почему у меня нет детей? А потому, что они мне сказали сразу, что, как только я рожу, они будут заниматься воспитанием ребенка. Я, видишь ли, для них «не своя», ничему, кроме совковости, научить не смогу.

— Брось, Ниночка, это тебе так кажется. Это оттого, что у них была трудная жизнь, вдали от родины, на чужбине. Они привыкли держаться своего клана, а иначе не выжили бы. Мне мой муж говорил, что никто из новой эмиграции этого не понимает.

Маруся засмеялась и попыталась сгладить неловкость разговора.

— Вспомни, как твоя свекровь меня встретила.

— Ты смеешься, а мне плакать хочется. Я как только приехала и еще ни бум-бум по-французски, так она специально делала вид, что по-русски не знает. А уж с церковью... совсем замучила. Обзывала, что я нехристь и что я такая-сякая необразованная... — тут Ниночка бросила взгляд на икону и сдержалась.

— Как же тебя сюда занесло?

— Ох, случайно, случайно... и все потому, что поддалась соблазнам. Захотела получить хорошее образование. Думала, в Сорбонну поступлю, ведь в Твери я уже один диплом получила, по литературе. Гидом подрабатывала, так и встретила с моим благоверным. Он мне наобещал золотые горы, да ладно... скажу тебе прямо, в общем, как узнала, что он из Парижа, своего упускать не хотела, — и, выдержав небольшую паузу, странным голосом закончила: — Теперь вот маюсь в наказание, потому что все мне здесь опостылело и все не свое.

— Пойдем посидим на лавочке, — предложила Маруся и, взяв за руку, вывела Нину прочь из церкви. Вот ведь как странно! Сколько раз она пыталась задавать себе те же вопросы. Кто свой, а кто чужой? И теперь после всех событий ей на этот вопрос было бы трудно дать четкий ответ. Ведь жизнь так многоцветна, а тут слова Ниночки вызвали в ней воспоминания о черно-белых годах.

— Знаешь, тебе трудно потому, что ты не хочешь согласиться с тем, что этим русским эмигрантам было тяжелее, чем нам, на родине.

— Неправда! — вскипела Нина. — Они мне все уши прожужжали о своих предках, о том, как они с красными воевали, а что мы в СССР ничего об этом не знаем. Они тут, видите ли, в нищете прозябали да свое православие спасали! Ушатами с утра до ночи выливали на меня самую негативную пропаганду... а у меня ведь отец герой, воевал, ранен под Берлином.

— Попробуй если не полюбить, то хоть сердцем их принять, — глухим голосом проговорила Маруся.

— Чую, что сейчас ты меня спросишь о Боге! — ядовито бросила Нина. — Не надо. Я хоть и крещеная, но ни свечкодушкой, ни церковной крысой не стала.

Какие-то большие незнакомые птицы летели у них над головами к югу, и Маруся, проводив их взглядом, вспомнила, как однажды отец Николай ей растолковал текст Евангелия о том, что у Бога «много званых и мало избранных», и подумала, что совершенно бесполезно говорить об этом с Ниной. Она не поймет, а воспримет как проявление гордыни с ее стороны и еще больше замкнется.

— Ошибаешься, не буду тебя терзать. У каждого свой путь. Расскажи лучше, где ты познакомилась с Ленчиком? Мы его Длинным звали.

Неожиданно лицо Нины осветилось улыбкой, брови распрямились, и она весело сказала:

— У меня с ним романчик. Назло этой выдре, — и она кивнула в направлении трапезной. — Мы с ним столкнулись случайно, он в книжный магазин зашел, я там работала, а потом у моих подружек парижских кантовались. Они, как и я, — зашнуровались и зло добавила: — Советские жены.

— Правда, что он собирается сюда приехать?

— Ну, да. Через пару деньков. Мои родственнички еще не знают об этом, — она хихикнула и, вздохнув, продолжила: — Надо же какое совпадение, он сюда заявится... а ты здесь. Для него это будет сюрприз сюрпризов! О тебе он мне такое рассказывал, что я сразу поняла, он тебя любил. Он журналистом был, а теперь переводами занимается для конференций, то в ООН, то в Юнеско. Много по свету мотается, живет в основном в Лондоне, — она поправила маленькой ручкой выбившиеся из-под косынки волосы, и ее серые глаза хитро блеснули, — хорошо зарабатывает, подарочки мне делает, не то что мой голоштаный дворянин. Ты бы видела, на каких табуретках я сижу дома! У нас бы давно на помойку выбросили.

Маруся всмотрелась в дальний лесок на горизонте и физически ощутила прохладу его тенистых дубрав. Она перевела взгляд на необычной формы скалу и сверкающий на солнце горный поток и только сейчас заметила очертание белого мо-

стика, а под ним крохотный игрушечный домишко. Нина продолжала рассуждать о пользе брака, о том, что ровно через год она станет француженкой, подаст на развод, а если родить двоих детей, то как матери-одиночке ей будут выплачивать такое пособие, с которым можно не работая жить припеваючи. Она мечтала о том, как выпишет свою мать и та наконец увидит мир и, может, на старости лет найдет себе нормального мужика, а не их пьянчугу отца. И неожиданно резко подвела черту.

— Все равно наша Тверь лучше ихнего Парижа, особенно люди!

Обед, видимо, закончился, и из трапезной донеслись голоса молящихся. Первыми на поляну перед домом выскочили мальчишки и сразу побежали играть в футбол, потом вышли «руко» со старшекласниками и со священником, он им что-то на ходу продолжал говорить, блаженно улыбаясь, держа на руках малыша, появилась директриса, и неожиданно резко в этой праздничной благодати зазвучал напористый глас горниста. На лужайке дежурный по смене, быстро-быстро дергая упругий шнурок, поднял трехцветный флаг.

Маруся очнулась, и ей инстинктивно захотелось поскорее встать и отойти от Нины, будто от чего-то стыдного и гнусного, что она уже переживала в своей прежней жизни.

III

Его план удался на славу. Он не очень надеялся, что сумеет убедить француза. Жан, человек наивный, впрочем, как многие оттуда, но он не впервые в СССР, а потому не только в столовой общепита не обедает, но и конспирацию соблюдает по всем правилам. Завтра он обменяет валюту на рубли, увидит Тамару Николаевну и все объяснит. Да нужно ли ей все знать? Может, просто сказать, что встретился со славистом случайно и все решилось как-то само собой. Наверняка француз укатит утречком в Москву, потом в Париж. Ведь он сам заинтересован, чтобы вся эта сомнительная история поскорее закончилась.

Но более всего Ленчик радовался тому, как он ловко обвел «этих типов». Ведь лысый о деньгах ничего не подозревает! Да откуда ему знать? Леня в своих отчетах об этом умолчал, только книжечку передал. Теперь пусть вызывают Тамару на беседы. Наверняка она испугается и согласится выступить по телевидению или написать опровержение. Как он понял из разговоров с Виктором Ивановичем, они ей все простят, попугают и отпустят. Но валюта теперь в надёжном месте, и он сумел отвести самое страшное, отчего могла пострадать не только глупая Тамара Николаевна, но и Маруся.

Вот этот пухлый конверт, он лежит перед ним. Интересно, какая там сумма? Жан, кажется, говорил о трех тысячах франков. Много это или мало, Леня не знал. Утром он пойдет сначала в парикмахерскую, а потом в баню, где встретится со знакомым фарцовщиком. Лучше всего обменять все сразу, а не частями, но не так просто обменять франки, жаль, что не доллары, хотя сами бумажки выглядят намного красивей. Приятно в руках подержать. Купюры большие, с разными портретами, с завитушками, с видами Франции. А нужно ли отдавать Тамаре все деньги, почему бы не оставить себе хоть немного, ведь он, спасая мать и дочь от позора, честно их заработал.

Свалившиеся с неба баксы, такие невинно доступные, лежали рядом и вызывали в нём озорные мысли. Нет, нужно оставаться хорошим до конца!

Глупая идея обриться наголо его веселила. Маруся давно издевалась над его патлами, а тут он придет в Комарово, и она ахнет. Ведь это почти как начать жизнь сначала.

В бане над ним ребята посмеялись, все по черепу гладили, шуточки дурацкие отпускали, что он как Юл Бриннер из «великолепной семерки», только «кольта» не хватает. Пришел и долгожданный меняла. Они с ним в темном уголке переговорили, и, как Лёнчик подозревал, быстро не получилось. Парень обещал только через пару дней, да и то одна часть будет в деревянных, часть в долларах, остальное в сертификатах.

Вечером Леня отсиделся в кино, потом подвалил к приятелю, они слушали джаз, пили красное вино, и, так как мосты уже развели, остался ночевать, весь следующий день провел в

раздумьях, шатании по городу, встречах с приятелями, только бы не идти домой. Он решил, что, пока не закончит дело, Мусе на глаза не покажется. Наконец в той же бане он совершил обмен и с успокоенной совестью и чистым телом вернулся домой.

...Сон был глубоким, безмятежным, но сквозь него пробилось настырное треньканье. Лене очень не хотелось открывать глаза, скорее всего, это звонят родители. Видимо, они уже в аэропорту и рассержены, что он их не встречает. Хотелось продлить наслаждение, и, утонув с головой под простыней, он нашарил рукой телефон.

— Где тебя черти носят?! — рявкнул знакомый голос.

— Что случилось, Виктор Иванович?!

— Подружка твоя с собой покончила!

— Маруся?! — Леня резко вскочил.

— Да нет, Тамара Николаевна... выбросилась из окна, но перед этим... Не хочу тебе подробности рассказывать. Потом, при встрече. Да где ты шляешься? По бабам, что ли? Вот скажу твоей милашке... — хрюкнул в смешке знакомый голос, но, словно спохватившись, приказал: — Дуй в Комарово! Мы пока ничего им не сообщали, опасаемся, как бы старики... ну, сам понимаешь, не маленький. По многим причинам необходимо, чтобы ты был там. Именно в тот момент, когда наша служба им позвонит, ты должен быть с ними рядом.

— Да что вы такое говорите... что же я скажу Марусе? И потом, я должен через час быть в аэропорту, родители приезжают!

— Разговорчики отставить! Давай, ноги в руки, и на вокзал. Заявишься на дачу, будто ничего не знаешь, а там по обстоятельствам. Жду тебя завтра к двум часам, хочу кое о чем спросить с глазу на глаз. Многое она сожгла, уничтожила, да как-то странно...

— Скажите, а где сейчас француз? — затаив дыхание, спросил Ленчик.

— Хм, французиком интересуешься? Заболел, бедняга, не успел уехать в Москву. Пришлось его срочно госпитализировать с отравлением. Уж дня два, как лежит в карантине в Боткинских бараках. Все, баста, больше тебе знать не положено.

Это был даже не гром среди ясного неба, а взрыв ядерной бомбы! Первое, что пронеслось в голове: «Так и денежки уже некому отдавать».

Он стал судорожно одеваться, торопясь, надел красивую рубашку, новые кроссовки, он видел себя входящим на дачу к Мусе, вообразил ее изумленное лицо, реакцию на бритый череп, шутки, смех, солнце дрожит на ее щеках, но пройдет час или два, и ее лицо будет залито слезами. От счастья и беззаботной веселости не останется ничего. Он попытался вообразить себя в этой ситуации. Что он должен делать? За кем шпионить, подглядывать, что потом «им» рассказывать?

Леня мысленно перенесся в дачный кабинет академика, представил его сидящим в кресле, слушающим музыку, а может, играющим в крокет с соседом по даче. И вдруг телефонный звонок... Это звонят «они». Кто-то берет трубку, просят поговорить с женой академика, а лучше с Марусей. Она весело взбегает по ступенькам крыльца, и Леня не может опередить ее, он не в силах изменить ничего, он только слышит какой-то странный звук, то ли возглас, а может, хлопок. Проходит полчаса, и к дому подъезжает «скорая помощь», из нее выскакивают люди в белых халатах. Неужели у старика инфаркт? А может, у бабушки? Кто-то в глубине дома кричит грубым гортанным голосом, он слышит топот, голоса, в ушах у Лени звенит, сердце огненным шаром распирает грудь, ему нечем дышать... и тут он решает в Комарово не ехать.

Он дождался приезда родителей, выдержал нравоучения отца и материнские ласки, вполне был доволен подарками и, с трудом сдерживая нетерпение, решил, что хоть издалека, но понаблюдает за домом Тамары Николаевны.

Он решил подойти к дому проходными дворами. Пустое эхо хлопало в такт шагам, отскакивало и ухало куда-то за мусорные бачки. Он не знал, нужно ли просто понаблюдать из подворотни за окнами или подняться по темной «черной» лестнице на этаж. Ему показалось, что под аркой стоит тень, и, словно зверек, нюхом, почуял «их» присутствие. Он вовремя отскочил, больно ударился коленом обо что-то острое, порвал джинсы и чуть не растянулся в склизкой луже. Леня не

ошибся. За домом велось наблюдение. Откуда только у него взялась заячья легкость в ногах! Дивясь самому себе, он рванул с места, легким вихрем пронесся куда-то вспять, потом, заметая следы, оказался в совершенно незнакомых дворах и, даже не очень понимая, что творит, выскочил на мокрую мостовую, остановил такси и назвал первый пришедший на память адрес.

Разбитое колено жгло, в голове не прояснилось, и, выйдя из машины, он опять долго плутал по городу.

В крематории во время похорон, на которых он так и не решился заговорить с Мусей, Леня был удивлен малочисленности друзей и родственников. Один мужчина, на вид интеллигент, с черной сумкой через плечо, почти плакал, все протирал очки большим носовым платком и обнимал за плечи Марусю. Да и у самого Ленчика слезы текли по лицу. Но заговорить с ней он не сумел.

Его испугал не крематорий, а присутствие мертвого искалеченного тела, хоть и в закрытом гробу. Он старался представить последние часы Тамары Николаевны, подробности, предшествующие ее решению. Пытаясь вспомнить детали последних событий, встречу с Жаном, разговоры с «ними», ночь с Тamarой, он хотел распутать этот кошмарный клубок, но как только он сбивался на мельчайшие детали, все опять запутывалось. Самое страшное, что в своих логических выкладках Леня пришел к выводу, что «они», и только «они» были виновны в насильственной смерти Тамары! Да жив ли Жан?

Многие ночи после этих событий превратились для него в мучительный кошмар. Ему мерещилось присутствие Тамары, он с ужасом вскакивал и, шаря под подушкой, обнаруживал синюю обложку, раскрывал книгу, но страницы были все склеены, и как ни пытался он их разодрать, ничего не получалось. Ему стали сниться голоса, то женские, то мужские и всегда без лиц.

Вырываясь из кошмарных объятий ночи, когда утром голова разламывалась от нестерпимой боли, он с ужасом думал, что это еще не конец и что позора не избежать.

Пару раз, чтобы развеяться, он сходил на вечеринки к сокурсникам, к знакомым, у которых жил Жан, но они вели себя

с ним странно, не как всегда, сторонились его. Как он ни пытался вести непринужденный разговор, обсудить какие-то события, все отводили глаза. Он почти слышал, как за его спиной шепчутся не стесняясь, поминают его имя в связи с делом Марамзина. Очень быстро он оказался в полной изоляции. И если раньше был почти уверен, что никто не догадывается о его «стажерстве», то теперь с ужасом убедился в обратном.

Особенно косить под больного Ленчику не приходилось. Учиться он перестал и понял, что без лекарств не обойтись, иначе свихнешься.

Виктор Иванович встретился с его отцом, потом пришел к ним домой, говорил мирно, и совместными усилиями было решено перевести Леонида в Киевский университет, где он спокойно закончил бы аспирантуру.

Маленькая, но вполне удобная квартирка, которую он снял по знакомству, смотрела окнами на Оперный театр. Друзей он не завел, за девушками не ухаживал. Он жил мирно и незаметно, читал книжки, которые брал в университетской библиотеке, в зимние субботние вечера просиживал в кино, ходил в театр. Он отошел душой, перестал видеть кошмары. Сны выровнялись, и тоска по Марусе постепенно ослабла. Леня любил гулять по склонам Владимирской горки, в любую погоду здесь было прекрасно. Восхитительный вид на Днепр успокаивал нервы и возвращал его к тому, каким он был, он удивлялся своему сердечному жару и страданиям, он негодовал на себя за предательство, он ненавидел «их», и заканчивал он этот бессмысленный обзор банальным: «как хорошо, что все позади». Весенние радости яблоневого цветения и неожиданный снег, выпавший в мае, так напомнивший ему ленинградскую слякоть, окончательно влюбили его в этот город... А деньги? Он их потратил. Но дал себе честное пионерское, что обязательно все до копейки Марусе вернет!

Позор пришел через радио, через гул и треск заглушек. Ему не спалось, он настроил свой коротковолновый приемничек на джазовую программу Би-би-си и вдруг услышал: «...с нами в студии профессор Сорбонны Жан Нуво», затем провал, и сквозь шумы пробился знакомый голос: «...я не знал, что она

пишет стихи, но когда Тамара прочла мне первое, то я сразу понял...» Опять гул, ведущий задает вопрос, но не слышно какой. И потом отрывочное: «...самоубийством, а меня, конечно, отравили, продержали три недели в больнице и прямо оттуда в аэропорт». Леня прижал к уху черно-плоский животик приемника и все ждал, вот сейчас, через мгновение славист назовет его имя! Но из-за шума никак не мог разобрать дальнейшего и только под самый конец: «...радуюсь, что ее маленькая книжка стихов вышла в издательстве «Имка-Пресс». Ее семья, особенно родители, были к ней жестоки... Нет, рукописи не сохранились». На этом заглушки вдруг успокоились, и голос диктора совершенно чисто, будто приемник был настроен на волну радио «Маяк», произнес: «А теперь мы переходим к нашей музыкальной программе...»

Но это уже было неинтересно!

* * *

Через несколько лет он узнал, о том, что Маруся вышла замуж и собирается в Париж. Как ни пытались ее уговорить старики, ни беседы в частном порядке, ни патриотические доводы и описания ужасов эмиграции, ни, наконец, даже угрозы лишения материнства, — ничего не помогло. Марусин муж оказался парнем ушлым, с большими связями и настаивать на торможении процесса в оформлении выезда было опасно. Дело могло принять невыгодный оборот, и особенно если в западной печати опять всплыли бы истории с самоубийством Тамары Николаевны и болезнью Жана Нуво.

Леня к этому времени уже работал в Лондоне, в советском посольстве. Начал как мальчик на побегушках, но благодаря знанию языков быстро выбился в разряд приближенных к послу. И так как сам посол ни на одном иностранном языке не разумел, а официального хорошего переводчика в тот период под рукой не оказалось, то сначала жена посла приспособила Леню к разного рода мелочам: поездки по магазинам, выбор галстуков и рубашек мужу, встречи гостей в аэропорту, а потом и сам посол стал доверять ему сопровождение на разного рода встречах. С одной стороны, Леня очень быстро по карьер-

ной лесенке сразу перепрыгнул через десять ступенек вверх, чему был рад, но, с другой стороны, постоянное холуйство и унижения со стороны начальства его угнетали. Почему-то он надеялся, что, избавившись от мелких услуг Виктору Ивановичу, уж в посольстве-то он получит свободу маневра. Да не тут-то было! Денег в его карманах больше не стало, а закабаленности и зависти от чиновников прибавилось. По легкости природы он непринужденно вошел в Лондоне в русскую среду журналистов и переводчиков. Все они страдали, как и он, от постоянного безденежья. Зарплаты в рублях шли домой в родной Сбербанк, а им оставляли гроши, которые экономились во вред собственному здоровью. Стоило разок пойти в лондонский паб и выпить пива, как жалкие гроши, заработанные неизмеримым усердием и унижением, таяли на глазах. И тут Леня изловчился. С особого разрешения Москвы под псевдонимом ему разрешили писать репортажи. Так он стал обозревателем газеты «Известия». Денег это принесло немного, но зато дало огромную свободу общения. Теперь он мог, сославшись послу и послнице на свою журналистскую занятость, исчезнуть хоть на три-четыре часа из их поля зрения.

За несколько лет работы в Лондоне он не только усовершенствовал английский, но и сумел завести связи. У него появились знакомые иностранные журналисты, некоторые вели себя с ним дружески, а некоторые, не стесняясь в выражениях, говорили все, что думают об СССР и КГБ. Мечтал ли он о хорошей и надежной работе в МИДе после возвращения домой? Черт его знает! И да, и нет. За эти два года он составил о себе неплохое впечатление, успешно укоренился в среде своих и не своих, а для Москвы он стал перспективным кадром, и вот почему «им» куда важнее было сохранить его в незапятнанности, чем раздувать скандал с Марусиным отъездом.

Впервые он оказался в Париже по мелкому поручению. Он должен был встретиться с одним человеком и кое-что записать с его слов. Их свидание состоялось в кафе недалеко от Сорбонны. С первых минут у него созрело только одно желание: поскорее отделаться от этого скучного русского. Леня слушал его без внимания, записал, что надо, но человек все сидел да си-

дел, словно пришитый, упорно отводя взгляд в сторону, куда-то за барменскую стойку. Шаря глазами по бутылкам, он горько жаловался на бедность, на дороговизну парижской жизни, на то, что не может себе купить машину и приходится ездить на метро. Его жалобы, обращенные к Лене, звучали странно, и ему показалось, что вот-вот и этот эмигрант попросит подкинуть ему денег. Истории, рассказанные русским, были туманны, пестрели незначительными деталями, но, по всей вероятности, даже эти ничтожные сведения кого-то в Москве интересовали.

Наконец Леня решительно встал и, положив конец бессмысленной беседе, распрощавшись, вышел вон. Пройдя мимо знаменитой Сорбонны, он оказался у решетки Люксембургского сада, борясь с желанием пройти через парк и одновременно поглазеть на витрины, свернул на бульвар Сен-Жермен. Щурясь от непривычно жаркого ноябрьского солнца, он рассеянным взглядом скользил по лицам прохожих. Его не удивляло количество желтых и черных физиономий, этого полно и в Лондоне, но парижская толпа была другой, воздушная атмосфера города, освещение, «температура» разительно отличались от лондонской. Так не спеша, останавливаясь у витрин, он дошел до круглой площади, где окунулся в шумный фруктово-овощной базар. Он ощутил голод. Мечта о завтраке сегодня так и осталась мечтой. Его утренний собеседник заказал только кофе и решил сэкономить на круасанах.

Леня купил пару яблок и несколько бананов, чуть поодаль продавали горячие булочки с сосиской. Медленно обходя площадь, он заметил узенькую улицу, поднимающуюся вверх на горку, а дальше белый купол то ли собора, то ли музея. Кажется, его спутник говорил, что где-то рядом Пантеон, и Леня пошел по направлению мраморных колонн. Он придержал шаг у маленького кафе, мелькнула мысль выпить пива, съеденный всухомятку хот-дог тяжелым булыжником сдавил желудок. Но потом решил не тратиться, а купить бутылку воды в киоске. Кажется, он маячит впереди. Еще десяток шагов, и он остановился у витрины книжного магазина. За стеклом лежали книги на русском языке, но обложки с названиями никак не походи-

ли на советские издания. Он удивился необычной подборке, особенно религиозной литературы, задрал голову и увидел над входом вывеску «ИМКА-ПРЕСС». От неожиданности плохо соображая, что делает, он толкнул дверь, металлический колокольчик сделал... длин-дланг, и тяжелая дверь с лязгом захлопнулась за спиной Леонида.

В большом помещении до потолка росли стеллажи, какие-то бурого цвета обшарпанные конторки, в центре — столы, тоже с навалом книг, слева лестница ведет куда-то наверх, вдоль длинного прохода в глубь магазина тоже книги. Он обратил внимание на стенку с маленькими иконами, крестиками и пасхальными яичками и только сейчас заметил сторбившуюся над столом женскую фигуру.

Встретившись с ним взглядом, женщина улыбнулась и оказалась молодой смазливой девушкой. Он спохватился и тоже улыбнулся, но не знал, что сказать. Она опередила его, встала из-за стола и вежливо, каким-то притухшим голосом проронила:

— Я могу вам помочь? Вы ищете книгу?

Гладко зачесанные на прямой пробор волосы, длинная юбка, кофточка с высоким воротником и странная манера держаться делали ее похожей на девушку из приличной семьи. Вот только глаза выдавали в ней свою, совершенно свою соотечественницу.

— Простите, я здесь в Париже проездом. Зашел сюда случайно, — и вдруг непредвиденно у него вырвалось: — Я ищу книгу стихов, — и на одном дыхании он выпалил фамилию Тамары и название книжки.

Девушка перешла к полкам, подставила лестницу, долго перебирала корешки и наконец вытянула, словно откуда-то из небытия, синюю обложку.

— Вы это искали? Вам повезло: их всего пять штук осталось. Тут у нас на днях вечер памяти этой поэтессы проходил, так народу набежала тьма. Всё скупили.

— Что интересного рассказывали? — и быстро добавил: — Представьте, я был немного знаком с семьей.

— Вы оттуда, из Союза? — с плохо скрываемой радостью проговорила она и на той же ностальгической ноте продолжи-

ла: — Но я слышала, что поэтесса погибла. Об этом много говорили на вечере.

— А что, её дочь уже в Париже? — утопив ответ вопросом, спросил Леня.

— Да нет, она ещё в Москве. Говорят, что у неё трудности с выездом, — и, спохватившись, словно выдала тайну, добавила: — Хотите, я вам дам много разных книг? У нас так заведено: всех из СССР снабжать бесплатно книгами.

— Нет, нет, спасибо, не нужно. Я живу в Лондоне и завтра улетаю, — и, окончательно запутавшись в мыслях, пролепетал: — Дайте мне ваш рабочий телефон. Я когда в следующий раз прилечу, то заранее попрошу приготовить интересующие меня книги. Ладно?

— Ладно. Меня зовут Нина. Заходите, — и она протянула визитную карточку магазина.

И чтобы окончательно расставить точки, он спросил:

— Скажите, а кто конкретно выступал на этом вечере?

— Да, вы, наверное, не знаете эти фамилии. Есть такой знаменитый филолог по русской литературе Жан Нуво. Он не наш, он француз, но знает русский, как мы с вами. Он был с поэтессой знаком. Много говорил о ней, рассказывал, как его там отравили и что гонорар в долларах обманным путем исчез. И наш директор издательства тоже подтвердил это, — тут Нина неожиданно снизила голос и добавила: — Я в это не очень верю. Знаете, чего только про нашу с вами родину не болтают. Очерняют почему зря.

— Да, да, очерняют... Спасибо за все, Нина, — и с сильно колотящимся сердцем выкатился на тротуар.

Он сразу быстро пошел вверх, по сторонам не глядел, хотел куда-нибудь свернуть, скрыться. И вдруг вспомнил, как Виктор Иванович говорил, что напротив ИМКИ, на противоположной стороне улицы, снимают квартиру наши агенты. День и ночь наблюдают из окон и фотографируют посетителей.

Когда через пару месяцев после их знакомства Леня опять выбрался в Париж и они провели вместе несколько дней, Нина уже не скрывала, что мужа терпит только из-за надобности, что работает в магазине, потому что мужнина семья состоит в

родстве с директором ИМКИ. Из ее рассказов он узнал, что познакомилась она со своим мужем случайно, когда тот приезжал в Тверь туристом, что он внук довольно видного русского эмигранта. В этой семье были и священники, и белые офицеры, и писатели. Нина горько жаловалась на плохое к ней отношение со стороны свекрови и многочисленных родственников и однажды припечатала: «Они уже не русские, а какие-то гибриды. Когда нужно, то делаются русскими, а когда им не выгодно, то французами. Из Союза тех, кто сюда выезжают, они признают только политических, носятся с ними, помогают, а таких, как мы с тобой, в упор не видят».

Поначалу в эмигрантские круги Нина его не водила, боялась сплетен, но слухи, словно круги по воде, доплыли кое до кого. Да и на чужой роток не накинешь платок, и пошло-поехало, а она даже радовалась: очень уж хотелось насолить свекрови.

Их отношения все больше походили на тайную связь, и все тревожнее становилось у него на душе. Он не мог себе вообразить, чтобы Нина стала его постоянной спутницей жизни, а потому всячески старался ее убедить, что супружеская жизнь, как бы она ни протекала, должна продолжиться и после обретения ею этого злосчастного французского гражданства. Он приводил доводы о своем перебазировании в Женеву, что ему следует устроиться с жильем, подумать о разных мелочах и, последний, самый сногсшибательный аргумент, что в силу своего служебного положения он не может связать свою жизнь с ней. При этом он делал многозначительное выражение лица, а у нее от этой таинственности дух захватывало.

Наводящими разговорами, всяческими ухищрениями он вытянул из Нины картину слухов о поэтессе. Долго, нудно и упорно, завязнув по уши в глупый романчик, он наконец сделал вывод, что его имя никогда не всплывало в связи с гибелью Тамары Николаевны, да и к пропаже денег он не причастен! Леня узнал о том, что славист действительно знаменит и что стихи Тамары собираются переводить на французский. Да вот жалость, что их так мало сохранилось, почти все сгорело.

Потом он решил Нину отодвинуть на задний план и сумел устроить так, что она то пропадала, то в нужный момент возникала вновь.

Было еще обстоятельство, о котором она не подозревала, но которое его тяготило: их связь довольно быстро стала известна Лениному начальству в Москве, и оно его в эту эмигрантскую среду упорно подгалкивало. Он уж был не мальчик-стажер, да и задания получал посерьезнее, и, казалось бы, стукни кулаком по столу, не согласишься, откажись, напиши рапорт! Ан нет. Возвращался ли он мысленно к своим сомнениям и добрым порывам, вспоминал ли он жгучую ревность к Марусе или к моменту, когда он оступися, и совесть его полетела в пропасть, — он вполне сознавал, что его жизнь, как резина, будет и дальше растягиваться в бесконечную подлость.

И, в очередной раз объявившись в Париже, он узнал, что Маруся уже здесь! Вся эмиграция гудит, стоит на ушах от счастья. Нина наболтала ему, где и в каком округе живет Маруся и в какой детский садик определяют малыша осенью. Более того, выходило, что издательство «ИМКА-Пресс» предложило ей работу, на которую она согласилась, а летом она поедет с малышом в лагерь РСХД.

«Вот и настал момент нашей встречи», — подумал Леня. Он вспомнил, как однажды Маруся его поцеловала, прижалась к нему, но это было случайно, в период отчаяния. Другом своим она его не считала, скорее наоборот, как и все, подозревала в чем-то мутном. А он приедет, расскажет ей все о себе, о деньгах, о Тамаре Николаевне и попросит у нее прощения. Он представил ее лицо, удивленные глаза, сосредоточенно сдвинутые брови... Но деньги? Как наскрести несчастную сумму? У кого попросить? Этого он не знал.

В пятницу утром Леня порывлся в бумажках и нашел записку от Нины с подробным чертежиком, как добраться до их лагеря. Решение ехать родилось в нем сразу после утреннего кофе. Придется все-таки тащиться на поезде. Его дружок, он же коллега, отказался одолжить ему машину, как-то хмуро и торопливо взглянул на часы и сказал, что вечером уезжает с семьей в Жюра по грибы.

В направлении Гренобля шел прямой скорый поезд, но стол дорого, а потому Леня был обречен на ночную сидячку с пересадкой в Эвиане, куда поезд приходил около десяти вечера и стоял всего семь минут.

На женевском вокзале Леня встал в длиннющую очередь в кассы. Пятничная толпа состояла в основном из туристов с рюкзаками и женевцев, которые возвращались после работы домой. Группы подростков с характерной экипировкой, видно, едут в горы, пожилые американцы в шортах, с палками в руках, на ногах прочные ботинки на рифленой подошве, бурно обсуждают маршрут, тыча пальцами в карты и в расписание на световом табло. Поодаль, у дальней стенки, на каких-то грязных спальных мешках, на полу, сидят и лежат раскрашенные панки с булавками в носу. Тут же миски для их собак, тут же пластиковые стаканчики для милостыни. На них никто внимания не обращает.

— Хелло, Лео! — и крепкий дружеский шлепок по плечу вывел его из задумчивости.

Он оглянулся и увидел добродушное красное лицо Эрика Гарли.

— Куда едем? По грибы?

— Нет, еду в Гренобль навестить знакомых. А ты как здесь? Где же твоя лошадка?

— Я к тебе пристроюсь, ладно? А то... — подмигнул Эрик и кивнул в хвост очереди, — лошадка моя сегодня встала. Я ее после нашего заседания оседлал, завел, а она ни тык, ни мык, короче, не завелась. Оставил подремать ее на ооновской парковке, в понедельник займусь. Да, пора сменить старушку, этому мотоциклу уже годков пять.

Неожиданный попутчик был скорее в радость Лене и почему-то — так мелькнуло в его усталом сознании — хорошим знаком. Эрик был чистейшим англичанином, работал синхронным переводчиком и владел в совершенстве двумя языками. Его отец, инженер-металлург, английский коммунист, по зову сердца после войны решил поехать в СССР, помочь советской власти поднять из руин тяжелую индустрию в Сибири. С ним поехали жена и маленький сын. Каким-то чудом

отца не посадили, но к инженерным работам не допустили, и пришлось ему вкалывать как Папе Карло не по прямой специальности. Эрик там же, в сибирской глуши, гонял с дворовой шпаной мяч и даже стал пионером. Благодаря замечательной школе жизни он сохранил неподражаемый сленг и такие русские словечки, которыми до сих пор щеголял и удивлял своих коллег-переводчиков.

— Слушай, как здорово! Так мы с тобой в одном поезде едем? Я ведь в Эвиане живу, а ты там пересаживаешься и дальше? — добродушная улыбка заиграла на его лоснящемся лице. Он наконец справился с непослушной пуговицей на рубашке и, бросив алчный взгляд на лоток с бутербродами, словно извиняясь, хмыкнул: — Нет, нет, это не для меня. Я ведь вегетарианец.

Леня знал, что Эрик перестал есть мясо в тринадцать лет, еще в СССР, и как родители ни пытались его вернуть на истинный путь мясоедства, ничего у них не получилось. Он с ужасом описывал коллегам и друзьям, как однажды, мальчиком, отравился гуляшем в школьной столовой, после чего перешел на рыбу, но и это было роковым решением, и тогда он решительно остановился на растительной пище.

О слипшихся серых макаронах, квашеной капусте и селедке у Эрика тоже сохранились яркие рассказы. Самое печальное, что вынужденное раннее вегетарианство так и не спасло от сибирского хронического колита, который терзал его до сих пор.

— Да, я знаю, что ты кролик. Вот только откуда такое пузо себе отрастил? — и Леня шутливо ткнул пальцем в толстый живот Эрика.

— Ох, не знаю. Ты себе не представляешь, как я борюсь! Стараюсь. Ем все отдельно. Врач мой, диетолог, говорит, что нельзя смешивать углеводы с белками, а я обожаю кукурузные хлопья с молоком и бананами. В общем, все дело не в отдельном питании, а в том, что я природный обжора.

Очередь постепенно двигалась, и они уже были почти у кассы, когда Эрик бросил скучающий взгляд на тележку с бутербродами, сунул Лене деньги и рванул с места.

— Купи мне билет до Эвиана, только в один конец! Я сейчас вернусь!

Расталкивая толпу и смешно переваливаясь, невысокая упитанная фигура Эрика в одно мгновение оказалась у тележки. Через десять минут они уже шли к поезду, и Эрик на ходу с аппетитом уплетал огромный бутерброд с сыром, запивая кока-колой.

Леню он забавлял своей беспечностью и легкостью мыслей, а Эрику было приятно поболтать с ним по-русски, вспомнить свое советское детство. Частенько встречаясь с Леней в ООН, Эрик после работы приглашал Леню посидеть в ресторанчике. Сам себе заказывал салаты, а его потчевал ростбифом и устрицами. Эрик по своей незлобивой натуре со всеми был в приятельских отношениях. Он любил баловать друзей, особенно женщин. Все коллеги знали, сколько раз он был женат, сколько у него детей разбросано по свету, что жены, всегда красавицы, регулярно его бросали и грабили, а он, словно в награду, дарил им квартиры и дома. «Но я не жалею! Просто я не нашел еще ту самую, самую настоящую! Может, ты меня познакомишь с какой-нибудь русской девушкой оттуда?»

Вот и сейчас Эрик, заглядываясь на хорошеньких женщин, напомнил Лене: «За тобой должок! Когда ты меня сведешь со своей Никулькой? Ведь обещал».

«Вот как только увижу ее, расскажу о тебе, и устроим встречу», — Леня представил Нинино личико, нарисовал ее мысленно в шикарном магазине при выборе шмоток и подумал, что она не только вполне впишется в коллекцию дам Эрика, но, может быть, он окажет и ей услугу. Она ведь только и мечтает о достатке, а тут такой случай, сумеет облапошить бедного Эрика, разденет его до нитки. Жаль парня, да он такие бешеные бабки загребает, что быстренько восстановит равновесие.

Вагон был набит до отказа, они подсустились и заняли хорошие места в маленьком купе второго класса. Эрик уселся у окна и, дожевав последний кусок, вытянул откуда-то зубочистку.

Вошла пара старичков швейцарцев, Леня помог закинуть их крохотный чемоданчик в багажную сетку, резкий толчок, и платформа плавно поехала влево, оставляя позади воздушные поцелуи. Но это длилось лишь мгновение, свисток локомотива сообщил, что вокзал остался позади и что поезд покидает город; за окном совсем близко проплыли детская площадка,

большие карусели, ботанический сад с застекленной крышей оранжереи, вагоны качнуло, развернуло почти лицом к Женевскому озеру и, словно любуясь им в последний раз, подарило на прощание фонтан и Альпы. Набрав обороты, состав окончательно вымахнул за городскую черту, и его пассажирам осталось каких-то тридцать километров, чтобы пересечь невидимую швейцарскую границу и въехать во Францию.

Дверь в купе энергично раздвинулась, пропустив пару здоровенных молодых людей с огромными рюкзаками. Один из них на ходу докуривал самокрутку, и старички недовольно зашикали. Парень засмеялся, приспустил стекло и выбросил окурок в окно.

Эрик тоже недовольно поерзал на месте и перешел на русский шепот:

— Вот видишь, до чего дошла наша молодежь. Курят свою траву, где хотят, не стесняются никого. Я тут как-то вечером пошел в кино, так думал, одурею от наркоты, экран весь как в тумане. У меня одна из дочек в Милане живет, в дорогой школе учится, я бешеные деньги за нее плачу, а она дурака валяет, по дискотекам шляется.

— А ты не плати. Пусть будет, как все. Может, одумается.

— Вот я в советскую школу ходил, и все вокруг бедные были. Выбора никакого, соблазна никакого, но зато я учился, книжки читал, поэзию наизусть заучивал.

— Ты к нам до сих пор ездешь?

— В последний раз сорвалась у меня работа. Должен был с Олимпийским комитетом в Москву лететь. Да ведь вы в Афганистан вошли, и все страны устроили бойкот Олимпийским играм. Хотя, знаешь, я не жалею. При всей моей любви к народу я как только оказываюсь в швейцарском самолете — у меня сразу будто гора с плеч. Чую, что наконец-то в безопасности, на своей территории.

— Почему так? Разве за тобой там ходят? Ты же почти наш, — удивился Ленья.

— Ну конечно, «ваш»! Держи карман шире. Я тебе как-нибудь расскажу, какая история у меня там была... А кстати, я читал, что опять выслали какого-то диссидента. Кажется, писателя.

Леня сделал вид, что последних слов не расслышал, порылся в своей сумке и достал книжечку.

— Ты стихи любишь? Хочу знать твое мнение, — и, раскрыв наугад, прочитал: — «Прости за все. За то, что не сумела, и не пришла, и не успела, не поддержала в трудный час. Прости за все. За преданность прости, она навек стеной неколебимой стоит на подступах к тебе...»

— Ну-ка покажи, — и Эрик потянулся к синей обложке, перебрал несколько страниц, пробежал наспех. — Мне нравится, звучит почти страшно. Но ведь у русских писателей все навзрыд. Это кто сочинил?

— Да одна дама. Ее уж нет в живых, только это и осталось после нее, — и, помолчав, добавил: — И еще дочка.

Тень любопытства, как легкое дуновение сквозняка из открытого окошка, скользнула по лицу Эрика. Он даже приготовился спросить о поэтессе и о дочери, но не успел, потому что Леню осенила мысль. Как же он раньше об этом не подумал?! Его надежда на спасение сидит рядом, а он мучился и не мог придумать, у кого достать необходимую сумму!

— Слушай, Эрик, — с бьющимся сердцем перешел прямо к делу Леня, — у нас мало времени, а потому... можно я тебя попрошу об одном одолжении?

— Что такое, Лео? У тебя неприятности?

— Скажи, ты мог бы мне одолжить денег?

Воцарилась тишина. Поезд, прогромыхав через железнодорожный мост, ухнул в изумрудную долину, а заходящее солнце вместе с сердцем Лени быстро катилось за белоснежные вершины Альп.

— Сколько? — Эрик участливо положил свою пухлую руку на Ленино колено.

— Мне нужно три, а может, четыре тысячи французских франков. Но поверь мне, я тебе их отдам. Могу расписку написать, — и, подумав, добавил: — Если ты мне откажешь, я пойму. Нашим, советским, конечно, доверять нельзя. Но клянусь...

— Ох, ради Бога, не клянись. Это для меня не деньги, и, даже если ты их мне вернешь через год, я не обижусь.

У Лени от неожиданности захватило дух.

— Ты себе не представляешь, как ты меня выручишь! Да нет! Ты меня спасешь! — и в порыве чувств он кинулся обнимать Эрика.

Молодые хиппи на них не реагировали, разувшись и подложив под головы какое-то немыслимое тряпье, они безмятежно спали, но зато старички соседи, которые тщетно прислушивались, пытаясь понять, на каком тарабарском наречии говорят эти странные мужчины, фыркнули, встали и вышли в коридор.

— Нет, правда, Эрик! Я тебе потом расскажу, зачем мне эти деньги нужны. Это долг, старый долг, ему уже скоро пять лет, и теперь этот человек здесь, во Франции. Я к нему еду. Мы встретимся и поговорим откровенно, все начистоту. И, знаешь, я надеюсь на прощение. Что меня простят. Да, да, поймут и простят, и тогда это будет настоящее чудо!

— Ну, если так, идем и выпьем! Угощаю. Идем, идем. До Эвиана еще час ехать. Этот поезд у каждого столба стоит, так что успеем.

Ночь за окном окончательно накрыла пейзаж, в купе замигало и зажглось неоновое освещение, а Леня, бережно засунув книжку обратно в сумку, распрямился во весь рост и больно ударился головой о какой-то невидимый крючок-вешалку. Да что за черт! Но все ерунда, эти мелкие бобошки до свадьбы заживут. А то, что три минуты назад произошло, — вот это настоящая удача.

Мягко раскачиваясь в такт движения поезда, они прошли через полусонные вагоны и оказались в маленьком буфете. Здесь было пусто. Официант поставил на их столик бутылку красного вина и тарелочку с фисташками. Эрик взобрался на высокий табурет, Леня примостился где-то сбоку.

— Вино не мясо, мне это можно, и пью с удовольствием. Итак, за твое чудо! Желаю тебе освободиться не только от долгов денежных, но и выпросить прощение!

Эрик добродушно улыбнулся, подмигнул, они чокнулись, и, сделав большой глоток, Леня счастливым эхом повторил:

— За чудо и за примирение!

Потом они болтали о разной ерунде, о поэтессе уже не вспоминали, да и не нужно было ворошить старое. Эрик рассказывал о своих родителях, говорил, что они совсем сдали, живут

одни в английской провинции и ему частенько приходится их навещать.

— А ты когда в Лондон?

— Да еще не знаю. Все будет зависеть от разных обстоятельств, — уклончиво ответил Леня. — Вот ты, Эрик, много в жизни оступался? Но наверняка не так, как я. Знаешь, ведь я атеист, в церкви ни разу не был, но сознаю, что в жизни много нагрешил. Мне так хочется не иметь больше злобы, очиститься от налипшей гадости, потому как тяжело мне, так стало трудно жить с этой ношей.

Эрик широко улыбнулся и произнес:

— Вот моя мама, она человек простой, верующая англичанка, с детства мне все повторяла, что нужно стараться жить в мире со всеми. Тебе может показаться странным, но ведь сколько меня в жизни обманывали... особенно бабы, а я им все прощал. Хоть и с трудом, но постепенно я понял...

Он хотел было что-то еще добавить, но в этот момент поезд тряхнуло, он замедлил свой бег, резко сбросил скорость и, затормозив, встал. Через буфетное стекло, кроме призрачных гор в ночи и дальних огоньков, ничего интересного не высвечивало. Эрик протер ладонью запотевшее окно, попытался всмотреться, но безнадежно задернул серенькие шторы.

— Это еще не Эвиан. Наверное, что-то случилось, а может, просто ждут встречного. Ну, еще глоток, последний. Поверь Лео, если эта злосчастная сумма принесет тебе покой и надежду, я буду только счастлив. Увидишь, как все изменится. Наверное, в жизни самое тяжелое терять не деньги, а близких. Чувствовать, что обратно дороги нет. У вас, русских, это у многих, особенно у советских, я это понял в СССР. Ведь вы все потеряли, разменяли на что угодно. И семья, и традиции — все было уничтожено, а люди-то какие злующие стали!

Официант возился за стойкой, позвякивал кофейными чашками. Не останавливаясь, решительно и быстро в направлении головного вагона прошли два контролера.

— Ямщик, не гони лошадей, мне некуда спешить, — неожиданно смешным фальцетом пропел Эрик, — а твой поезд может уехать без тебя, — поддразнил он. — Но ничего, у меня

в доме места много. Приглашаю. Переночуешь, а завтра махнешь дальше.

— Нет, нет, завтра утром меня ждут на месте.

— Кто, если не секрет?

— Секрет. Пока не могу тебе сказать. Но обязательно расскажу. Давно пора мне было решиться сбросить с души этот груз, да не решался. Наконец-то все пойдет по-другому, и заживу я второй жизнью со спокойной совестью.

Леня взглянул на часы. По расписанию они должны прибыть в Эвиан через пятнадцать минут, но поезд словно прирос к рельсам. А тут, как назло, замигало электричество.

— Что за чертовщина! Еще не хватало! — Леня резко встал.

Они вернулись в купе. Здесь царила сонная тишина, старички, шурша фольгой, приканчивали пачку печенья, хипповатые ребята продолжали мирно посапывать. Свет опять беспокойно заиграл в жмурки и окончательно погас. Время стало теряться, и было непонятно, сколько они сидят в темноте. Пять, а может, десять минут?

— Глупость какая-то, — беспомощно пролепетал Эрик.

Кто-то из пассажиров в соседнем купе тоже требовал объяснений, и вот по радио вежливый голос по-французски и по-немецки извинился за задержку. Хотелось поскорее снять повязку с глаз, отодвинуть занавески, но все бессмысленно: темнота снаружи, темнота внутри, чувство западни нарастало вместе с недовольным гулом голосов.

Наконец-то световая дорожка ожила, побежала по коридору, под колесами что-то заурчало, скрипнуло, послышались облегченные охи, отголоски речи, кто-то закурил, и поезд мягко сдвинулся с места.

— Я пойду к выходу, как только мы въедем на платформу, открою дверь и выгляну наружу. Нужно быстренько сообразить. Слушай, Эрик, а там как в Эвиане? Нужно бежать через подземку, или верхний переход через мостки?

— Обычно этот пересадочный поезд стоит напротив, хотя с такой задержкой... Сейчас увидим. Да не спеши ты так!

Леня подхватил сумку и быстро оказался на площадке у самого выхода. Эрик сзади. Вот и первые домики Эвиана, нео-

новая реклама, пустой вокзал, одинокий пассажир торопится, бежит к поезду; он стоит на первом пути, у самого здания вокзала, прямо напротив... и так доступно близок. «Вот и я должен сейчас же, немедленно, быстро соскочить», — подумал Ленья.

— Ох, он сейчас отъедет, — жалобно застонал Эрик.

— Да нет, я успею, еще две минуты, — и на полном ходу, резко повернув красную загогулину рычага, Ленья открыл дверь.

Он ловко спрыгнул на набегающую платформу, не упал, ноги-ходули по инерции еще пробежали вперед, Ленья смерил расстояние и мгновенно сообразил, что до поезда нужно бежать очень-очень быстро по навесному мостику. Но это ни к чему. Ведь тогда наверняка опоздаю. Лучше с платформы прямо на рельсы, ничего не стоит их в два счета перемахнуть, обогнуть длинный состав с хвоста и впрыгнуть в последний вагон...

Он уже почти у цели...

Осталось чуть-чуть...

Странно, что вслед он услышал удивленный вскрик Эрика, и совершенно непредвиденно, не считаясь с планами и расчетами Леньи, откуда ни возьмись, надвинулись страшный лязг и грохот, и навсегда все померкло.

* * *

Я знаю читатель, что ты огорчен таким непредвиденным и несправедливым окончанием этой истории. Как могло случиться, что Лёнчик, раскаявшийся и почти искупивший свой грех, так жестоко наказан судьбой? «Нет!» — восклицаешь ты, — «он заслуживает лучшего...» И, конечно, каждый из вас может представить как бы сложилась судьба нашего героя, если бы не этот роковой случай.

Но, если поразмыслить, то и в жизни каждого из нас бывает так, что мы не всегда успеваем добежать до намеченной цели, не всегда благие намерения и раскаяние выводят на длинную дорогу счастья. Путь долгий и сопряжен с испытаниями. Так что будем молиться друг о друге, дабы не оступиться и не потерять облик человеческий.

Париж, 2007



Муки ТВОРЧЕСТВА



*Через Млечный Путь, бледно-туманный,
перекинулись из темноты
в темноту — о, Муза, как неожиданно! —
явственные невские мосты...*

В. Набоков

Для художника Кости, человека творческого, делание своего произведения, его вынашивание всегда было сопряжено с душевным страданием. Когда у него не было мыслей он чувствовал себя как пустой сосуд и был обречён на тяжёлый период как бы брошенности. Он ужасно переживал эту свою оставленность и каждый Божий день призывал чтобы это несчастное вдохновение сжалилось к нему и, наконец, слетело. Ещё с юности в семье, где всё дышало искусством, он слышал наставления, что творение никак не сопряжено с неким «озарением божественного света», что всё дело в процессе, который идёт подспудно в самом художнике, что человек должен постоянно быть занят своими мыслями, работой с кистью и карандашом, что необходимо где бы ты ни был постоянно рисовать и что уход в себя необходимо культивировать, потому как всякий творец одинок. Надо сказать, что с возрастом эта замкнутость на себе, достаточно сильно угнетала Костю. Самокопание, анализ заводи́ли в тупик и никак не способствовали нахождению новых идей. Ему всё чаще казалось, что он повторяется, это ужасно раздражало, мысли путались, ему было их не собрать, каждый день он садился к столу пытаясь выжать из себя нечто, но ничего, ничего путного не получалось. Нескончаемые дни вытягивались в недели, после захода солнца Костя вступал в череду бессонных ночей, за которые он выпивал стаканы крепкого чая и наутро с тяжелой головой и сильно бьющимся сердцем пытался разобраться в себе. По свойству природы, а может и наследственности, он отличался от своих братьев по

кисти довольно педантичным характер, что так не свойственно художникам вообще, а выросшим в стенах Академии Художеств — тем более. Они все были патлатыми, полумытыми, в рваных джинсах, покуривали травку и меняли своих подружек как перчатки. А для него гора немытой посуды в раковине, плохо выметенный пол или несвежая сорочка (жуть, какое слово для рубашки), становилось предметом большой досады на ближнего. Девушки у него в мастерской не приживались, потому как сами не выдерживали его здорового образа жизни, да ко всему прочему Костя сразу начинал перед ними развивать свою теорию, что любовь мешает познать истину, а значит, может застить весь белый свет, за которым он видел только себя в искусстве. Отличало его от друзей художничков и то, что он очень много читал, старался углубиться в философские книги, больше всего его привлекал Кант и Бердяев, хотя в последнее время он отдавал предпочтение Вл. Соловьёву. Интересовали его и исторические романы и вопрос — почему же в 1917 году погибла старая Россия. По накатанной схеме выходило, что во всём виноваты немцы, что государь Император был слаб, не очень умён и слишком любил свою супругу. Эта история с любовью Императора очень его занимала, более того он пытался её анализировать, копался в библиотеках и сделал для себя вывод, что если человек, призванный от Бога, наделённый талантом, а следовательно ответственностью перед народом, вдруг падает в сети (гамак) любви, то можно ставить крест на всей его карьере. Костя частенько старался представить себя в шкуре знаменитости, а потому много смотрелся в зеркало, пытался наблюдать за собой как бы со стороны чужими глазами, он работал над собой и культивировал не только внутренний мир, но и внешний. Всё должно быть гармонично в художнике, древние греки понимали это, а потому их искусство вечно! Он был бы вполне счастлив если бы не муки творчества и мечты о славе.

Только что ему стукнуло тридцать пять, и он уже очень, очень много поработал.

Да, нужно признать, что за последние годы его небольшая мастерская до отказа забила холстами. Они висели и стоя-

ли лицом к стене, а некоторые пришлось даже запихнуть на антресоли. Но как всё призрачно, эфемерно, ведь достаточно одной плохо загашенной сигареты, вспышке, искре, прорванной трубы, вандалу-бомжу, который вечно валяется на лестничной клетке и распивает со своими дружками литрюги, достаточно им вломиться сюда в это святое место и всё загадить... и всё, всё погибнет и ничего не останется. О его творчестве не узнают потомки, его картины не будут висеть в музеях, они никогда не будут напечатаны в альбомах; в тех прекрасных каталогах, которые издаются для больших персональных выставок и которые потом с таким вожделием показывает художники своим друзьям. Правда в остальное время эти книги залёживаются и пылятся на полках среди других и многие из тех кому они были подарены довольно быстро забывают о их существовании. Но это неважно, а важно, что после такого издания твои произведения уже войдут в историю и потомки....Ах, как бы хотелось заглянуть к ним на огонёк лет через сто! Да, он очень хочет оставить после себя след и он работает на века. Иначе, справедливый вопрос к Господу Богу: «Зачем же Ты наделил меня талантом?» Наверняка неслучайно, случайностей у Бога не бывает, а потому он должен оправдать Его доверие и он обязательно пробьется, о нём будут писать десятки критиков, снимать кино, о его творческом процессе будут устраиваться семинары, пойдут ретроспективные выставки... Его титанические усилия будут замечены славой и она придёт, прилетит на крыльях, она просто не сможет обойти таких трудяг стороной. Вот только где она шляется? По каким мансардам и подвалам её носит? На какого недостойного падает её прекрасный взор? Да ведь по закону подлости и падающего бутерброда ей под руку попадают людишки и художнички бездарные, чаще всего пошляки и пьяницы, мало культурные, мало работающие, в задачах искусства ничего не смыслящие.

А он? Он даже не карьерист. Если бы хотел, то мог бы пойти по пути официального искусства, моды, рисовать скабрёзности или придумывать инсталляции из унитазов, но он не хочет идти «как все», он всё это мог бы проделать, но не хочет, потому что у него своя дорога, у него свой путь, а потому он сосредото-

чен только на себе, на анализе своих идей, на форме, пластике и духовности.... Правда, однажды он слышал что слово «духовность» уже всем осточертело и настолько набило оскомину и что когда его произносят, хочется хвататься за пистолет.

Да, ему лет десять назад только что окончившему Академию Художеств даже повезло. По тем временам это была неслыханная удача! Один богатый иностранец купил несколько его картин. Неважно, что он заплатил жалкие гроши, это потом ему стало понятно, когда он приехал в Париж, но тогда эта покупка его вдохновила, она изменила его жизнь настолько, что многие из его сокурсников стали ему завидовать. Через пару лет этот иностранец, который оказался галерейщиком решил устроить выставку русских художников в Париже, и конечно во главе группы стоял Костя.

И вот он в этом городе, и вот он на выставке, и перед ним стена, на которой висят пять его картин, остальные стены завешаны сборной солянкой, так, что-то вроде русского авангарда брежневских времён. Он тогда подумал, что судьба приведшая его в Париж, свершилась, и теперь ей будет трудно пятиться или стоять на месте. Здесь, в городе мирового искусства, начинается его слава!

Но выставка прошла, никто не купил его работ, хотя цены были доступные, а купили у других, тех, кого нужно не в галереях показывать, а на Монмартре туристам сбывать. Он видел, как странные людишки приходили в галерею, в закуточке пили и жрали, а этот, так называемый, галерейщик, который оказался простым барыгой и на самом деле торговал с Тунисом водопроводными кранами, так вот, он видел, как он эти сделки устраивал. Гадость одна. Но «наши» вахлаки-художнички были довольны.

В прессе он не видел ни строчки о их выставке и за неделю в Париже он понял, что их здорово надули, потому как галерея сама по себе не существовала, а этот ловкач просто снял помещение, да ещё в хамском районе, куда обычно приличная публика не суётся. В конце концов, несмотря на осадок от этой выставки, по возвращению в Питер пошёл слух, что Костя стал знаменитым.

Он много работал и если продавал, то только дорого (потому как парижская история его научила уму разуму) и у него выработался свой стиль. Всё скользило как по маслу и более того, он никак не подозревал, что его ждут впереди не только муки творчества, но и ещё большее испытание — встреча с Музой.

Как всякая творческая личность, он переживал тяжёлые периоды. Уж не в первый раз случалось Косте заходить в тупик, хотя, по рассказам знаменитых художников, все они проходили через подобные периоды. Он даже вычитал где-то, что это состояние похоже на приближение некоего приступа отупения, бесчувственности, а у него самого это выражалось в ненависти к кистям, краскам, бумаге, к самому себе... Но эта ненависть никогда не переходила через край, до того, чтобы крошить и жечь свои картины. Пока ему везло и как-то так получалось, что всякий раз то ли обстоятельства, то ли некая мелочь, давали толчок вдохновению и оп!, он из тупичка выходил.

Так вот, эта муза — она же Муза-медуза — подстерегла его неожиданно и, конечно, депрессия, в которую он тогда нырнул, во многом была по её вине.

Если вспомнить календарно, то Костя к моменту роковой встречи пребывал в состоянии созерцательной философии, углубления и развития своих идей, он скромно украшал свою жизнь малыми развлечениями, и она ему была благодарна за необыкновенную ясность перспектив и поставленных задач, у него всё было тип-топ и, как теперь говорят, «в шоколаде», и лишь невольное расслабление, а может и от уверенности в свой стоицизм, привело к тому, что он в эту жеманную рыжую девку незаметно для себя влюбился. Он, который никогда никого не любил, кроме своего искусства, позволил ей как воровке влезть в его душу, завладеть его сердцем, дотронуться до сокровенных чувствительнейших нервов творца и допустить её женское присутствие рядом. И всё, всё в один раз, в какие-то недели оказалось таким незначительным, по сравнению с этой встречей.

Познакомились они как-то странно, в мастерской одного уже пожилого довольно мрачного художника, любителя охоты

на уток. В тот вечер он устраивал пир, но перед тем как всю подстреленную дичь приготовить, он её показывал гостям. Костю чуть не стошнило от вида крови и потом он весь вечер не мог притронуться к этому варёному мясу. Муза оказалась племянницей охотника и помогала ему ощипывать птиц. Уже в первый момент, когда он увидел её огненные волосы, перехваченные красной лентой, и зелёные узкие совершенно кошачьи глаза, он подумал, что она могла бы быть моделью Модильяни. В её фигуре, маленькой и плотненькой, было какое-то несоответствие с этой охаживаемой рыжих вьющихся волос, тонкой белорозовой шеей, одета она была в очень широкий, длинный балахон, какого-то неопределённого цвета, а потому распознать очертания её фигуры было невозможно. За этим скрывалась некая привлекательная тайна, и только за полночь, когда он провожал её до дома и она совершенно бесстыдно первая поцеловала его, он почувствовал всю змеиную юркость её маленького тела. Их прощание затянулось, и, под какое-то сонное движение кленовых листьев и сладких слепых поцелуев, она прошептала ему «я буду твоей музой».

В её быстром и легкомысленном «ну, прощай», которое так не вязалось с только что данным обещанием принадлежать ему одному, он не увидел тогда ничего странного, но подумал, что уж больно она холодна. Он так был ошеломлён, очарован, как сказали бы пошляки околдован Музой, что играючи перескочил через свои холостяцкие принципы и даже очередной «творческий кризис» прошёл как — то незаметно.

Она была непоседа, ей постоянно нужны были встречи с людьми, вечное стремление увидеть всё и поговорить со всеми, она мало читала, а если и затихала в уголочке мастерской на пол часа, то это означало что она погружалась в глупый детектив. В ней была безалаберность и неряшливость во всём, она неумела готовить, и убеждала его что лучший способ сохранить молодость и красоту стать сыроедом, она накладывала на лицо маски из свежих огурцов и окончательно погубила любимый Костин столетник из которого выжимала сок и добавив в эту горечь мёда с лимоном пила эту гадость натошак. А то какие платья и немислимые шляпы она носила вызывало не-

доумение не только у него. Он как-то посоветовал сменить её вечные балахоны на что-нибудь более приличное, но нарвался на такой отпор, что больше к этой теме не возвращался. При всём этом в ней была какая-то детскость, хрупкость и совершеннейшая неуверенность ни в себе, ни в завтрашнем дне. Общие темы и интересы долго не высвечивали, правда поначалу это было не важно и всё глохло в их страсти, и тем не менее он всё же иногда задавался вопросом почему она рядом, и за что он её любит.

С первых дней ему стало очевидно, что она самонадеянна, беспорядочна, поверхностна и когда он звонил и не заставал её дома ни днём ни ночью, а при встрече, при выяснении отношений она поджимала тонкие губы и её лицо принимало тупое и злобное выражение обиженного ребёнка, он думал, отчего она мучает его и как он мог допустить, что эта рыжая девчонка внесла в его жизнь беспорядок. И когда в ночной тоске, он вспоминал все свои ревнивые бредни, «эгоиста и одиночки» (слова Музы), когда он в припадке бешенства готов был убить её, сломать пополам и потом просил прощение стоя перед ней на коленях, то уже тогда он отдавал себе отчёт, что его любовь нагруженная всем этим мещанским хламом тянет его в пропасть, засасывает всё глубже и нет всему этому предела.

А что же настоящая муза? Как она вела себя с ним пока он изменял ей с тёзкой? Костя уж не задумывался о ней и даже перестал сравнивать какая из двух ему дороже.

Как-то в одну из очередных размолвок он увидел её зимой, скользящую по тротуару в почти бальных туфельках, с гигантской муфтой из беличьего серенького меха, в которую она зажав в кулачки спрятала от мороза свои маленькие ручки. И только он открыл рот, чтобы сказать ей что-то незначительное и даже примирительно смешное, она вскинула на него свои зелёные глазищи и совершенно не смутившись бросила на ходу «...бегу, бегу, опаздываю в театр». У него отпечаталось её лицо, совсем незаплаканное от страданий, а наоборот, что его удивило тогда, даже ухоженное, бело-запудренное, с ярко красными подкрашенными губами. Дома Петербурга словно навалились, готовые раздавить, распластать его, но не Музу, потому что она

уже скользила где-то далеко в конце улицы и он увидел как она выпростав из муфты ручку энергично машет такси.

Ни самоанализ, ни стакан виски Косте не помогли.

Он перестал бриться.

Как не пытался он вернуть себя на путь ясного и стройного зодчества, образумится, призвать вдохновение, окунуться во всё то возвышенное чем он жил до появления в его жизни Музы — ничего не выходило. Прошло совсем мало времени и он проклиная себя уже в третий раз, а может и в четвёртый, вымолил у неё прощение. Она вернулась и свернувшись уютным и небрежным котёнком на его матрасе в мастерской, продолжила чтение глухих книжек, а он всё глубже и глубже опускался в омут ревности и однажды с ужасом понял, что дошёл до дна, до предела и что ни о какой духовности он уже не помышляет, и ничего не может нарисовать, а постоянно только и думает как бы удержать Музу. Он превратился в пустышку, он потерял себя, свою способность творить, мыслить, анализировать, он перестал читать Соловьёва и Бердяева, он больше не слушал Моцарта и Баха, всё расщепилось на мельчайшие кусочки постоянного ожидания её, смотрения на часы, на вопрос «где её носило вечером и почему она не позвонила?», эта бездушная кукла небрежно отвечала, «что старается только для него, думает постоянно о хороших покупателях его шедевров», и что она «знающая в совершенстве английский (в чём он всегда сомневался) приводит к нему богатых иностранцев». Ради справедливости нужно сказать, что она очень ловко умела продавать его работы, особенно гуаши, « а потому, — говорила она ему, — тебе нужно работать в этом стиле». Её суждения об иностранцах носили довольно вульгарный характер, мнение строилось на уже избитых суждениях, что немцы — свиньи, французы — жмоты, англичане — холодные тупицы. Единственно кого она признавала, так это американцев и то «потому что они похожи на нас русских». Вся эта дребедень выдавалась ею за настоящее знание западной жизни.

Да, Муза действительно помогала сплавлять его работы, у неё это выходило легко, почти играючи. Где она только выискивала богатеньких иностранцев? На эти вопросы она не от-

вечала, только щурила свои зелёные плоски и капризно поджимала губки, вот-вот расплачется. У Кости появились деньги, но бесконечное самоповторение одних и тех же сюжетов всё больше приводило к отупению. Слава, которую он ждал, так и не вышибала ногой дверь его мастерской.

В какой-то момент ему стало казаться, что Муза ведёт двойную игру и, что она обманывает его. Он давно подозревал, что у неё есть кто-то ещё и интуитивно что-то ему нашёптывало, что она «толкает в люди» ещё кое кого...

Случайно, совершенно случайно (не нужно думать, что Костя намеренно это сделал) он встретился с одним из своих сокурсников и выяснилось, что его Муза несколько лет жила в Москве и была моделью некоего Р. и потом перешла по наследству к П. Ничего гениального эти художники из себя не представляли, единственное что объединило их судьбу, это то, что они оба не так давно скончались и после этого за Музой прилепилось прозвище «могилка»....

От ревности Костя дошёл до ручки. Обычно в моменты творческих мук ему помогала природа. Вот и сейчас, молодой инстинкт самосохранения подсказал, что хорошо бы убраться подальше от цивилизации и всё как-то образуется, природа сама подскажет правильное решение, потому как сам он себя исчерпал и стал себе отвратителен. Не было у него больше сил находиться с ней в одном городе, дышать тем же воздухом. Как мог он так низко пасть? Он стойк, который тренировал себя годами, он, который избрал путь творца отшельника, приучил себя к созерцанию глубин искусства и был озабочен мыслями о возвышенном, как мог он стать жертвой колдовства. А иначе как объяснить эту постоянную навязчивую мысль только о ней и болезненные видения. Костя почти укрепился в странном предположении, что он стал жертвой чёрной магии!

В паутине своих бредовых подозрений он вспомнил, как кто-то ему рассказал об ужасной истории с одним художником, которого извела одна баба по наущению завистников. Он стал пить горькую, перестал работать, дошёл до самоубийства, а мастерская его и картины странным образом подверглись вандализму. И совершенно логично в Костиной голове всплывала

эта история загадочной смерти двух художников и прилипшее к его Музе прозвище.

Вот и у него много завистников....

И на этой патетической ноте он решил удалиться в леса.

* * *

К его домику подступали тёмные гигантские ели, рано утром он входил под их кров и шёл куда глаза глядят. Год выдался грибным и Костя с увлечением предался этому национальному спорту, а вечером разбирал, сортировал, жарил и уминал. Стоял замечательный тёплый сентябрь, и трава на лужайках хоть и была уже не такой высокой и изумрудно зелёной, но стоило в неё упасть, как она отдавала все запахи накопленные за лето. Бабочки-капустницы, хоть и редкие да и те подусталые всё ещё кружились над колокольчиками, совсем близко от Костиного лица. Он затаив дыхание следил глазами за их бесшумным порханием и вот одна из бледно жёлтых бесстрашно села ему на нос, зашевелила мягкими крылышками, защекотала и Костя чихнул... Он лежал на спине ничком, и смотрел в пепельно-белёсое небо, в котором высоко-высоко, вился и пел жаворонок, будто хотел он успеть натанцеваться до упаду, до того как через пару недель наступит настоящая осень. Кузнечики всё также безудержно стрекотали, а вот и дятел застучал о пустой ствол, и вдруг словно решив посолировывать в этой лесной песне закуковала знакомая птичка. Почему Костя решил посчитать? Наверное от озорства, а может просто от молодого отупения, от того, что несмотря на кризис творчества и любви впереди его ждало много, много лет жизни...

И раз, и два, и три ку-ку... И вдруг всё оборвалось. Будто эту птичку кто слопал. Костя сел, сорвал травинку с досадой перекусил её и через пару минут стал увещевать судьбу и бороться с суеверием.

Он встал, отряхнул джинсы, а заодно и пару муравьёв бодро ползущих в неведомом направлении по его рукаву и с досадой подумал, что Муза тоже верила в приметы и он всячески смеялся над её снами, в которых то выпадали зубы и снились покойники, то ей дарили жемчужные ожерелья, а то она плавала

в бассейне с дохлой рыбой. Ну, а теперь как назло эта дурацкая кукушка... Нет, он не должен поддаваться глупому суеверию! Ему нечего бояться. Нужно отогнать, забыть этот образ роковой женщины, распутать клубок хитросплетений, начать свою жизнь с нового витка и наконец вспомнить, что муки творчества в тысячу раз благотворней мук любви.

Прошла неделя, созерцание природы не привело ни к успокоению, ни к оплодотворению. Стало ещё хуже. Он стал бояться приближения ночи, из соседней деревни доносились то странные вопли, то звуки музыки, то женский плач. Мысли о смерти, о бренности не давали спать, он выходил за порог закидывал голову и пытаясь найти Млечный Путь с Медведицей и определить вечно блуждающий Ковш, окунался в такую гробовую безлунную тишь, что казалось ещё мгновение и она похоронит его заживо. Собираение грибов и брусники уже шло носом, книжки все были прочитаны, к карандашу и альбому он не притронулся, но зато как наваждение в его памяти всё чаще возникало их знакомство, мелькали подстреленные утки того злосчастливого вечера и как зайдя на кухню он увидел девушку держащую на вытянутой руке за горло птичку, головка которой мёртвенно свешивалась набок, а другой рукой, с безразличным выражением на губах, она пыталась отодрать запёкшуюся слизкую массу перьев. На этой охоте, было много крови, одну из собак случайно подстрелили и хозяин в тот вечер напился до бесчувствия.

Костя вернулся в город обросший, не мытый и в ещё большем разочаровании. Его нервы походили на комок старой, грязной пакли. Прогулки, а скорее метание по улицам, с редкими наскоками к друзьям художникам в конце концов совсем измотали, сердце сильно билось, левая рука от плеча и до кончиков пальцев всё больше наливалась свинцовой болью, философствование об одиночестве и развратности женской природы довели до отчаяния, и ноги сами дотащили его до аптеки. Видно у него был достаточно странный вид, потому как очередь из старух и пары алкашей расступилась. Он оказался перед стойкой и продавщицей в белом халате. Преодолевая спазм в горле он выдавил из себя: — ...я побег замыслил... и грибы мне не помогли.

— Что ты парень, какие грибы? — испуганно пролепетала аптекарша, и с сочувствием добавила — Не дури, хочешь капелек тебе дам, успокоишься, проспишься.

Нагнулась и достала из под стойки пузырёк с бурой жидкостью.

— Это что? Если валерьянка, то не помогает. Уже пробовал.

— Да, нет. Это наше волшебное фирменное средство. Настойка из китайских трав. На ночь, десять капель на полстакана воды. Сто, сто рублей ты мне должен .

— Я тоже хочу! — гаркнул пьяница и ринулся к прилавку.

— Тебе нельзя. Это только трезвым можно! — отрезала аптекарша.

Народ в очереди присмирел и чего-то от Кости ждал, будто ещё мгновение и он рванёт на себе пояс шахида. Но ничего страшного не случилось, пузырёк перекочевал в его карман, сторублёвая мятая бумажка исчезла в руке аптекарши, а сам философский персонаж нашего рассказа двинулся к выходу...

— Слышь мужик, ты свою тату где колол?

Костя замер на пороге аптеки и прежде чем обернуться на голос вопрошавшего удивлённо посмотрел на свою руку. За долгие годы его «тату» настолько срослась с ним, что он перестал обращать на неё внимание. Да и не было в ней ничего особенного, так что-то вроде колеса или круга напоминающего паутину с тремя непонятными буквами в центре.

На короточках у самого выхода сидел довольно странного вида парень. Одежда его походила на разноцветное отрепье, длинные волосы заплетены в косички, нос и уши проткнуты булавками и колечками, несмотря на дождливую погоду и холод он был в сандалиях на босую ногу.

— Давно колол, ещё в Париже, в каком то индо-пакистанском квартале. А что?

— Ну и хорошо. Не волнуйся парень, всё у тебя получится. К солнышку тебе нужно стремиться, а не в мокроте пребывать. Как только в тёплые края поедешь так всё у тебя и образуется.

Слова панка поражали недосказанностью и очень хотелось объяснения.

— Почему? — спросил Костя

— Так ты меченый на всю жизнь. Ведь это у тебя танец Шивы наколот, а значит всё у тебя будет тип-топ, но только где-нибудь в южных странах.

Капли Косте помогли и он действительно проспал всю ночь без сновидений, а наутро вспомнил как в Париже, (казалось, что это было сто лет назад!) он каждый день с альбомом бродил по городу и рисовал всё подряд: группы людей, лица, городские пейзажи, кафе... и однажды занесло его в странный квартал. Что ни улица, то полно индийских лавочек и кафе, толпы туристов, в воздухе приторные запахи — смесь курений, пряностей и жареного мяса. Костя долго ходил от лавки к лавке, разглядывал витрины, где индийские украшения из серебра соседствовали с весёлым богом удачи Ганешом, многоруким танцующим Шивой, яркой экзотической одеждой и неожиданно привлёк человек в зелёном шёлковом тюрбане, с бурым лицом и чёрными подвижными как уголи глазами, в которых играл красный уголёк. Всё в его облике было ярко и сказочно и белозубая улыбка на смуглом лице и притягательный взгляд его странных глаз; лоб человека был довольно обильно помазан слоем пепла с тремя красными полосками. Был ли этот маскарад придуман для таких туристов как Костя? Может быть. Многие останавливались и просили сфотографироваться рядом с индусом. Он широко улыбался, прикладывал руку к сердцу при этом не забывая подставлять маленькую деревянную плошку из раскрашенного дерева, которая была уже полна монет.

Костя раскрыл свой альбом, простоял около получаса и когда портрет был готов сделал «брахману» благодарственный жест, улыбнулся и вывернул карманы, чтобы показать что у него нет ни гроша и уже готов был отправиться дальше, как неожиданно индус подбежал и крепко схватил его за руку. Костя такого оборота не ожидал, вскрикнул и решил что пора делать ноги... Но человек в тюрбане что-то затараторил по-французски и всё повторял «артист, артист — пантр» и дружелюбно улыбаясь тянул вглубь своей лавочки.

Костя перешагнул порог и оказался в очень живописной комнатке, где все стены были украшены большими листами бумаги с загадочными знаками, гирляндами из живых цветов,

а яркие лубочные картинки из жизни индийских богов соседствовали с афишами знаменитых белозубых кино героев. И вся эта экзотика, столь странно вяжущаяся с Парижем, плавала в густом мареве курений под аккомпанемент индийской музыки. Человек жестами усадил Костю на низенький пуфик, потянулся к альбому и увидев свой портрет радостно, словно игрушечный «болванчик» закивал головой.

Какое счастье! Нужно рисунок индусу подарить, и побыстрее отсюда свалить! И со словами «рашен сувенир» он вырвал его из альбома и сделал движение чтобы встать. Но в ответ индус беспокойно залопотал «индишь сувенир» и ткнул пальцем в сторону стены, где висели таинственные знаки на больших листах бумаги. Привыкнув к полумраку Костя заметил в глубине комнатки кресло (что-то среднее между зубо-врачебным и гинекологическим) и странную маленькую машинку вроде инструмента для выжигания по дереву, а рядом столик с пигментами. Ну, конечно, это же образцы татуировок, а этот тип их колет!

Гостеприимный мастер тату, налил Косте чая, усадил в кресло и предложил тоненькую самокрутку. Видимо это была травка, потому как после второй затяжки у Кости с непривычки всё перед глазами поплыло, стало поташнивать, разноцветные круги вроде воздушных шариков полетели куда-то в небо, но это длилось лишь мгновение, после которого ему стало очень хорошо. Он почувствовал невесомость своего тела и невероятное ощущение свободы. Ему почудилось, что он не в кресле, а в своей детской кроватке и кто-то ему поёт песни и качивает, но потом оказалось, что это вовсе не колыбелька, а маленькая лодка, а вокруг простирается безбрежное синее озеро с огромными розовыми лотосами; потом он почувствовал лёгкие уколы и почему то подумал, что это наверняка комары, которых на воде в это время года всегда полно, солнышко стало припекать, откуда ни возмись порыв ветра принёс из за леса тёмную тучу и на лицо ему упали крупные тёплые капли. Шум летнего дождя перешёл в струнно монотонную музыку, воздух наполнился одуряющим запахом каких-то приторных цветов и в бессознании промелькнуло, что наверное его индус усыпил,

а может и отравил, но страха он не почувствовал, а лёг на дно лодочки и погрузился в сладкий счастливый полусон. Сколько он был в отлёте сказать трудно, но обратно к реальной жизни его вернул голос индуса, который что-то радостно лопотал. На руке у Кости (трудно определить это словом красовалась) но тем не менее он увидел графический рисунок наколку, которая напоминала солнце и одновременно паутину или некую космическую воронку с тремя странными иероглифами в центре. В рисунке не было ничего замысловатого, он был достаточно простым, почти примитивным, так что Костя даже подумал, что его портрет видимо тянет на самое дешевое тату... Вернувшись в Питер, он несколько недель мазал воспалённую кожу какой-то мазью, которую ему всучил индеец, а его родители требовали чтобы он показался специалисту потому как рука болела и он её бинтовал. К своей тату он со временем привык и забыл о ней, как привыкают к родинкам на теле и никогда в последствии не задавался вопросом, что означает сей знак. И сейчас, по прошествии стольких лет, встреча в аптеке и загадочные слова панка о солнце и юге, воскресили полу забытые события. Действительно, индус ему тогда повторял « артист, артист...» и ещё какие-то слова, тыкал в картинки танцующих богов, но Костя французского не разумел, а потому все эти годы оставался в полном неведении брахмановой символики. То состояние нирваны, которое он невольно испытал в кресле «мага» до сих пор в нём остро присутствовало. Не раз особенно в моменты творческих тушиков, он вспоминал это незабываемое парение, бестелесность и ощущение власти. На всю жизнь у него осталось чувство, что он заглянул в какую-то неведомую бездну и что если бы это состояние потустороннего зазеркалья перевести в реальную жизнь и каким-то особым чутьём преобразить в творчестве, то тогда он станет обладателем секрета и уж никогда у него не будет кризисов жанра и мук творчества.

Ни на какие юга Косте ехать не хотелось.

Одно желание отоспаться и хоть как-то успокоиться. Но странным образом аптечный панк и его слова запали в душу, будучи человеком впечатлительным Костя стал воскрешать в памяти историю своего тату, разглядывал руку в лупу, копался

в книжках пытаюсь разгадать символику, а мысли и фантазия переносили его в жаркие страны и он невольно стал думать о путешествиях. Африку он сразу отмёл, Мексика — слишком далеко, хотя ацтеки его очень привлекали, в Тунис и Марокко его не тянуло, а из солнечных стран те что поближе предпочтение он отдал Италии. Валяясь часами у себя в мастерской он подогревал своё воображение просмотром разных буклетов, делал он это скорее для рассеяния мыслей, для полёта мечты, для воображения, да и вообще введения себя в нормальную творческую колею. Его подсознание постепенно очистилось, страхи улеглись и голова обрела прозрачную пустоту. И в какой-то момент, то ли от того что он наконец стал крепко спать, то ли от красивых глянцевого видов он вдруг подумал: а почему бы собственно не поехать ему в Италию? И как — то враз, всё его существо обратилось в волнительное ожидание неизвестности и влекущая сила открытий окончательно переломила инерцию. А ещё эта сила целиком отринув страхи наполнила его душу подобием уверенности в себе. Ему даже показалось, что он вполне способен на нечто новое, неожиданное и может быть даже значительное.

Сам по себе проект был вполне осуществим. Можно полететь в Рим, Венецию и может во Флоренцию, но его финансы, которые за последнее время стали «петь романсы» могли позволить только короткое путешествие, в лучшем случае на пять дней. Эта влекущая сила подняла Костю с дивана и выгнала на улицу. Как после тяжёлой болезни мы с удивлением всматриваемся в своё отражение в зеркале, так и Костя с удивлением обнаружил, что осень вполне обрушила на город всю серость и холод свойственный только Питеру. Казалось, что вот-вот и пойдёт дождь со снегом. Костя не раздумывая поймал машину, доехал до намеченной цели и толкнул дверь турагенства.

— Где же вы раньше были? Хотите уехать немедленно, да ещё в Италию! У меня только одна группа не укомплектована, есть в ней свободное место. В Неаполь полетите?

— Если с группой, то так чтобы быть самому по себе, а не всё время в стаде. Понимаете, я художник. Мне нужно окунуться, напитаться атмосферой.., — так лепетал Костя.

— Молодой человек, хватит лирики, всё ясно, вы такой не один, который хочет пропитаться... так брать будете?!

Телефон у девушки непрерывно звонил и Косте показалось, что если он сейчас скажет «нет», то всё к чему он так себя готовил провалится в тартарары.

И он сказал «да».

Об этом итальянском городе он почти ничего не знал, когда в старом кино он видел «Неаполь — город миллионеров», но название было ироническое, так как речь в фильме шла о совсем другой жизни, не соответствующей названию. А ещё он подумал, что увидит Везувий и побывает в Помпеях и сразу, конечно, пришла на ум знаменитая картина Карла Брюллова, перед которой он, будучи студентом, просиживал часами, и композиция «Гибели...» с грудой бегущих и падающих тел, на которые обрушивался огонь, раскалённая лава, камни, и ужас перекошенных лиц, матерей прижимающих к себе младенцев, так мастерски выполненная художником, с юности поражала воображение Кости. В этой картине завораживал не только сюжет и гениальное мастерство, с которым Брюллов написал эту вещь, но было и ещё что-то, что скрывалось за театрально-постановочным ужасом. Это «нечто» было столь притягательным, что каждый раз, когда он бывал в музее, его влекло сюда. Он сидел, смотрел, чиркал в блокноте, пытался понять, что именно так привлекает его в этой картине.

Думал ли он когда-нибудь, что ему предстоит увидеть Везувий, и Неаполь, и стёртые с лица земли Помпеи и окунуться воочию в салонный Брюлловский ужас? При покупке путёвки в Неаполь «Гибель...» мелькнула в его голове неким наваждением, детской картинкой из учебника по истории искусства, потому как главные мечты были обращены к шумной, весёлой и красивой толпе итальяшек, к ласковому ветру с залива, к спагетти, пицце, и к тому, что он обязательно что-нибудь красивое нарисует, и эти путевые зарисовки лягут в основу целой серии картин!.. Мечты уже строили проекты, и виделся выставочный зал и ценники на картинах, журналисты, покупатели... Долги его за последнее время выросли, как грибы после дождя.

* * *

...И вот он уже идёт по странному месту. Оно пустынно, по его развалинам трудно определить каким же был на самом деле снесённый стихией город. Это нельзя назвать «улицами», скорее лабиринты, сотни метров будто ножом срезанных домов, уцелевших единицы, по плану можно распознать бывшие лавки, рестораны, бордели, театры, форумы, сохранилась только малая часть домов с внутренними двориками. Хождение по этим странным кварталам без стен, где неожиданно вдруг на перекрёстке возникает то бронзовая прекрасная скульптура, то остаток фрески или одинокий фонтан, то синяя пластиковая урна до краёв наполненная пустыми бутылками, пакетами и остатками еды — утомляет. Пуки высокой колкой травы ранят ноги, а юркие серые ящерики греются на солнце и совершенно не боятся туристов. Красоты никакой, что смотреть непонятно. Солнце стоит в самом зените и не по-осеннему прожигает насквозь шапочку с козырьком. Глаза защищённые большими солнечными очками заливают потом. Майка взмокла до неприличия и Костя чувствует неловкость. Ему кажется, что от него разит, как от всей их группы с которой он парился в автобусе, пока их сюда везли. Снять с себя майку он не решается, обгорит враз. Чем больше он бродит по этому странному ландшафту, тем грустнее ему становится на душе. Лысый серокаменный Везувий возвышается совсем рядом, но теперь эта гора до банальности мертва. К сожалению ни дыма, ни огня, ни камней она не выбросит на то, что выросло за последний век на месте прекрасных Помпей. Она не может причинить никакого вреда уродливым шлакоблочным домишкам километрами опоясавшим подножье и склоны Везувия. Эти дома даже трудно назвать «хрущёбами», те хоть тонут в черёмухе и сирени, а эти напоминают какие-то железокартонные коробки с развешанным повсюду жалким бельём. Да если эта гора и взорвётся, то какие шедевры современного искусства она похоронит? Костя присел на останки кирпичной кладки, перед ним простиралась даль, если глянуть в бинокль, можно разглядеть залив с парусниками, почти как на картинах Дюфи, а сам Неаполь, по другую сторону Везувия. Обычно туристы ходят задрав голо-

вы и глазают на фасады домов или на музейные стены, а тут все смотрят себе под ноги, как бы не споткнуться, не упасть в яму, да свериться по путеводителю где, да, что когда-то было на этом пустыре истории. А ведь город этот когда-то жил и творил и здесь под останками, совсем недавно ещё в прошлом веке археологи откопали потрясающие шедевры. Но как всё зыбко и как прекрасное может в один миг превратиться в прах! А чем будут радовать следующие поколения раскопки нашей цивилизации? Только пластиковыми бутылками из под кока-колы и ржавыми шедеврами.

Костя таскает с собой альбом, но ни разу за эти три дня его не раскрыл. Сразу как только их ввели из аэропорта в Неаполь, он, глядя из окна, был разочарован, поражён захолустной бедностью. Он ждал настоящей прекрасной Италии, ту которую он видел на картинах, ту о которой он мечтал, а на него обрушилось нечто странное, бесшабашное, почти уродливое. Он ожидал увидеть улицы запруженные шикарными авто, а оказалось что неаполитанский автомобильный парк наводнён ржавыми Фиатами с профилем «Запорожца». Тормоза визжат, из выхлопных труб валит вонючий чёрный дым, треск и бибиканье мотоциклов и мотороллеров и на каждом по два-три седока. Эх, где наша не пропадала! Но даже закалённые русские туристы не решались перебежать улицы в этом кромешном потоке, который не прекращался ни днём ни ночью. Костя видел пару прекомических сцен: шикарная мамаша вроде Софи Лорен, в мини-юбке за рулём довольно мощного мотоцикла, к животу прижат грудной младенец, позади мамыши девчушка прикрученная чем-то вроде бельевой верёвки к матери, а в руках у ребёнка большая кудлатая собака. Вся эта безумная пирамида виляет в потоке машин и едет совершенно без всяких правил зелёного и красного света....

Для туристов нет плохого или хорошего сезона, их всегда и везде много. Вот и здесь на развалинах Помпеи полно англичан, немцев, французов, а теперь и русских. Худющие английские дамы в белых панамках, невозмутимо и с увлечением смотрящие в какие-то красные книжки, их мужья с палками и рюкзаками исследуют план. Перед большими панно с цифра-

ми и рисунками толпятся французы, возмущаются, что тексты только на итальянском и английском, они вооружены большими биноклями и всё всматриваются вдаль. Америкашки громко смеются, всё подряд фотографируют, а больше всего самих себя на фоне каждого булыжника. Немцы внимательны и осторожны, смотрят тщательно, что-то записывают тихо переговариваются. Русские ходят группками, молча, часто присаживаются где попало и постоянно что-то жуют... Интересно как бы припечатала всю эту туристическую братию Музочка, уж наверняка дала бы всем смешные прозвища.

Постановочный, красиво написанный ужас Брюллова никак не вязался со всей этой странной атмосферой и историческая полу правда «Гибели...» с грудой натурщиков и горящей лавой, на проверку оказалась нечто пыльным и мало интересным. Костя взглянул на безжизненный Везувий, шлакоблочные трущобы и подумал о греческих богах, которым здесь наверняка приносились жертвы и мольбы, пока эта гора курилась. «Надежда на богов не оправдалась, впрочем как и моя. Выдумал я всю эту поездку сам, по наводке глупого аптечного панка...солнце, слава, надежды», — подумал он.

— Не отставайте от нас, господин художник!— услышал Костя вежливый голос гида.

Он хлебнул из бутылки воды, встал споткнулся, чуть не упал и подумал, что англичане в своих длинных плотных брюках тысячу раз правы, а не то что он, дурак, вырядился в шорты, да по таким камням. Остатком воды он промыл ссадину и пристроился в хвост группе.

Через несколько метров они увидели площадь форума с прекрасно сохранившейся колонной посередине, несколько ярусов каменных скамеек, пару портретных скульптур.

— Всё, что было раскопано археологами, а это и замечательная утварь из бронзы, скульптура, фрески, настенная мозаика... всё это теперь находится в Неаполитанском Национальном Археологическом музее. Гуляя по этим руинам нам трудно вообразить какой красотой, какими шедеврами искусства был насыщен разрушенный город. Учёные в течении двух веков собирали и перевозили в музей уникальные находки. Так что,

вторая жизнь города, её искусство, как бы воскресшее из пепла, по-настоящему открывается уже в музее.... Но туда мы поедем позже. А теперь обратите внимание на эту экспозицию...

И гид повернула направо и все двинулись за ней.

Метрах в пятидесяти, чуть в сторонке был возведён довольно большой помост, обнесённый заборчиком из колышков с навесными верёвками, на этой «эстраде» достаточно искусно были воссозданы «живые» сцены из жизни Помпеи именно в тот самый драматический момент... Да, да, именно, когда всё плавилось, и полыхало, и народ в панике бежал, и огненный ливень перешёл в ураган, и небесные боги разгневались на несчастный народ!

Туристы молчаливыми группками толпились рядом, пытались вчитаться в скудные объяснения, отчего-то даже галдящие американцы притихли. Костя перегнулся через загородку и попытался дотронуться до одной из фигур, но как из под земли возник огромный детина и довольно грубо оттеснил Костю, чуть не дав ему по рукам палкой напоминавшей школьную указку. Потом он широко расставил руки словно отгоняя стадо овец и громко повторяя на всех языках одно слово «назад» оттеснил туристов на пол метра от заборчика. Тут все посмотрели под ноги и увидели запылённую красную черту намалеванную прямо на земле перед верёвочным забором. Нет, это были не искусственные манекены и не бутафорные предметы. Всё было настоящее и люди тоже... Это были не мумии и не пластиковые манекены составленные для обозрения в разных позах как в музее восковых фигур; это были те самые, когда-то живые люди только под толстым панцирем, сплавом из пепла, золы, земли и бог знает чего ещё, и эта жуткое литьё по выплавляемым моделям «живых» фигур застывших в тех позах, когда вылилось на них роковое извержение... эта консервация выглядела чудовищно!

Тьма не сразу накрыла город, а несколько дней из кратера бушевал огонь, пепел, потом затрясло, лава и огненный дождь полились на город... Но странно, что только малая часть горожан решила покинуть его. Будто воля оставили помпейцев. Они так любили свой прекрасный город, они так верили богам,

молились им, приносили жертвы и твёрдо были уверены, что боги спасут их.

Но наступил момент, когда уже негде было укрыться, поздно было бежать: вот женщина прижимает к себе детей, она стоит на коленях и её лицо обращено в небо, а вот влюблённая пара обнимает друг друга в последнем прощальном поцелуе, кто-то собирает в панике пожитки и утварь, вот пара оцепеневших от ужаса стариков их лица и руки тоже обращены к небу. Всё тщетно!

И гениальный вымысел Брюллова казался картинкой с конфетной коробки по сравнению с жизненной правдой!

Всякий ужас и уродство притягательны, а потому человек с незапамятных времён так любит глазеть на уродов и смаковать ужасы. Ведь катастрофы и войны несут в себе не только подъём и напряжение всех человеческих сил, но и надежду на то, что он, человек, способен переломить ситуацию и, собрав все свои силы в кулак, так вдарить по неумолимому року, что несчастья отступят. Может, именно это усматривал Костя, бродя по развалинам Помпеи? А может, то, что сидит в каждом молодом и неопытном человеке, не знавшем ни смерти, ни болезней... Мечты о бессмертии? Когда как ни в молодости мы испытываем чувство бесконечности бытия, а когда переваливает за тридцать, начинаем считать, сколько осталось до ста?

Но, скорее всего, столь инфантильные мысли роились в его голове по одной простой причине, потому как вырос он в тепличных условиях благополучной семьи, любил себя, свой покой и был уверен не только в завтрашнем дне но и в победе над временными трудностями. И путь казался таким ясным, выверенным, что почти надуманные творческие муки, были своего рода милым развлечением. Он частенько испытывал уныние и страх, но и это всё было сродни творчеству и перескочив через эти шероховатости, забывшись творческим процессом, устав от очередной серии картин, Костя вздыхал и свысока завидовал простым смертным, которые спокойно делают своё маленькое дело. У него же кожа была тонкая, душа ранимая, а потому так легко было вывести его из состояния равновесия. Простое человеческое счастье, любовь, дети, а попросту говоря

мещанство, было не для него. Он был обречён на творчество и готовил себя к бессмертию. В его сознании не могло быть месту случайностям, они его раздражали, он плохо справлялся с ними и коварную кривую жизни подстраивал под себя. Безусловно и у него бывали распутья, чего только стоило ему кошмарное наваждение с Музой! И как всякого не верующего человека его пугали потусторонние силы, пророческие сны и приметы.

Самое печальное во всей этой выпренной истории самокопания было то, что Костя был достаточно посредственным художником, но никто ему об этом никогда не говорил. А обстоятельства складывались так, что однажды ступив на скользкий путь творца он на вопрос «какая специальность?» без всякого смущения, гордо отвечал «художник».

Всё складывалось в этой поездке не так, как мечталось.

Костя сделал несколько шагов, оглянулся в поисках тенистого укрытия и вдруг обомлел. Под довольно большим зонтом прикрученным к раскладному мольберту, в соломенной шляпе, сидел молодой художник. Он привлекал к себе всеобщее внимание не только своей продукцией, но и тем, что на его белоснежной футболке красовались большие буквы СССР. Туристы присаживались на корточки, рассматривали картины, от малюсеньких до больших, которые лежали и стояли на куске брезента расстеленном прямо на земле, что-то спрашивали парня, кто-то протягивал деньги, кто-то с интересом стоял у него за спиной и наблюдал за работой. Процесс создания произведения на глазах у зрителя всегда завораживает и это лучший способ привлечь покупателя. Вначале Косте показалось, что художник пишет портреты, но приглядевшись увидел, что никто ему не позирует. Подходить ближе он не решался. В душе сразу заиграли и стыд за русского, и зависть, что тот пользуется успехом, и ещё парочка чувств столь свойственных художнику профессионалу не привыкшему работать на улице, а думать что он работает на века запёршись у себя в мастерской далеко от посторонних глаз. Но чем можно так привлечь туриста в столь пустом, и неживописном месте как эти развалины? Ведь наверняка и в какой раз он увидит всё ту же мазню,

замечательно сделанную под вкус туриста, некое эстетическое эсперанто. А посмотреть тянуло, и он подошёл ближе.

Сомнения, что перед ним свой русский, рассеялись сразу, как только он приблизился в плотную к мольберту и встал за спиной парня. На маленьком табурете стояла жестянка наполненная нашими тюбиками. «Кобальт синий», «Краплак» и «Сиенна» с «Охрой» ловко ложились на холст с помощью кисти и маленького мастихина, из под руки художника рождалась невиданная панорама из дворцов, подвесных садов, фонтанов, мраморных фасадов, ипподромов и крылатых богов. Мёртвый город на глазах у удивлённого зрителя превращался в живой и по нему гуляли древние помпейцы. Была ли это фантазия художника?

— Это ты сам такую штуку выдумал или кто надоумил? — почему-то обиженным тоном спросил Костя.

Парень видно привык к подобным вопросам, а потому не смутившись и не оборачиваясь, продолжая быстро дописывать холст, тут же улыбаясь какому-то англичанину, который выбирал себе картинку, ответил Косте кивком головы указав куда-то вниз, под ноги. Рядом с мольбертом, лежал потрёпанный чемоданчик, а на нём маленький продолговатый альбом, Костя нагнулся и раскрыл его. Это были виды Помпей, одна страница — развалины, а другая — из кальки, накрывавшая эту страницу сверху, полностью воссоздавала картину настоящих доподлинных Помпей, тех которые были до «Гибели..». Именно по этим историческим подлинникам воссозданным археологами и писал парень свою живопись.

Находка была стопроцентной и беспроегрышной, потому как туристы клевали на неё сотнями!

— Что же ты нас, русских, за вахлаков держишь? Мы ведь куда смекалистей местных, — и кивнул в сторону соседа, который изнывая от жары безнадежно ждал покупателя и не скрывая завистливых взглядов рассматривал толпящихся туристов вокруг русского художника.

— А ты тоже балуешься? — и кивнул на Костин альбом.

Косте стало неловко и он почти застеснялся, смутился от этого вопроса, но потом опомнился и обиделся. Будто его этот прохвост оскорбил, да не только его, а в его лице всё искусство.

— Да, вроде того... но не так, как ты.

— Что, небось Академию кончал и о славе мечтаешь? Как зовут-то тебя?

— Костя Зайцев.

— Нет, о таком ничего не слыхал и даже твоих работ не видал. Ты из каких мест?

— Из Питера, и я действительно «Репу» кончал. Но давно, ты тогда ещё в школе учился.

— Вообще-то я Борис, но меня все Барсом кличут. Это такое прозвище, ну, если хочешь, псевдоним, актёрская подпись....

Псевдоним он произнёс с ударением на «о» и Костя подумал, что совершенно зря он заговорил с этим малограмотным парнем.

— Ты надолго ли в Неаполь или дальше путь держишь? — спросил Барс.

— Да я на неделю и только в Неаполь и, знаешь, уже домой охота, не нравится мне здесь ужасно, — Барс как-то неопределённо хмыкнул в ответ, будто хотел возразить, но Костя продолжил. — Я ждал чего-то другого, думал набраться впечатлений, а представляешь, даже ни разу альбома не раскрыл. Пыльно здесь, жарко и бедность удручающая, как в узбекском ауле... Не вдохновляет всё это.

Он хотел развить свою мысль и уже готов был продолжить рассуждения о бренности жизни и вообще о том, что счастья на свете мало, да и где его искать, но осёкся и тут же подумал, что нечего метать бисер перед первым встречным.

Пока они болтали, Барс закончил очередную картинку, отставил её в сторонку на просушку и когда Костя решил уже с ним распрощаться парень добродушно улыбнулся и произнёс.

— Слушай, приходи сегодня вечером ко мне. Вы где остановились?

— В гостинице «Julia», да ты знаешь, это такая длинная уродина в тридцать пять этажей.

— Ну, так это совсем рядом от меня. Вот смотри, я тебе сейчас нацарапаю планчик. Дай-ка твой шикарный альбом... Здесь твоя Джулия, ты заворачиваешь за неё и сразу попадаешь на широкую улицу, идёшь по ней до конца, потом туннель, это

подземный переход и выходишь прямо на набережную, потом повернёшь направо и через сто метров увидишь кабак, он приметный, на нём большой осьминог изображён, да ты не потеешься, наши русские нигде не пропадают. Тебе от гостиницы до ресторана ходу пятнадцать минут.

И с этими словами парень вернул Косте альбом.

— Когда приходите?

— Часам к десяти. Неаполитанцы в это время только начинают жить.

Он хотел ещё что-то добавить, но его намётанный глаз заметил пару туристов которые с интересом разглядывали его картинку. Кажется они говорили между собой по-немецки и мужчина спорил с женщиной, а та всё тянула в сторону. На помощь сомневающимся вовремя подоспел Барсик. Он учтиво поздоровался и после нескольких слов женщина рассмеялась, присела на корточки и стала перебирать одну за другой картинку, сравнивать, потом позвала мужчину и они вместе углубились в живопись Барса. А он скромно стоял поодаль, наблюдал, изредка делал замечания, деликатно отходил в сторону, как бы показывая всем своим видом, что он не давит на покупателя, а вежливо предоставляет им самостоятельный выбор.

«Хитрая bestия. И как умело себя ведёт. Интересно, на каком языке он с ними балакает», — подумал Костя и поймал себя на том, что он бы так не сумел. «Вот Музочка умела, конечно, иначе, но у неё это хорошо получалось. А я могу только творить, а продавец из меня никакой». Через пару минут он увидел как мужчина достаёт из бумажника деньги, а Барсик из своего чемодана вынимает тугой рулон чёрных полиэтиленовых мешков. Вот он оторвал один и вложил в него два своих шедевра.

— Ну, товарищ художник, мы вас обыскались! — услышал Костя за спиной голос гида. — Куда же вы потерялись? Скорее, скорее, поторопитесь, вас все ждут, я уж с ног сбилась, отчаялась вас в толпе найти...

— Простите, знакомого встретил, разговорился....

Гид цепко ухватила Костю за руку и ловко лавируя в толпе они устремилась к выходу. На площади, перед музейными

кассами изнывала на солнцепеке их группа. В программе, на сегодня ещё было запланировано посещение двух музеев. Ни сил, ни желания у Кости не было...

К художественному музею «Саро Di Monte» им пришлось подниматься долго в гору пешком по узенькой извилистой улице. По причине дорожных работ автобус выбросил их на полпути. Огромное здание музея помещалось на горе, окруженное большим тенистым и ужасно запущенным парком. Когда-то, очень давно здесь были посажены пальмы, вырыты пруды и разбиты цветочные клумбы. Но теперь пальмы вымахали до небес и их стволы, как непричёсанная швабра заросла по всей длине ствола, дорожки как щетиной покрылись выжженной травой, пруды превратились в болотца и отдыхающие топили в них бутылки, а клумбы буйно разрослись в умятые телами лужайки. Сам многоэтажный мастодонт музея был наполнен километрами живописи восемнадцатого века где нескончаемые цветочно-фруктовые натюрморты перемежались с грудой голых селюлитных тел. Косте хотелось взглянуть на знаменитых Тициановых «Пап» в кроваво-вишнёвых облачениях, но как назло этот зал оказался закрыт и удалось увидеть только Брейгелевских «Слепцов».

Он, по своей привычке, отстал от группы, присел перед Брейгелем, но сосредоточиться всё равно не удалось. Каждые пятнадцать минут над музеем пролетал самолёт. Да так низко и с таким рёвом, что казалось ещё мгновение и он обрушится на крышу. Этот оглушающий кошмар вывел его окончательно из равновесия...

При выходе из музея, на ступеньках, трое русских приплясывали и распевали под гармошку. Гид застеснялась, потупила глаза, неловкость за соотечественников перенеслась и на группу и как-то бочком, бочком обходя сторонкой певцов они сбегали со ступенек в парк. Осеннее солнце почти скатилось за Везувий, а им ещё предстояло дотопать до последней цели — Археологического национального музея. Именно туда, за многие годы раскопок и были свезены все Помпейские сокровища.

Усталость навалилась не только на Костю, почти все думали только о душе, ужине и гостиничной койке. Объяснения гида

уже слушали в пол-уха, и многие женщины сбросив кроссовки и сандалии бродили по прохладному полу босиком. Стены музея тоже были из мрамора, двери на всех этажах были открыты, и лёгкий ветерок проснувшийся на закате солнца освежил разгорячённые тела.

Костя переходил из зала в зал, всматривался в рисунки и формы ваз, любовался бронзой, керамикой. Это зрелище постепенно захватило его. Каждый предмет поражал изысканностью и красотой, в которой не было ни натужности, ни помпезности, а только гармония и «Никаких мук творчества...» — подумал Костя. Он повернул в следующий зал и остолбенел. Во всю ширь и высь стены переливалась и играла в лучах заходящего солнца огромная мозаика. Поверхность её словно живая дышала нюансами полу цветов. Ничего яркого, кричащего, каждая деталь рисунка подчинена единой композиции, мельчайшие кусочки смальты сливались воедино, отчего создавалось впечатление живописного полотна.

«Куда там Карлу Брюллову!» — подумал Костя и опустился на скамью напротив. Он прислонился спиной к прохладной стене и ему показалось что капли фонтана запели хрустальную песенку, откуда-то повеяло свежескошенной травой и медовыми ночными фиалками, а предзакатный луч позолотил в витринах круглые бока кубков и крылья зверей, отчего возник странный эффект их движения. Яркие жёлтогрудые с синими хохолками птицы клевали виноград, перелетали со стены на пол, взлетали к потолку, парили, спускались к серебряным и золотым тарелкам, садились на самый край и пили из них воду. Прекрасные боги полулежали в аркадах в тени красивейших дворцов, улыбались, беседовали, чёрные рабы им подливали из кувшинов вино. Эти мирные группы окружённые покоем, вдыхающие запахи роз и жасминов спокойно наблюдали как совсем близко, в нескольких километрах раскалённый солнечный шар прячется за Везувий и там уже падает в море. Вьющиеся лозы винограда, груши, апельсины, гранаты и павлины на мозаичном полу переплетались в причудливый орнамент и бежали живой змейёй вверх по белоснежным колоннам к небесным сводам. И вдруг сильный порыв принёс первые признаки

грозы, стали сгущаться тучи, отдалённым эхом послышались ворчащие раскаты грома, заржали лошади, удары копий, мечей и трубный слоновий глас заспорил с тигриным рыком, всадники рубили, кололи, падали, лилась кровь и не было ни победителей ни побеждённых. Боги и богини спрятались в соседнем зале. И когда битва была уже в полном разгаре из самой гущи на передний план вылетел всадник на белом коне, в развевающемся плаще, его лицо с прямым чуть с горбинкой носом и с горящими глазами смотрящими так, что от одного этого взгляда противник дрожал и готов был пуститься в бегство. В одной руке у него была пика, а на поясе маленький широкий меч. Он натянул поводья, конь под ним захрипел, вздыбился, всадник угрожающе поднял копьё и бросив на Костю гневный взгляд готов был уже броситься на него, но неожиданно в последний момент, каким-то детским плаксивым голосом произнёс:» Еврик хочю, дай ещё один еврик...». Тут возникло некое замешательство, битва словно замерла и ни павлины, ни тигры, ни крылатые боги никак не могли взять в толк, почему Александр Македонский, а это был именно он и никто другой, вдруг заговорил по-русски, да ещё потребовал от Кости еврик.

Пришлось вернуться из забытья в зал. И рядом на скамеечке обнаружить мальчика лет десяти, а поодаль его младшую сестру, сидящую на полу и играющую с куклой Барби.

— Еврик хочю... — проканючил мальчик.

— Не давай, пап, ему еврик, у него уже есть в заначке пять евриков, — не отрываясь от куклы и не поднимая глаз наябедничала девочка.

— Ну-ка быстро за мной! — скомандовал спортивного вида папа и тревожно взглянув на Костю скрылся в соседнем зале.

С противоположной стены великий полководец всё так же гневно смотрел на Костю и поверхность мозаичной смальты из которой было сделано гениальное панно продолжало жить своей жизнью.

«Удивительно, как этим мастерам удавалась такая техника. Ведь если смотреть издалека, то можно принять за живопись...». Но тут Костя опять спохватился и кинулся к выходу.

* * *

Высоченное и уродливое здание гостиницы «Julia», в которой остановились русские туристы, всем своим видом и внутренним содержанием, только дополняло мерзкое настроение Кости. По телевизору по всем программам хохмили хохмачи, переодевались то в мужчин, то в женщин, с утра до ночи продавали ковры и дешёвые драгоценности, играли в покер и рулетку. Стены в гостинице построенной в начале шестидесятых были столь тонки, что ночью Костя слышал как справа от него за стеной кто-то громко стонет и храпит, а из неведомо каких щелей и дыр несло жареной рыбой.

Единственное, что смиряло Костю с его пребыванием, это то, что он жил на 20 этаже откуда открывался восхитительный вид на залив. За беззвучным скольжением по воде всевозможных лодочек, парусников и огромных кораблей можно было наблюдать часами. Жаль, что окно было намертво заколочено, и воздух в комнату попадал из зарешёченной щели под подоконником. Кондиционер не работал, отчего в номере было удушающе жарко!

Раздражала Костю не только грязь на улицах, но и невероятное количество нищих, среди которых было полно румын, украинцев и молдаван. Город кишел полицией и прямо в центре, у ратуши, среди бела дня, он был свидетелем настоящей киношной облавы.

Часы показывали девять вечера, за окном была теплая осенняя ночь, мерцающая как на воде, в небе и у подножья гостиницы тысячью живых огоньков. Автомобильный поток даже усилился и Костя с досадой подумал: «А ведь что-то хотел мне сказать Македонский... да этот болван со своими евриками сбил его».

Огромный лифт, в котором легко умещалось человек пятнадцать, опустил его в гостиничное фойе, он сдал ключ, вышел на улицу, повернул за гостиницу направо и пошёл дальше следуя плану нарисованному художником. На душе было погано и даже сейчас по пути к Барсу, он сомневался в правильности своего поступка. Но ему было бы ещё хуже останься он на ужин в гостинице, после чего пришлось бы опять выдумывать при-

чины по которым он не может «расслабиться» в номере у Петра Иваныча вместе с Ниной и Раей... Молодые ездоки на стрекочущих на все лады мотороллерах неслись куда-то в ночь по своим весёлым делам, а Костя дошёл до туннеля, нырнул в его тускло освещённое чрево и в голове мелькнуло, что здесь могут легко пристукнуть. Он прибавил шагу, благополучно выбрался на поверхность и оказался на улице, которая шла вдоль набережной. Богатые особняки, гостиницы и рестораны береговой линии поражали роскошью, открытые лимузины в которых сидели нарядные люди то и дело подкатывали к подъездам.

Глазая по сторонам Костя наконец увидел красного осьминога с расходящимися во все стороны неоновыми лучами. Ресторан одной стороной выходил прямо к воде, вдоль фасада стояли пальмы в кадках, столики укрытые крахмальными белоснежными скатертями стояли и на улице. Несмотря на поздний час публика только собиралась, несколько нарядных пар уже сидело внутри, и Костя подумал, что зря он не переоделся, потому как в джинсах его могут и не впустить. Он робко переступил порог и к нему мгновенно подбежал молодой черноволосый официант. Белозубо улыбаясь он что-то очень быстро затараторил повторяя «прего, прего», вежливо зазывая вовнутрь, на что Костя ткнул ему в руки бумажку с именем Барса, после чего официант совсем расцвёл в улыбке и провёл Костю к столу. Приглушённое позвякивание дорогой посуды, серебряные ведёрочки со льдом, чёрный бок рояля, за которым уже сидел человек во фраке легко перебирая клавиши. У каждого стола лампа под абажуром, огромная стена застеклённой террасы открыта, у самых ног плещутся волны, а на них качается пара пришвартованных лодок...

«Ничего себе...» — только и успел подумать Костя, но фраза недооформил потому как перед ним возник художник. Его внешность преобразилась под стать всей обстановки. Свободная белоснежная блуза мягкими складками спадала на модные полу мятые парусиновые брюки, из под которых торчали остроносые ковбойские сапоги. Светлая вьющаяся копна волос Барса стянутая сзади чёрной ленточкой и каштановая короткая борода с усами придавала его лицу нечто добродушно коти-

ное. Да и вся полноватая среднего роста фигура удивительно точно дополняла его прозвище.

— Привет старина, — и его мягкая рука легла на плечо Кости, — Ты любишь морского зверя? Сейчас нам принесут целое блюдо этих гадов.

Он сделал жест официанту и когда тот подошёл что-то с полуулыбкой прошептал. Через пару минут им принесли бутылку белого вина в серебряном ведёрке со льдом, жареные фисташки, миндаль, чёрные и зелёные маслины. Официант плеснул вина в бокал Барса, тот с видом знатока понюхал, отпил, подержал во рту, одобрил и только после этой дегустации бледно золотистая жидкость полилась в их бокалы.

— Я рад нашей встрече. За это и выпьем. — Они чокнулись и Барс потянулся к тарелочке с миндалём. — Думал, что ты не придёшь, побрезгуешь общаться с уличным мазилой.

— Если честно, то не хотел идти. Да уж больно на душе у меня тошно... — но Костя обсёкся на полу фразе и решил что зря он ляпнул. Но Барсик сделал вид будто не расслышал вылетевшей птичке откровения, тему не поддержал и расслаблено откинулся на спинку стула. Зал постепенно наполнялся людьми, пианист заиграл чуть громче, но ровно на столько чтобы музыка не мешала разговорам. Широкая спина Барса и его косичка отражались в зеркальной стене, справа и слева тоже зеркала, в них Костя видел себя и в фас и в профиль, отчего получалось неприятное чувство раздвоения или даже разтравления, а столы, пальмы, торшеры под гигантскими абажурами тоже выстраивались в странную перспективу. От этого эффекта кривых зеркал Косте было не уютно, будто сам на себя ото всюду смотришь.

— Ну-ка, выкладывай. Какие у тебя проблемы? Наверняка или деньги или баба? Чужому человеку легче открыться, чем родному. Мы ведь с тобой расстанемся и наверняка больше никогда не встретимся, а потому твоя сердечная тайна останется со мной и будет погребена в Помпеях. — Барс хитро улыбнулся в пышные усы.

— А ты, что же здесь постоянно живёшь? — спросил Костя уходя от ответа.

— После ужина старина, всё потом тебе расскажу, а пока прошу, приступай.

И в этот момент официант водрузил им на стол огромное блюдо где в снежной подтаивающей белизне громоздились устрицы, розовые креветки, неведомые колючие шарики и ещё что-то непонятное и склизкое.

— Лимончиком полей, а ещё лучше луковым соусом, да вилочкой или щипчиками орудуй, ... вот смотри как нужно, берёшь, поливаешь, оп, глотаешь и запиваешь, — и Барс словно он проделывал эту операцию каждый день ловко подцепил скользкую зелень и отправил её в рот.

«Ну что можно было рассказать этому примитивному котяре, который далёк от всех мук и переживаний настоящего творца. Он и в музеи то наверняка не ходит»— подумал Костя проникая тонкой вилочкой в чрево улитки, вытянул её мясистое тельце и осторожно словно ядовитого червяка отправил в рот.

«Но я тебе, бездарный Барсик, никогда ничего подобного не скажу, ты ведь далёк от таких мыслей и не поймёшь. Да и откуда тебе знать об этих ночных страданиях! Ты, который шпарит на потребу публики свои картинки, ты ведь доволен собой, ты никогда не будешь сомневаться в себе и в своём творчестве. Так оставайся в неведении, ты вполне доволен тем, что твои шедевры будут красоваться не в музеях, а в квартирах мещан и жлобов всех национальностей...»

Барс поливал лимонным соком вторую устрицу рассуждал об итальянках и их особенностях так привлекательно отличающихся от наших тёлочек, а Костя в пол уха слушая болтовню Барса, продолжил свой молчаливый монолог:

«Ты глупый провинциал, никогда не проникнешь в психологические тонкости женской натуры. Тебе не ведома ни настоящая любовь ни страсть. Ведь ты Барсик расчётливый и бездушный барыга, а потому не знаешь, что означает сгорать и умирать от любви, забыться в ней, всё, всё бросить к ногам настоящей ведьмы! Суметь отбросить это колдовство, преодолеть себя ради искусства... Ты всё меришь на деньги и тебе совершенно все равно что делать, писать бездарные картинки

или торговать кока-колой. Именно поэтому у тебя так хорошо получается, а у меня это никогда не выходило потому что я слишком высоко задираю планку. Правда меня Музочка толкала чтобы я делал эту вкусовщину на потребу публики, эту гадость я изготовлял через силу, через самого себя переступал, мне от этого было плохо. Я изменял себе и искусству! Хотя, нет...нужно быть честным. Мне нравилось, когда меня покупали. Приходили в мастерскую разные иностранцы и я им толкал свои картинки. Они хвалили и деньги хорошие давали. Но об этом я Барсику никогда не скажу. Мне стыдно. Гадко за себя. Потому что я вдруг, враз сегодня понял, что слабак и все мои муки это буря в стакане... И Александр Македонский именно это и хотел мне сказать! А ты, Барсик, — счастливый человек, тебе никто и никогда ничего подобного не скажет. Тебя будут все хвалить и покупать, потому что твоя мазня нравиться всем!»

Барс подцепил ножичком масло.

— Вот видишь, к устрицам всегда положено подавать серый или чёрный поджаренный хлеб... — И он густо намазал хлеб маслом. — А ещё, видишь этот красный соус? Это мелко нарезанный лук эшалот, перемешанный с винным уксусом и оливковым маслом, немного соли и сахара... Ну-ка, полей на устрицу».

«Да почему я так себя ругаю? Может это даже хорошо. Видеть себя со стороны не каждому дано, а у меня это получается и поэтому я могу объективно посмотреть на себя. Будь я примитивным, необразованным типом, вроде этого Барсика, я бы давно пошёл на поводу у такой как Муза, а может закончил бы свои дни в психушке или с бутылкой под забором. Но я способен на большее. Я могу анализировать ситуацию, а следовательно сейчас я просто преодолеваю очередной тяжёлый кризис. Через него проходили все творцы. И не нужно впадать в отчаяние, цепляться за пустые ничего незначащие магические знаки и символы, надо перестать себя бичевать и взять себя в руки. Я интеллигент, мне в семье с детства прививали культуру, вкус, в нашем доме всё дышало искусством...а сколько говорилось о великой задаче художника! Это закваска на всю

жизнь и я никогда не смогу скатиться до Барсика, а имя таким как он — легион. Они заполонили все столицы мира, они куют деньги, а на искусство им наплевать. И самодовольный Барсик мне противен...».

Этим заключением Костя поставил точку в своих размышлениях. Он отпил глоток прохладного вина, взял жирную маслину и посмотрел на художника.

— Знаешь Барс, у нас в Академии, правда это было давно, лет пятнадцать назад, я тогда учился на первом курсе произошёл спор, нужно ли и хорошо ли работать на заказ. Я был против, кое-кто выступал за, а наш профессор Звягин, которого ты наверняка ещё застал, очень хорошо заметил, что раньше заказчики были столь же великими знатоками, что и исполнители. То есть художник себе как бы не лгал, не пресмыкался, когда брал деньги за своё творение. Ты что думаешь?

— Да я думаю, что всё сложнее. Во первых нам теперь живётся труднее чем им на белом свете. Нас целая армия, посмотри сколько художников наплодилось и все хотят выставляться, кормиться своим талантом трудно. Кстати и в своё время были такие кто работал «за шкаф»... например Гойя, а уж в советские годы то! Только и рисовали портреты вождей за деньги, а для души абстракции шпарили. Во вторых, нам легче, потому что не нужно лгать, изготавливать эти мерзостные портреты, в комсомол и партию вступать, в разные там Союзы художников. Возможностей больше, весь мир открыт, езжай куда хочешь...

Барс внезапно замолчал, помрачнел и на его добродушное лицо налетела туча. Морской зверь был прикончен и в растаявшем снегу высилась пирамида ошмётков, вино было допито и только сейчас Костя сообразил, что на протяжении всего вечера Барс непрерывно говорил, даже пытался философствовать о женщинах, посмеивался, ел, пил и ни разу ни о чём Костю не спросил, не любопытствовал кто он, откуда. Да и многое если подумать казалось странным в этом приглашении на ужин. «Уж не думаю, что он так одинок и ему не с кем поболтать. Таких русачков художничков в Неаполе пруд пруди а потому у него здесь есть приятели».

— У меня к тебе будет просьба — словно услышав его мысли произнёс Барс. — Но вначале я тебе кое-что покажу.

Он обменялся парой фраз с официантом, потом они поднялись из-за стола и пересекли ресторан до самой его глубины. Зеркальные стены и крахмальные столы остались позади, перед ними была довольно крутая и узкая лестница ведущая вниз, туда где обычно помещаются туалеты.

«Может он меня сейчас заведёт в подвал... а может, он наркоман, а может, педик?..» — всё это вихрем пронеслось в голове у Кости пока он спускался по скрипучей лестнице вниз; но ничего не спросил Барса и вида, что волнуется, не подал. Они, действительно, оказались у туалетов, но свернули в сторону по коридорчику, Барс вынул из кармана связку ключей и открыл дверь. Костя невольно попятился, но не от электрического света! Довольно большой зал без окон, с красными кирпичными стенами, с низким потолком был наполнен картинами.

Они висели повсюду, стояли на каменном полу лицом к зрителю, а в одном из углов Костя заметил стеклянную витрину заполненную гигантскими матрёшками и прочими русскими сувенирами.

— Проходи!

Барс явно был доволен произведённым эффектом.

— Что это? — растерянно спросил Костя.

— Это русская галерея. Хозяин ресторана любитель русской живописи. Но ему некогда и я вечерами здесь торгую. Вообще всё началось с того, что он много лет подряд ездил по своим делам в Россию и скупал разную живопись, но так, от любви к искусству, а потом увидел, что это хорошо идёт в Неаполе... я тогда на Невском зимние пейзажики с тройками шпарил, а моему итальяшке они очень понравились. Он потом раза три приезжал, покупал, по разным мастерским ходил, и в конце концов предложил мне как бы контракт... сделку с условием. Долго рассказывать, но теперь я здесь уже больше года. Он мне обещает сделать документы...

— Так ты богач!

— Держи карман шире. — Грустно сказал Барсик и поправил покосившуюся на стене картину.

— Работаю за гроши, за жрачку и койку. Думал поначалу, что как-то вырвусь, сумею сам развернуться. Знаешь, ко мне сегодня подходил один америкашка, купил мои «помпеи» и предложил махнуть в Нью-Йорк. Сказал, что если я сяду у бывших Башен и тоже самое придумаю с ними, в общем «оживлю» их, то отбою от покупателей не будет... Я же не идиот, понимаю, что мне через пять минут набьют морду за надругательство.

— А тебе вообще не противно всё это?

Костя присматривался к картинкам, пытался разглядеть подписи. Одна из стен была сплошь увешана копиями «старых мастеров»: цветы, фрукты, фазаны, парусники, море, голые дамы танцующие с Вакхами и амурами...

— Он воспользовался ситуацией и моей доверчивостью. Подал всё так, как будто творит добро, делает полезное дело... но, честно говоря, я сам ухватился за этот шанс, он мне был необходим.

— Неужели ты всерьёз поверил, что тебя будут выставлять в шикарных галереях? — почти надменно спросил Костя и вспомнил свою выставку в Париже.

Он гордился тем, что после этого позора никогда уж в подобных мероприятиях не участвовал, да и не нужно ему было этого.

Барс напрягся, в его узких глазах мелькнула искра гнева, пушистые усы перекосило в гримасе, но эта мимолетная ненависть в одну секунду, как маска, сменилась на его обычное добродушное котиное выражение.

«Как бы он меня не прикончил в этом подвале. Или возьмёт в заложники, будет держать на цепи, заставит писать свои мерзкие «помпеи», но уже не за устрицы, а за похлёбку. Я ведь, уходя из гостиницы, даже никому не сказал куда иду» — подумал Костя. Его охватило беспокойство, почти панический страх, а его художественное воображение дописало сценарий: он увидел себя прикованным к батарее, с миской спагетти и кистью в руке.

— Вот кстати глянь сюда. Здесь есть питерцы, да ты наверняка многих встречал. Правда, подписей нет, да и понятно, почему.

И Барс указал ему на стену сплошь увешанную копиями малых голландцев.

— Конечно, я знаю кое-кого, кто делает подделки. — рассеяно бросил Костя, — Все они хорошо зарабатывают, антикварные магазины, новые русские скупают, бешенные бабки платят...

И тут его взгляд привлекли две картинки знакомые до щемящей боли в груди, до дрожи в ногах, до желания развернуться на сто восемьдесят градусов, выскочить на поверхность этого мерзкого города, прибежать в гостиницу и от стыда спрятаться с головой под подушку.

Но тут он услышал голос Барса.

— Вот о чём я жалею — так жалею, и мой хозяин тоже. Видишь эти две картины. На одной женщина, а вторая — мужской портрет. Да повернись же! Смотри сюда!

Но Косте очень не хотелось смотреть туда. Ему хотелось провалиться на месте.

— Мы их не продаём. Хотя очень многие хотели бы купить. Особенно бабу, сам видишь как она смачно написана, с деталями, выписано всё как надо. А вторая — это портрет самого хозяина. Он дорожит этими картинами, воспоминания, ну и прочие сантименты. И Барсик хихикнул.

Как он не отводил глаза, но пришлось обернуться. На него со стены смотрела голая Муза. Костя её писал давно, ещё в начале их страстной любви, а вот мужика он совершенно забыл. Да и как можно было упомнить всех кому она сплавляла его работы? Хотя... был кажется какой-то толстый потный итальяшка. Муза его называла «макаронник» и как всегда, со всеми иностранцами болтая на смеси английского и нижегородского толкала Костю на эти мерзкие продажи, приговаривая о славе, подогревая его тщеславие, строя планы и рисуя заманчивые перспективы. Вот и докатилась его слава до Италии... спасибо за это Музе!

— Ты, случайно, этого парня не знаешь? Подпись тут неразборчивая, а мой шеф забыл напрочь его фамилию, карточку с адресом и телефоном потерял, пытался разыскать эту красавицу... — и Барсик ткнул пальцем в розовый живот Музы, — Да тоже облом.

А так вот зачем я ему понадобился? Нет нужды продолжать всю эту галиматью, весь этот бред сумасшедшего.

— Хочешь с моей помощью начать поиск этого художника и этой девицы? Вот только не пойму связи: она, художник... и твой шеф? Кстати «галерейщик», случайно не шеф-повар этого ресторана? — съязвил Костя.

— Нечего смеяться, он классный мужик и если бы не он, то давно не было бы на свете... близкого мне человека. Ты всюду одну корысть видишь, а в жизни всё сложнее. Я сразу понял, что ты баловень судьбы, барчук, везунчик. Тебе никогда не приходилось «преломляться». Наверное, у тебя предки богатые? А рыжая жила тогда с художником и помогала ему. Мечтать только можно о такой бабе!

— Короче, я не знаю и не представляю кто это! — раздражённо ответил Костя. — Теперь художников пруд пруди....Ну, а таким бездарям, как этот, нужно руки ноги обломать! Сегодня, я был в музее, долго бродил, смотрел, сидел... был потрясён красотой. И понял, может быть только сейчас, — голос у него задрожал, — что я никогда не смогу стать великим художником. Обо мне никто и никогда уже через двадцать лет не вспомнит, а что тут говорить о веках. Я думал, мучился, пытался понять смысл жизни, творчества, но сколько бы я не старался себя перелопатить, переучить или возвысить свой ум до небес — ничегошеньки не выходило. Почему? Да вероятно, потому, что я посредственность и всё что я делаю это одно подражание, выпендривание, погоня за модой и все мои муки творчества это муки самолюбивой ущербности...

— Причём здесь ты? Я ведь твоих картинок не видел. Посмотри получше, приглядиись. Видишь тут стоит закорючка вроде буквы З, а к ней прилепилось К... может он Зураб? А может и наоборот это З начальная буква фамилии. Мой хозяин готов меня отправить в Питер, деньги дать, комиссионные отвалить... жалеет он что не купил тогда побольше работ у этого парня. Ты себе не представляешь каким успехом пользуются эти работы у наших клиентов.

— Слушай, мне пора идти. Поздно уже.

У Кости рябило в глазах и он никак не мог понять сколько показывают стрелки его часов. То ли два часа ночи, то ли четыре. Усталость в ногах и дневные переживания навалились как стопудовый мешок с землёй.

— Ты для этого меня зазвал в кабака? Глупо получилось. Зря потратился, ужин небось стоил бешенных денег.

— Не остри, мне не до смеха...

Барс подошёл к застеклённой витрине, снял со своей шеи длинный шнурок с ключом, который прятался у него где-то рядом с нательным крестом, раскрыл стеклянные дверцы, откупорил одну из огромных матрёшек и в руках у него оказался толстый туго свёрнутый и перехваченный резинкой рулончик с евро.

— Здесь пять тысяч. У меня одна надежда на тебя.

— Неужели ты хочешь чтобы я взял эти деньги и искал..?!
— язык не поворачивался произнести «этого художника», нужно было бы прибавить слово «бездарного», но тут уже пахло мазохизмом.

Он сцепил руки за спиной, как это делают дети и решительно замотал головой.

— Нет и нет!

— Послушай. Ты эти деньги должен передать одному человеку. Это моя сестра. Она неизлечимо больна, у неё будет химия через неделю. Мы с ней одни на свете, выросли в детдоме. Я ведь на эту Италию «подписался» только ради неё. Как узнал я от врачей, что спасёт её только операция, так чуть с ума не сошёл. Где такие деньжищи достать? А тут этот мужик подвернулся, предложил поехать к нему в Неаполь, ну и всё прочее, то что ты уже видел и знаешь. Пользуюсь всяким случаем передать деньги Насте. Ты мне показался надёжным парнем, да к тому же свой из Питера, возвращаешься через пару дней. А про этого неизвестного художника, просто так спросил, к слову. Мир ведь тесен, кто знает, может ты его встречал.

Костя такого оборота событий не ожидал.

Перед ним уже был не Барсик, не хитрый расчётливый хапуга, не ловкий художник, а поверженный горем одинокий, усталый молодой человек. Как губкой смывают с бумаги неу-

дачный акварельный подмалёвок, так и с Барса вдруг, в один миг смыли весь грим.

— О чём ты говоришь?! Конечно, возьму... и не беспокойся, я всё передам твоей сестре. Пиши телефон.

Барс присел на табуретку, написал записку, передал всё Косте.

— Спасибо, я твой должник. Настя тебе понравится. Она такая хорошая девушка, страшно подумать, ей всего-то двадцать, а смерть тут как тут.

Я тебя довезу до гостиницы. Сейчас ночь, а с такой кучей денег рисковать не стоит.

Барс закрыл дверь галереи, они поднялись в пустой ресторанный зал, где вместо официантов уже хозяйничали женщины со швабрами и в воздухе пахло мылом.

На улице, почти у самого входа в ресторан был «прикован» мотороллер Барса.

До гостиницы они домчались за десять минут.

— Я, как только передам деньги Насте, сразу тебе позвоню. И знаешь, спасибо тебе. Ты даже представить не можешь, как я тебе благодарен!

Барс крепко обнял его.

А в голове у Кости уже наметился план действий: вернуться и сжечь всё, что он намалевал за эти годы... Нет, лучше порезать на куски...!

* * *

Уже потом в Питере, при встрече с несчастной девушкой, он с омерзением вспоминал прежнего себя. Знал бы он тогда, в Неаполе что всё, окончательно всё изменится в его жизни! Трудно даже было вообразить, что встреча с Барсом станет поворотной точкой в его оценках добра, зла, любви, искусства и многого другого, о чём он никогда не задумывался, дожив до тридцати пяти лет.

Прошло полгода. Костя каждый день навещал Настю то в больнице, а потом дома. Он полюбил её. Она полюбила его, но часто плакала и говорила, что он не должен тратить на неё свою жизнь, потому что она все равно скоро умрёт. Они частенько

говорили по телефону с Барсом, и однажды Костя открыл ему секрет... несколько секретов. И добавил, что готов отдать ему остатки своих «шедевров», потому что перестал рисовать, кое-что из картин выбросил, а для пропитания устроился в тур-агентство, на должность курьера. Он купил себе старенький автомобиль и много времени проводил за рулём, слушал музыку, размышлял и поглядывая на своё «тату» вспоминал парижского брахмана, кукушку в лесу, панка, солнечный Неаполь и встречу на развалинах Помпей.

Париж, 2009

PARIS





Недоумок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Он крепко прижался к ней, обхватил руками шею, лицо потонуло в ее пышных волосах, его будто кипятком обдало, он резко проснулся. Из сна выбросило, как из катапульты падающего самолета, это он видел в кино про войну. Мокрый от пота и еще чего-то, чего сам не мог понять, Шура сбросил с себя толстое ватное одеяло и прислушался.

За стеной громко храпел дед, бабуля сердито цокала языком, чтобы разбудить его. Дед хрипло закашлялся, заматерился, пошел в уборную.

Мальчик вспоминал сон. Он повторялся все чаще, к его деталям он возвращался потом на уроке физкультуры. Можно было спокойно сидеть в сторонке на скамейке, наблюдать, как другие прыгали через «коня», лезли на шведскую стенку, а он вспоминал. Шурик был освобожден от занятий по физкультуре. Странно, что во сне он четко помнил удушливый паточный запах духов, он любил его, а особенно ее прозрачные вышитые блузки. Почему она стала так редко приходить к нему, он не понимал. Каждый раз он испытывал к ней чувство стыда, любви и ненависти. Он жил с ее родителями, бабуля у него была любимая, особенно ее пироги из песочного теста с малиновым джемом. Деда ему надо было называть отцом. Но когда приходила она, его сердце замирало от сладкой надежды, что когда-нибудь он узнает, кто же его настоящий отец. Единственный дом, где ему было хорошо и спокойно, была квартира тетки, родной сестры его матери.

Зазвонил будильник. Слишком рано, как всегда. Дед ставил его на час раньше. Надо было спешить в ненавистную школу. Он попытался сделать вид, что у него болит горло, стал «набивать» градусник, но дед вошел в комнату с ремнём. Охота пропала.

Потом ледяное обливание в ванной, это он знал, как «скосить», пускал душ, мочил в нем полотенце, долго изображал звуки, похожие на хлюпанье и фырканье, а сам сидел на табуретке рядом, потом выходил уже в трусах. «Молодец! Бойцом будешь!» — по-военному вскидочно приветствовал его дед, а сам уже в голубой майке, пижамных штанах рылся в личном холодильнике. Внутри него такой же порядок, как и во всей квартире, все по полочкам, все по полезности, по витаминности, корень женьшеня заспиртованный, он сам его выращивает на участке, масло облепиховое, оно от всех болезней, особенно от ожогов. Потом дед долго моется в ванной, харкает, сморкается, полощет горло, выходит с полотенцем на плече, в темно-синих трусах до колена, проглаженных со стрелкой. Бабушка печет оладьи, в кухне пахнет горящим маслом. Дед выпивает стопку водки, краснеет, потом ряженку прямо из бутылки и раскрывает газету. Бабушка ставит горку горячих оладий на стол, сметана съезжает по ним в большой эмалированный тазик, тает.

Шурик со страхом думает, что опять не приготовил математику. Выхода нет, нужно списать у Сашки на большой перемене.

— Вот гады! Опять они лезут куда им не следует! — не отрываясь от газеты и кефирной бутылки, возмущенно хрипит дед.

— Это кто, деда? — робко спрашивает Шурик.

— Ах ты, гаденыш, это кто тебе «дед»?!

— Это кто, «папа», лезет? — робко переспросил мальчик. Он почувствовал, как у него задёргалось веко противным тиком, а потому прикрыл глаз ладошкой, чтобы «отец» не увидел.

— Гады — это те, кто против Советской власти, против нас! Это ты на всю жизнь запомни, выблядок. Я твой отец, а не тот, которого я бы завел в подвал да собственными руками пришлепнул бы. Эхма, нет у меня той власти, а то бы я...

— Ешь оладушки, мой хороший, да беги в школу. Не забудь, вечером к тебе пианистка приходит.

Ненавистная учительница музыки, гаммы, треньканье «собачьего вальса», дед слушает все через стенку. Один брючный ремень висит в прихожей, другой над кухонным столом, третий у Шурика над кроватью.

Мать жила в Москве отдельно, и виделись они раз в месяц. Она приезжала к нему всегда в один и тот же день, 30-го числа. Почему? Он долгое время не мог этого понять. Потом услышал случайный шёпот бабушки с почтальоншей о деньгах, алиментах. Мать приходила на следующий день. Она целовала его, разворачивала липкую бумажку петушка на палочке, он сразу совал красный леденец в рот и долго его сосал. Мать проходила в комнату, возвращалась через десять минут, опять нагибалась к нему, и он уже полным ртом сладкой слюны целовал её на прощание. Шурик никогда не спрашивал, где она живёт и почему никогда не позовет его к себе. Её волосы почти каждый раз меняли окраску по моде, она была одета в новую узкую юбку, высокие каблуки делали её похожей на принцессу из сказки. «Только та была на горошине», — думал Шурик.

— Меня ждут в машине... Дай поцелую, фу, какой ты липкий... Мам, батя, скоро позвоню! — Обитая дерматином тяжёлая дверь с треском захлопывалась. Иногда Шурик, прыгая через ступеньки, сбегал по лестнице вниз, торопился успеть быстрее лифта. Она спускалась с их шестого этажа, а он уже внизу, ещё раз на прощанье обхватывал мать за колени. Во дворе её ждало такси.

Петушок во рту не успевал растаять, а пальцы сжимались в липкие кулачки, которые он прятал в карманах.

Его постоянно дразнили в школе, частенько били, рос он каким-то недокормышем, несмотря на «отцовские» особые продовольственные пакеты, которые привозил шофер дядя Миша. Всегда у них были зимой помидоры, виноград и мясная вырезка. Больше всего он любил бананы, но они появлялись только к Новому году.

Умер Сталин. Дед люто запил, и ремень все чаще гулял по худенькой заднице Шурика. Ночное писанье в постели стало

почти каждодневным. Бабушка скрывала это от «отца». Ей было страшно. Запой деду простили, он был на заводе «спецом», секретарём парткома, заслуженный и медалированный ветеран. Скоро деда наградили. Органы посылали его руководить строительством авиазавода в Польше. Бабушка и Шурик ехали вместе с ним.

Три года, проведённые в Варшаве, остались на всю жизнь самыми счастливыми. Он перестал видеть во сне мать, перестал мочиться во сне, дед больше не лупил его, так как целыми днями был занят на заводе. И ещё он как-то помолодел, мурлыкал фронтовые песенки, вместо «Беломора» стал курить болгарские сигареты. В этом советском дипломатическом «варшавском гетто» разрешалось мало, выходить за территорию можно было только с бабушкой и шофером. Солдат проверяет пропуск, при возвращении опять проверка, смотрит в глаза, долго, внимательно, вдруг это не ты, а другой мальчик, бабушкину авоську и сумку перебирают. И все равно, это был рай для Шурика. Оттого что у них была польская домработница, молодая девушка, он научился болтать по-польски, она его баловала и любила. Посольская школа была домом счастья, где ему ставили четверки и пятерки — только повышенные отметки должны были получать дети советских дипломатов.

Однажды с урока русского языка их учительницу вызвали к завучу, потом Шурик встретил ее во дворе школы, она злобно посмотрела на него, и больше он никогда ее не видел. Когда он вернулся домой, бабушка говорила с дедом на кухне.

— Эта училка ему тройку за сочинение поставила. Ну и как ты думаешь, достойна она в нашей школе преподавать?

А он и не знал, что у него была тройка. Он видел, что все получили отметки за сочинение «Моя родина», а его тетрадка исчезла, все искали, ребята даже лазили под парты, учительница строго на него смотрела, потом её вызвали к завучу.

В Польше за три года он почувствовал, что стал лучше, умнее, а главное, он подросток. Учительница музыки, только другая, продолжала приходить к нему заниматься три раза в неделю. Теперь ему нравилось тренькать на рояле, у него оказался абсолютный слух, и стало что-то получаться. После занятий «отец»

проводил пианистку до дома, жила она в городе, вне посольской территории, в казённых домах для obsługi дипкорпуса.

Три года прошли быстро. Ему исполнилось 13 лет, и деда вернули в Москву. Даже полусвободная жизнь советского гетто в «нашей» Польше была для него раем. Возвращение в ненавистную сталинскую полувывсотку, ночные кошмары, свидания с матерью опять отбросили его назад. Единственная радость для него — это квартира тётки, там он всегда чувствовал себя любимым, мог часами валяться на диване, играть в подкидного дурачка с двоюродной сестрой Ланой.

— Слушай, а ты знаешь, почему нашего дедулю зовут Владиленом? — спросила однажды Ланочка. — Это ведь означает Владимир Ильич Ленин. Он и маму мою назвал в честь майского праздника, и имя твоей мамы тоже соответствует.

Нет, он всего этого не знал и даже никогда не задумывался об этом. Он глухо тосковал по Варшаве. Дом тётки и Ланочки, где его любили и жалели, стал для него настоящим убежищем. Тётка свою родную сестру (его мать) осуждала, и однажды он подслушал разговор тётки с мужем: «Она курва порядочная, алименты берёт, а на парня ни копейки родителям не отстегивает, всё старики на него корячатся».

Под Москвой у «отца» был садовый участок. Это, как он говорил, для него было «святое место». Не дом, а домик, не будка садовая, а что-то похожее на избушку в две комнаты, он говорил, что совесть его партийная не позволяет выстроить «хоромы», как у соседа. В углу участка, там, где шло тепло от какой-то магистральной трубы, дед покрыл пленкой землю и посадил женьшень с облепихой. Получилось, что-то вроде парника для редких разновидностей растений. По выходным он полон, копал и сажал. Двадцать минут на автобусе от центра Москвы — и ты на даче. Дед сразу раздевался, натягивал старые военные брюки, калоши на босу ногу и шел в огород. Бабушку к земле не подпускал, говорил, что она не с Украины, а потому все испортит. Шуру заставлял обрывать усы у клубники и таскать в старой тачке кирпичи из соседней разоренной церкви. Шура люто ненавидел этот участок, отправляли его сюда каждое лето во время каникул, а потому ждал он их не с радостью избавления от школы,

а как двойное наказание. Двоюродная сестра Лана иногда приезжала на выходные, и для Шуры это были самые радостные дни.

Она была старше его на два года и казалась уже почти девушкой.

Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал, как она всхлипывает, потом громче, потом тишина. Спала Ланочка в коридорчике, прямо перед верандой.

«Странно, почему она плачет?» — подумал Шурик. Он прислушался к какой-то возне, шепоту, вроде голос деда, а кто-то скулит, потом дед закашлялся, хлопнула калитка, залаяла соседняя шавка. «Значит, он вышел покурить», — подумал мальчик и провалился в сон.

На следующее утро он проснулся поздно, в доме тихо, радио уже передает сказку. Лана, видно, пошла к соседней подружке, они любят вместе секретничать. Шурик ещё полежал под простыней, послушал вкрадчивый голос чтеца про Оле-Лукойе и вышел в огород. В конце участка он увидел фигуру «отца», который возился в своем парнике. Шурик побрел к нему. Странно, дед курил. Обычно он говорил, что женьшень не переносит дыма и микробов. Не вынимая изо рта бычок «Беломора», он остервенело выкапывал китайские корни из земли.

— А где Ланочка? — спросил Шура

— В Москву уехала, — ответил дед.

— Почему? Вроде она не собиралась...

— Не знаю, — мрачно буркнул «отец».

В воскресенье вечером они вернулись в Москву, и Шура позвонил сестре. К телефону подошла тетка.

— Лана больна, она не может с тобой говорить...

— Она поедет со мной на дачу в следующую субботу? — спросил Шура.

— Нет, на эту проклятую дачу она больше никогда не поедет, — тетка заплакала, перевела дыхание. — И скажи своему «отцу», что я ему больше не дочь. Так ему и передай! — В трубке послышались короткие гудки.

Все это было для Шурика непонятной загадкой, все в его голове перевернулось, он присел на стул рядом с телефоном и долго рассматривал узоры арабского ковра.

Утром он увидел красные от слез глаза бабушки. Она собиралась ехать на другой конец города к тетке.

Ему было трудно тогда понять, что произошло с Ланой. Почему она уехала с дачи, не попрощалась с ним? Он любил её и был совершенно уверен, что когда вырастет, то придет к ней домой с букетом цветов и попросит стать его женой. Они будут счастливы. Ему нравилось в ней все, особенно трогательный пушок над верхней губкой, похожий на тонкие усики, они смешно топорщились, когда она смеялась. Он дрожал всем телом, когда трогал её за толстую русую косу, всегда аккуратно заплетенную, с широкой шелковой лентой. Он любил её толстенькие, маленькие ножки и вообще всю так плотно сбитенькую фигурку. Весь облик Ланочки, телесный и душевный, вызывал в нем покой, уют, и ему казалось, что только она и есть для него настоящая защита. Что-то подобное он испытывал во время внезапного ливня на детской площадке перед домом: он стремглав кидался под грибок-мухомор из жести и дерева, с красной раскраской и белыми пятнышками, сидел под ним совершенно счастливый, вокруг лились потоки воды, а ему было тепло и сухо. Ланочка всегда знала, как нужно действовать, в школе была круглой отличницей, частенько готовила уроки для него, особенно математику и русский.

Прошло два месяца, как она вышла из больницы. Он позвонил ей утром, тетка была на работе. Теперь подошла к телефону Лана.

— Ланочка, я хочу тебя видеть, ну пожалуйста, — взмолился Шурик. Сквозь слезы и всхлипывание она сказала: «Приезжай».

Дверь ему открыла другая девушка, это была и она, и не она. Похудевшая, стриженная под мальчика, глаза заплаканные и серьезные.

— Ланочка... где твоя коса? — испуганно спросил он.

Она ничего не ответила и прошла в комнату, села на тахту, ее новая юбка из тафты была похожа на пачку балерины, а маленькие ножки были одеты в белые носочки и красные туфельки.

— Скажи мне, что с тобой случилось? Почему ты была в

больнице? Я ходил туда, но меня к тебе не пустили, сказали, что детям нельзя...

— Шурик, я не могу тебе ничего сказать, когда-нибудь потом. Но ты должен обещать мне, что перестанешь ездить на дачу к деду... Я его ненавижу, — совсем тихо прибавила она, и по ее щекам потекли слезы. Потом она нагнулась и из-под тахты вынула обувную коробку, перевязанную бурой бумажной веревкой.

— Это тебе на память.

— Что это? — Он взял коробку.

— Нет, ты сейчас в нее не смотри, потом раскроешь, когда домой придешь. — У Ланочки глаза были добрые, и пушок над верхней губкой зашевелился в грустной улыбке.

— Давай в дурачка поиграем, — робко попросил Шурик.

— Нет, я не могу, сейчас придет докторша, и тебе пора идти домой. Я не хочу, чтобы она тебя видела, маме нажалуется...

Шурик вышел на улицу. Было промозгло и холодно не по-майски. Коробка из-под туфель «Скороход», которую он крепко держал под мышкой, прожигала ему бок. Он вышел на бульвар, сел на скамейку и развязал веревку. Сердце его ушло в пятки. На дне коробки, в голубой гофрированной бумаге, лежала толстая русая коса Ланочки.

* * *

В середине мая дед совсем переселился на дачу. Бабушка туда не ездила, и он жил как сыч, возделывая грядки, обрезая кусты малины, высаживая новые сорта трав. Была у него мечта — дожить до ста лет.

Московскую квартиру, обставленную немецкой трофейной мебелью, горками хрусталя, коврами, кресла, зачехленные белыми простынями, которые снимались по большим праздникам, Шура не любил. За ним со стены их парадной комнаты вечно зыркали с фотографий лица деда и бабушки в военной форме. Шурику каждый день приходилось проходить через эту залу, чтобы попасть в ванную. Был в этой комнате большой платяной шкаф, который стал для Шуры надежным другом и убежищем. Когда он оставался один или линял с уроков в шко-

ле, то залезал в его чрево и прятался за ворохом одежды, аккуратно развешенной на плечиках.

Детская память Шуры запечатлела рассказы о том, что эта квартира досталась деду от выселения какой-то репрессированной семьи. Было в этом слове «репрессированный» что-то унижительное и для него непонятное.

Три раза в неделю приходила к ним домработница, всегда молчаливая, мыла кафель в ванной, паркет во всей трехкомнатной квартире мазала бордовой мастикой, потом надевала щетку на ногу и терла до блеска.

Деда сейчас не было, он теперь жил до глубокой осени на даче, но странное дело, Шурик без него не чувствовал себя хозяином этой огромной территории. Вчера был последний звонок в школе, его вызвали к директору и объявили, что педсовет решил оставить его на второй год в восьмом классе. Записали в дневник, чтобы пришли в школу родители. Пятерки польской дипшколы довольно быстро превратились в тройки и двойки. Особенно ненавистным был ему «слесаренок», учитель по труду. Он издевался над Шуриком, при всем классе говорил, что он «не достоин своего отца, который такой особенный и весь в заслугах, а он — Шурик — не умеет держать напильник», и что «руки у него растут не из того места». Однажды Шурик пошел в кабинет химии, из шкафа взял то, что плохо пахнет, коробок спичек, веревочку промочил, связал, в комочек закатал и под стул «трудовику» приклеил. Взрывчик был маленький, но запаха и дыма много. «Слесаренок» испугался, побежал в учительскую. Кто-то видел Шуру у химшкафа. Все сходилось — это мог сделать только он. Сил отпираться у него не было. Он плакал, умолял не сообщать «отцу», над ним сжалилась директриса, исключение заменили на взятое у него обещание подтянуться до конца года и установили над ним шефство. Знаний у него было ноль, дома он что-то долго врал о дневнике, поддельывал отметки. Но наступил конец учебного года, а с ним вернулся страх.

После случая с Ланочкой дед сразу переехал на дачку и будто затаился ото всех. Последние несколько месяцев Шурик жил спокойно. О нем забыли. Но теперь каждый день приближал его к страшной расплате.

Сегодня с утра Шурик мучился от невозможности приду- мать, как сказать деду о школе. Он один, Ланочки в Москве нет, ее увезли в санаторий, бабушка не в счет. Когда у него бывали такие дни, он залезал в шкаф, в нем хорошо и безопасно. За ворохом старых платьев бабушки, «выходным» костюмом деда, обувными коробками со старыми носками, устроившись на большом тюке с ненужным барахлом, Шурик сидел на дне, как за плотным театральным занавесом. Прижав колени к подбородку, он вспоминал, как прятался здесь от деда в те дни, когда тот выпивал, ругался на бабушку и кричал в пространство: «Всех в подвал и пулю в затылок!» На дне шкафа он мог отсидеться, чтобы не попасть под горячую руку деда, а бабушка говорила: «Шурочка ушел к соседу готовить уроки».

На душе у него сейчас было особенно мутно. Страшно представить, что мог с ним сделать «отец». У него стала кружиться голова от сильного запаха нафталина, и он вспомнил душливый запах духов матери. Она не приезжала к нему уже несколько месяцев, а бабушка сказала, что «она теперь не одна». Он пошарил в темноте, хотел нащупать дверцу, но вместо этого наткнулся на военный китель деда. Медали, ордена, нашивки, рука его скользнула ниже, вот карман. Сердце Шурика затомилось. В руке он почувствовал что-то гладкое, кожаное и тяжёлое.

Удар ноги — и он выкатился на ковер. После крошечной шкафной тьмы свет из окна ослепил. Шурик сидел на полу. Обеими руками он держал кожаную коричневую кобуру пистолета. Потом он отстегнул пуговичку, и черный блестящий предмет выскользнул ему на колени.

Наверное, прошло минут пять. Нафталинный угар испарялся, глаза привыкли к яркому свету, он почувствовал, что сидит на чем-то мокром. Вскочил, побежал за половой тряпкой. «Бабушка будет сердиться, если увидит, что я ковер испортил», — подумал Шурик. Потом он замочил в раковине трусы и тренировочные штаны, отжал и снёс к себе в комнату. Батареи под окном уже не грели, лето наступало холодное, черёмуха в этом году только доцветала. Во дворе соседка выгуливала чёрного пуделя. Он был недавно подстрижен и напоминал Артемона из «Золотого ключика». Это была любимая сказка Шуры, пере-

читывал он ее бесконечно, а еще слушал по радио. Садился в коридоре на табуретку под радиоприемником и замирал. Голос чтеца был вкрадчивым и убаюкивал. Шура всегда ждал конца, хотя знал его наизусть: Буратино, папа Карло, Артемон, Мальвина спасались от Карабаса Барабаса в камине, за старой занавеской оказывалась потайная дверца, и золотой ключик открывал ее, а там, дальше, был проход в другую сказку. Воображение Шурика уносилось далеко, он представлял себя вместе с Мальвиной-Ланочкой в мире счастья.

Из окна было видно, как пудель во дворе бежит от хозяйки кругами. Она пытается его подманить, поймать за поводок. «Тиша, Тишенька, ну иди к маме», — слышался ее отчаянный голос.

Шурик подошел к своему диванчику. Поднял подушки, потом одеяло, ниже лежала коробка из-под «Скорохода». Он осторожно вынул косу Ланочки, на двух концах перевязанную красными ленточками, чтобы волосы не распадались. Завернул её в ту же гофрированную бумагу и сунул под подушку. На дно коробки он положил пистолет.

На последний пригородный автобус Шура не опоздал, он приезжал в дачный посёлок к девяти часам вечера. Автобус был битком набит мамашами с сумками и детьми разного возраста. Суббота, начало каникул, все полчаса он был зажат между толстой теткой и вопящим младенцем.

Почти в сумерках Шурик бежал от автобуса до дачи. Коробка будто прилипла к его телу. На участке деда уже не было, только курился догорающий костер из сухих веток. Окна закрыты, занавески задёрнуты, внутри домика будто никого. Шурик осторожно нажал на ручку двери, она мягко поддалась и пропустила его в коридор. Вот кушетка Ланочки. В темноте он присел на неё, перевел дыхание. Где-то в глубине дома слышалась возня, странные звуки. «Нужно сосчитать до десяти», — подумал Шура, сердце его билось как молот, и тут он услышал истошный женский крик:

— А-а-а!!!

Шура так испугался, что в первую минуту словно окаменел, потом бросился в комнату деда.

«Владилен Иванович, что с вами? А-а-а!!!»

Спиной к Шурику на железной кровати сидела совершенно голая их домработница. Впившись в безжизненное тело двумя руками, она сильно трясла его за плечи. Дед лежал на спине с выпученными в потолок глазами, рот его был открыт так широко, будто он застыл в вечном парадном крике «Ура!».

Пистолет выскользнул и со стуком упал на пол. Голая баба осеклась в крике и обернулась.

— Шурик, ты только не говори бабушке, — совершенно спокойно сказала баба.

Шурик подошел к деду и посмотрел на его толстый волосатый живот, ткнул в него пальцем, жир заколебался, будто пленка на остывшем клюквенном киселе.

— Он умер? — спросила домработница.

Шурик почувствовал, как противный комок подступает к его горлу, потом затошнило, и блевотный фонтан выплеснулся на голое тело «отца».

ДРУГОЙ ОТЕЦ

Прошло лето. Бабушка продала дачку. Её купил сосед, военный отставник. У него на участке за забором были «хоромы». Домик деда он снес, на этом месте построил гараж. Женьшень и облепиху выкопал, засадил все георгинами, а в теплом углу на магистральной трубе сколотил баньку.

Однажды Шура услышал, как бабушка дольше обычного шепчется с почтальоншей.

Вечером она присела на край его тахты и сказала:

— Шурик, ты хочешь поехать жить в Ленинград, к своему папе?

Он не знал, что ответить, язык его прилип к небу, а в голове мелькнуло: «Значит, он жив, он не летчик, который погиб во время войны?» Он втайне всегда надеялся, что его отец — герой и что его нет в живых, а то, как говорил о нем дед, — все ложь.

— А как же учительница музыки? — спросил Шура.

— Слушай, тебе уже четырнадцать лет, ты хорошо играешь на рояле, у тебя абсолютный слух, а твой отец найдет тебе

другую учительницу в Ленинграде. Твоя вторая бабушка, мать отца, — профессор Консерватории.

— Бабушка, а ты мне будешь посылать пироги с малиновым джемом в Ленинград?

— Шурик, я обещаю, что буду каждый месяц посылать тебе пироги, — она поцеловала его и накрыла до самого подбородка атласным стеганым одеялом. Чистые простыни пахли крахмалом, бабушка погасила свет и прикрыла за собой дверь. Впервые Шура заснул счастливым сном без сновидений.

Через две недели, придя из школы домой, он увидел на вешалке черную фетровую шляпу и пальто из драпа необычного песочного цвета. Вкусный шлейф сигаретного дыма дошел и до прихожей. Кто-то сидел в парадной комнате, слышались звуки разговора, позвякивание чайных ложек.

— Шурик, иди сюда! — позвала его бабуля.

За круглым столом, накрытым парадной скатертью, на расчехленном стуле сидел крупный мужчина лет сорока. В одной руке он держал чашку чая, а в другой дымящуюся болгарскую сигарету «Джебел». Бабушка разрежала торт с кремовыми розочками. Красавец отложил сигарету и протянул к нему левую руку.

— Алик... Шурик... сынок, — смущенно сбивался он. Мужчина крепко притянул Шурика к своей груди и сдавил в объятиях. — Ах, как долго я ждал этого дня! — достаточно театрально воскликнул отец.

Худенькое тело подростка мелко дрожало в объятиях этого гиганта. Ему стало очень страшно, точно так же, когда он понял, что его «отец» умер. Он никогда не мог даже вообразить, что у него такой отец! «На кого он похож? Я его где-то уже видел! Фотография такая есть у моей пианистки, он ее любимый певец. Да, точно, это Шаляпин», — мелькало и путалось в голове у Шурика. Он набил тортом полный рот, сидел напротив и с восторгом смотрел на мужчину.

— Шурик, посмотри, как ты похож на папу, — лепетала бабуля.

Они и вправду были чем-то схожи; форма рук, длинные пальцы, как у пианиста, миндалевидная форма ногтей, кавказ-

ская чернявость, волосы густые, глаза большие, чуть навывкате, только у отца в глазах что-то светится, а у Шуры вечное выражение тоски и потухлости. Короче, этот мужчина был лебедем из сказки, а Шурик гадким утенком.

— Ты поедешь со мной в Ленинград? У тебя там есть сестренка, она младше тебя на два года, ее Катюша зовут.

Он не знал, как себя вести рядом с этим человеком. От навалившегося на него счастья все мысли в его голове перепутались. Шурик ел уже пятый кусок жирного торта, он не понимал, о чем говорит этот красавец, смысл разговора долетал до него, будто с небес, он слушал голос мужчины, как музыку. Слово «папа» он выговорить не мог, и не потому, что не верил ему, а потому, что суеверно боялся: вдруг он опять растворится и исчезнет.

Сборы были быстрыми, через два дня они сели в ночную «Красную стрелу», и она их домчала до города-героя Ленинграда. Потом пятнадцать минут на такси, и они уже в семье отца.

Дом в центре города, квартира огромная, будто музей, вся заполнена предметами, не такими, как у них в Москве, а другими. Мебель старинная, незачехленная, похожа на рухлядь (дед бы на дрова перепилил), зеркал много, книг повсюду набросано, в шкафах их больше, чем в школьной библиотеке, и рояль.

Жена отца, тетя Мила, ласковая, заботливая, сразу обняла и в комнату повела. Он у себя дома. Дочка у них, девчонка красивая (вся в отца), говорливая и шумная, на следующий день Шурика со всеми своими друзьями перезнакомила. Теперь они и его друзья.

Отец и вправду оказался человеком необычным. Он был артист, играл в театре и в кино снимался. Шурик, когда его за столом у бабушки первый раз увидел, сразу подумал: «Где-то я его видел», а сейчас он все вспомнил, и фамилия у них одна. В кино он командира одного здорово изображал, грима на нем почти не было. Шурик этот фильм несколько раз по телевизору у Ланочки видел. В свой театр, который за «Катькиным сквериком», отец его сразу повел, за руку крепко держал и со всеми знакомил. К нему большой почет и уважение, он заслуженный и народный, играет разные главные роли.

Часто после спектакля, уже за полночь, когда отец и тетя Мила возвращались из театра, у них собирались друзья. Не было для них выходных и праздников. Всегда они работали, творчески горели, создавали образы и с друзьями обсуждали. «Творчество» было самым главным словом, вокруг него крутились все разговоры, о деньгах не говорили никогда, это считалось позорным. Да и зачем? Зарплата у отца и его друзей была большая, Катя говорила, что «как у академика». Иногда на отца нападала тоска и самокритика, тогда он был не доволен собой, пытался оправдываться, больше курил.

— Хватит мне входить в образы современных героев, чувствую, что нужно отказываться, переходить на классику. Вот сыграл я в 48-м Дон Жуана в кино, а Мила была донной Анной. Ах как хорошо получилось! Так Сталин этот фильм запретил, сказали в Комитете, что несвоевременно и неактуально, положили на полку. Пора, пора думать иначе, пришло другое время, а я должен учиться у него, доверять молодому поколению.

Шурик за столом часто к этим разговорам прислушивался и с трудом мог понять, о чем они спорят. Однажды он Катюхе и тете Миле признался: «Не могу разобрать, как-то вы все чудно говорите, будто не на русском языке. В Москве я все понимал, а теперь нет».

Катюша только рассмеялась, а тетя Мила ласково его пожалела и сказала, что со временем он привыкнет к художникам и актерам и все поймет. Шурик вспоминал, как дед презрительно восклицал: «Бохэма!»; что он имел в виду и к кому это относилось, стало теперь очевидным.

В семейно-дружеских застольях отец был душой компании, смешные театральные истории рассказывал всем, анекдоты о Хрущеве — только среди «своих». Как он их распознавал, Шурик понимал с трудом. Он знал, что отцу доверяли не только в театре, вот почему он дружил и с разными военными, с ними он шептался о других людях. Шурик им в разговорах помехой не был, да и они его не смущались. Частенько он оставался в кабинете отца, тренькал на гитаре в уголке, а отец с «ними» коньячок выпивал и о разных разностях беседовал (в основном о коллегах по театру). Катюшу, когда эти люди приходили, отец

всегда из комнаты выпроваживал, шутливо говорил: «Это не женские разговоры, они скучные», а Шурик гордился, что ему доверяют, ведь он не из болтливых: «Вот видел бы дед, с кем мой отец встречается, иначе бы заговорил, тут не «бохэма», а подымай выше, на государственный уровень».

Шуре нравились тайны, и он их умел хранить. Никто никогда не узнает, куда он закопал пистолет, а домработница после смерти деда испарилась в неизвестном направлении.

Бывало, что у отца начинались тяжелые нервные срывы. Тетя Мила говорила, что это от переутомления. Тогда у него возвращался нервный тик (как у Шурика с глазами), он страдал и не мог играть на сцене, им дорожили в театре, поэтому сразу давали отпуск, и он уезжал на дачу в Репино.

Этот дом был его страстью, отец многое в нем построил собственными руками и говорил, что за домом нужно ухаживать, как за женщиной, — постоянно. Однажды он Шурика взял с собой. «Приучайся быть хозяином. Пора становиться мужчиной». Шурик настолько ненавидел дедовский дом, что не разделял страсти отца, но смолчал, губы поджал и через себя переступил.

На большом участке, заросшем соснами, возвышался дом-башня, на другом конце лесочка стоял сарай. Крыша его текла, а потому пришла пора ее починить. Местный шабашник привез отцу за поллитру большую железную бочку, в нее набросали куски дегтя— смолы, а Шурик разжег под бочкой костер. Рулоны черного рубероида они нарезали сами, получилось не очень ровно, какие-то куски были короткие, а другие — длинные. Потом отец переделся в тренировочный костюм, надел большие рукавицы, на ноги — резиновые сапоги и полез по стремянке на крышу.

— Шурик, теперь рубероид подавай, я буду его класть, а потом мы горячей смолой все покроем.

Костер разошелся не на шутку, смола расплавилась и кипела, листы рубероида скручивались в руках у Шурика и никак не хотели слушаться. Весь он был в царапинах, ожогах и синяках. Отец на крыше совершенно преобразился, он настолько вошел в образ, что даже, вперемешку с матком и песней «Не

сталева­ры мы, не плотники», стал подшучивать над Шуриком. Ра­бота не очень спорилась, а у Шуры с непривычки разбо­ле­лась спина, он потом всю жизнь говорил, что ему позво­ноч­ник отец сло­мал на до­ме. А еще ему было неприятно вдруг уви­деть в отце не светского льва, а в роли како­го-то работяги. «Навер­няка он и меня держит за под­ма­стерье, вот и дед так ду­мал», — мелькало в го­лове Шуры. А на самом деле он ведь был талант, будущий музыкант, может быть певец, пока никем не понятый, не услышанный, но ведь все проходили через неизвестность. Из домашних застолий и от друзей отца он уже вынес, что так всегда нужно, пройти в искусстве через унижения, это как очищение. А потом обязательно придет слава. Но зачем отец его унизил на этой стройке, он никак не мог понять. И затаил на него обиду.

ТЁТЯ МИЛА

Когда он её первый раз увидел, то сразу подумал, что отец его мать бросил из-за нее. Потом он окончательно решил, что это она отца у его матери отбила. Странно, почему тетя Мила его так любит? Он же пасынок. Ясно, это чтобы отцу угодить. Дочку Катюху все принижает и ровней к нему делает, называет его «дорогой Шурочка», покупает шмотки, сама сшила ему модное пальто, брюки, свитера шикарные вяжет, стихи с ним наизусть учит, чтобы он на актерский факультет поступал. Притворство одно. «Просто она отца боится, а на самом деле я ей совсем не нужен». Вспомнил он мать, какая она была гордая, неприступная, именно такая женщина должна быть рядом с отцом. Мать его всегда знала, как действовать, и деду с бабулей говорила: «Я все знаю сама и унижаться ни перед кем не буду».

Он теперь видел, сколько вокруг отца разных бабочек кружится. С некоторыми он и его познакомил. Сидели они тогда в кафе Дома актера, а рядом с ними одна барышня. Она засму­щась, с открыткой подошла и просит у отца автограф. Девушка высокая, блондинка, с длинными волосами, как у «колдуньи» в кино. Отец ее за руку хватить и притянул к ним за столик. Тут они впервые выпили вместе красного вина. Она ему очень по-

правилась, но после ресторана отец ее поехал провожать, а его отправил пешком домой: «Проветришься немножко, небось голова закружилась». Опять унизил, да прямо перед ней.

Подрастал Шура плохо, был худосочным, на лице высыпали к семнадцати годам прыщи. Школу он так и не осилил, а потому отец его спас, отдав в ШРМ*, потом кое-как на тройках получил он «Аттестат зрелости» и поступил в музыкальное училище. Это бабка-профессорша его по блату протасила. Хоть и были у него способности, но, конечно, без «поддержки» он бы не потянул. В последнее время у него все чаще стало мелькать в голове, что его музыкальные таланты никто не видит, а во всем виноват отец. Его слава затмевает талант Шурика. И так будет всю жизнь.

А сегодня утром они были дома одни, и отец позвал его на кухню. На столе рядом с тарелкой каши «Геркулес» лежал почтовый конверт. Шурик сразу узнал почерк.

— Вот получил письмо от твоей бабушки...

Шурик весь сжался и от волнения хлебнул горячего чая, да так, что обжег весь язык и небо.

— Она пишет, что твоя мать вышла замуж. — Отец достал письмо из конверта и передал его Шурику.

Он всматривался в слова, аккуратным школьным почерком заполнившие полстранички тетрадного листка, и ничего не мог понять. «Как же она могла меня бросить?» — подумал Шурик. Эта мысль, как буравчик, вошла в его голову. Он растерялся и не знал, как реагировать на эту новость. От матери он никогда не получал писем, только однажды она прислала конверт и в нем свою фотографию. На черно-белой, сделанной в фотосалоне ретушированной картинке изображена была довольно молодая блондинка, с высокой прической взбитых волос. Плечи оголенные и прикрыты шелковой шалью. Было впечатление, что под ней она совсем нагая. В углу фотографии по диагонали было написано: «Дорогому сыну на память от мамы».

Однажды тетя Мила позвала его к телефону и сказала, что сейчас он сможет поговорить с матерью. У нее сегодня день

* Школа рабочей молодежи. — Прим. ред.

рождения, и она специально заказала междугородний разговор для Шурика. Он довольно долго сидел у телефона, в трубке минут пять он вслушивался в странный треск, шипение, чужие голоса, наконец раздались длинные гудки. На другом конце провода никто не брал трубку. Противный голос телефонистки сообщил: «Абонент не отвечает», и все оборвалось.

...Слова отца вернули его из воспоминаний.

— Шура, ты должен, наконец, знать правду. Я никогда не бросал твою мать. Она забрала тебя грудным, в три месяца и уехала в Москву. Ей, видишь ли, не понравилось, что я плохо топлю печку! Мы тогда в сорок шестом жили в коммуналке, театр вернулся с фронта в Ленинград, все не обустроено, я был рад, что мне дали хоть эту комнатенку с печкой... В городе голодно, холодно. Мать твоя приехала из ташкентской эвакуации, где жила со своими родителями, как сыр в масле каталась. Думаешь, дед твой воевал? Да он в тылу отсиживался, лычки получал, от голода не пух. Трудностей моих она не понимала, и довольно быстро ей все надоело. Я умолял ее потерпеть, но она уехала, подбросила тебя к своим родителям. Твоя тетка мне всегда о тебе писала... — Отец был сильно взволнован. Он подошел к Шуру и обнял его.

— Но ты видишь, как мы любим тебя и хотим, чтобы тебе было хорошо у нас. Тетя Мила к тебе относится, как к родному сыну.

— А почему ты ко мне не приезжал? — спросил Шура.

— Так ведь твой дед грозился меня убить! Твоя мать наговорила им небылиц, будто я ее избивал и специально голодом морил! Он письма в партком театра на меня писал, меня вызывали, хорошо, что мне доверяют и я на особом счету.

Нет, Шурик не поверил ни одному слову из рассказа отца. Он допил остывший в стакане чай, взял письмо и вернулся к себе в комнату. Через час у него начинался урок в музучилище. Выйдя на улицу, Шурик решил домой больше не возвращаться.

* * *

Он сидел на каменных ступеньках у самой Невы и сплевывал в воду набегавшую горькую слюну от папиросы. С непри-

вычки первая затяжка всегда вызывала головокружение. Рядом мужичок с удочками терпеливо ловил бычков. Запах корюшки разносился по всей набережной, совсем рядом на открытом лотке торговали рыбой. Тетка в промокшем, скользком переднике сердито переругивалась с растущей очередью, наваливалась в толстую серую бумагу серебристую рыбешку.

Шура никак не мог понять, почему в его новой семье он так одинок. У деда в Москве он тоже был один, окружен страхом, и ему так не хватало любви. А здесь страха нет, любви много, а радости у него никакой. В последнее время ему все больше казалось, что он никому не нужен и что семья, особенно тетя Мила, им не дорожит. Письмо из Москвы его сразило окончательно.

Вот и решил он всех испытать.

Городские часы на соседнем углу показывали шесть часов вечера. «Нужно вернуться домой после десяти. Пусть поволнуются». Он представил, как отец вызванивает своим знакомым офицерам, а тетя Мила пьет валерьянку. Сестра тоже всех своих друзей обзвонит. Может быть, и в Москву будут дозваниваться?

Ветер усилился, начался дождь, вода стала прибывать и уже заливала гранитные ступеньки. Шура поглубже натянул шерстяную шапку с помпоном и поднялся на набережную. Петля и переходя мосты, заворачивая во дворы, греясь в парадных и телефонных будках, он добрел до их дома. Перешел на противоположную сторону и посмотрел на фасад. Было десять часов, на улице сумерки, а окна их квартиры все освещены.

Обычно тяжелые занавески задергивают после восьми вечера, а тут забыли. Отца наверняка еще нет, он в театре, а тетя Мила сегодня дома, на больничном, у нее ангина. Шурик улыбнулся, представил картину паники и суматохи в семье. «Ничего, пусть поволнуются. Им полезно».

Стал накрапывать дождик, и Шура скрылся под арку. Отсюда окна их не видны, только входная дверь с улицы. Он увидел, как подъехало такси, отец выскочил из него, пальто в руке наперевес, шарф тянется из кармана, видно, так спешил, что не успел толком одеться. Сколько прошло времени, Шура не знал, но из глубины двора к нему приблизился человек.

— Ты чего здесь стоишь? Я за тобой давно наблюдаю. Ждешь

кого? — Вид у мужика был странный, возраста неопределенного, на голове потертая солдатская шапка-ушанка.

— Да так, жду приятеля... — неуверенно ответил Шура.

— Слушай, парень, составь мне компанию, давай выпьем. Согреемся, а то ведь совсем околеть можно. Ну не здесь, конечно... Идем, идем, тут внизу кочегарка, там тепло.

«А почему бы и нет, — подумал Шура, — погреюсь, а потом все-таки домой. А им полезно попереживать». В кочегарке было жарко и сумрачно. Одна тусклая лампочка болталась на длинной витой проволоке. Пахло горячей угольной пылью. Мужичонка достал из бушлата бутылку, поставил ее на железный столик, застланный клеенкой.

— Садись, гостем будешь, — указал он Шуру на кучу угля, покрытую старой мешковиной. В граненые стаканы потекла бурая жидкость. Шура одним глотком хватанул полстакана. Ничего подобного он не пил! Очень редко отец наливал ему красного вина или шампанского, да и то по праздникам. Тетя Мила оберегала его от крепких напитков, говорила гостям, что ему еще рано употреблять и что он должен укреплять свои нервы спортом, а не алкоголем.

Шура с утра ничего не ел, и последнее, что он помнил, будто тусклая лампочка в кочегарке перегорела. Он провалился в жаркую пустоту.

Сколько он проспал, было не понятно, и потому не сразу понял, где находится. Мужик исчез, лампочка по-прежнему тускло освещала кочегарку. В соседнем отсеке кто-то лопатой загребал уголь и с шумом кидал в печь. Шура пошарил в темноте и нашел свою кожаную папочку, с ней он ходил на занятия музыки. Он вышел во двор. Ему очень хотелось есть.

Раннее ленинградское утро встречало его ветром и солнцем. Люди спешили на работу. Совершенно естественно он перешел дорогу, вошел в парадное, поднялся на свой этаж и чуть не перевернул цинковое ведро с помойными отбросами. Ключи он оставил вчера в большой комнате на столе. Позвонил два раза, так обычно у них звонили все свои. Дверь сразу открыла тетя Мила.

Она, видно, проплакала всю ночь, потому что лицо было опухшее, глаза красные. Но жива.

— Отец дома, у себя в кабинете, работает, — как-то смущенно пробормотала тетя Мила и поспешила в глубь квартиры. Шура прошмыгнул к себе в комнату.

КАТЮША

Одежда его насквозь пропиталась шлачным запахом. Он сбросил с себя все, свалил в углу, прямо на голое тело надел тренировочный костюм, взял гитару и забился в угол топчана. Стал натренькивать. Что-то совершенно бессмысленное лезло ему в голову. Уставившись перед собой в одну точку, Шура с трудом пытался представить, что же ему теперь делать. Он понимал, что ничего не понимает! Шум от мыслей, скорее, напоминал заглущку «вражьих голосов», которые отец слушал на даче в Репино. Адские карусели в голове вращались все быстрее и быстрее, музыка все громче, громче, громче... и казалось, что кошмару нет конца. В последнее время он нашел способ снимать эти звуки, помогало только одно — выпить чего-нибудь покрепче.

Живот у Шуры поджимало от голода. И только он решил прошмыгнуть на кухню, как открылась дверь и на пороге возникла Катюша.

— Сердце у тебя каменное, и добра ты не понимаешь! Я давно за тобой замечаю, что ты себе на уме. Сидишь и на гитаре тренькаешь, а мы чуть с ума не сошли, родители весь город на ноги подняли... В Москву звонили, подумали, что ты к ним поехал. — Дверь за ней с треском захлопнулась.

Пустой желудок сводило, будто собаки кусали. Как быть? То ли самому идти к отцу и мачехе прощения просить, то ли выждать? В квартире стояла мертвая тишина. Так хотелось есть, что он не выдержал и тихонько приоткрыл дверь. Как вор, на цыпочках он пробрался к холодильнику на кухне, открыл тяжелую дверцу «Севера». В карманы спортивных штанов сунул кусок колбасы, бутылку кефира и запустил руку в кастрюлю с супом. Большой кусок холодной говядины, облепленный вареной картошкой, он запихнул целиком в рот. Скользкие жирные

руки отер о себя, достал из хлебницы батон и бесшумно вернулся в свою комнату.

Никто с Шурой не разговаривал, проработок не делал.

Утром на кухонном столе он нашел приготовленный завтрак и деньги, рядом записка: «Для пропитания», без подписи, а почерк Кати.

Так в семье у Шуры началась другая жизнь, если с отцом пересекались — здоровались, Шура с надеждой в голосе, а отец сквозь зубы. Тетя Мила всегда в рот отцу смотрела, а тут совсем ступевалась. Катюха свой тон тоже сменила, шуточки оставила и на него, как сквозь стенку, смотрит. День за днем, неделя за неделей. Шура деньги экономил, покупал себе жарчку, хранил ее в сетке, вывешивал в форточке за окном (боялся, что их домашний кот сожрет). Он не знал, что нужно сказать отцу и мачехе. Чем дальше шло время, тем атмосфера в доме становилась тяжелее.

* * *

Шура своей единокровной сестры боялся и обожал её. Внешне Катя была похожа на мать — не по возрасту высокая, худенькая, модно одетая, а характером в отцовскую породу. Он завидовал ее веселой общительности, легкости ума. В свои шестнадцать лет она выглядела старше и пользовалась успехом не только у сверстников, но и у «стариков». Было в ней что-то огненное. Он ей как-то со злобой сказал: «Подожди, скоро выльют на тебя ведро воды и погасят твой костерчик». Шурик надежно хранил один секрет, он за Катюхой много и часто подглядывал.

От этого он влюблялся в нее еще больше. Ревновал ко всем. Когда звонил телефон, он старался схватить первым трубку и, если слышал: «Позовите Катю», отвечал: «Катя ушла в кино с...», ляпал наобум имя, лишь бы отфутболить поклонника, это помогало, но ненадолго.

Был у отца любимый ученик. В этом году он готовил выпускной спектакль в институте. Приходил почти через день репетировать. Катюша им брезгала, и сердце ее замирало от страха, когда они оставались наедине в квартире (она сама Шу-

рику об этом говорила). Началось с того, что ученик должен был разучить танго для своего спектакля и отец для тренировки предложил ему Катюшу. Отец сидит иногда в комнате, иногда отсутствует, пластинка крутится, музыка льется, они танцуют, ученик реплики разучивает, входит в образ, а она посмеивается над ним. И вдруг как оттолкнет его от себя да закричит: «Фу, какой ты противный! Весь липкий, да мелко дрожишь, не смей ко мне прикасаться!» И убежала к себе в комнату. Шурик все это наблюдал из своего угла. Студент побледнел, чуть в обморок не упал. С тех пор Катюша избегала его и, когда он приходил репетировать, старалась из квартиры исчезать. А студент стал сходить по ней с ума, под окнами дежурил, звонил по телефону, молчал и сопел в трубку.

Однажды Шура издалека его заметил на улице. Снег мокрый шёл, народ после работы серой толпой валил из метро, студент с шарфом до глаз, челка до бровей, дублёнка солдатская с поднятым воротником, выслеживает жертву, а она перед ним в толпе, худенькая, немолодая женщина. Он её настиг, под ручку взял, и та размякла. Шура успел заметить, что парень шарфом вязаным большой фингал под глазом маскирует.

Катя не была легкомысленной девушкой, но так себя свободно держала, что некоторым приходило в голову её осуждать. Она много читала, её тянуло к взрослым разговорам, допоздна оставалась с друзьями родителей, вслушиваясь в их заумные беседы. Отец обожал её — она обожала его! Он гордился ей — она гордилась им! Шурика обижало, что она относится к нему несерьёзно, поучает его, а он ведь старший брат. Шура её однажды оборвал и брякнул: «Яйца курицу не учат», это он от деда вспомнил. Катя со смеху чуть не умерла.

Вот и решил он однажды её проучить, чтобы не слишком зазнавалась.

Случайно Шурик узнал, что спецшкола Кати собирается устроить субботник в той ШРМ, где он учился. Он с ребятами из «рабочей молодежи» до сих пор встречался, бывало, они его в свои компании звали, он им на гитаре блатные песни пел, курили, выпивали, девчонок простых лапали, они от Шуры млели, знали, что его отец — знаменитый артист.

Договорился он со своими приятелями, как нужно Катю напугать.

Приехали умники из спецшколы на субботник в ШРМ строительный мусор после ремонта убирать. Должны были они его с одного места в другое таскать и сваливать на пустыре у заброшенных баракаов. Выследили Шурины дружки Катюху, и когда она с подружкой мусор на носилки навалила да его к баракам притащила, они тут как тут. Человек шесть, с шутками девочек окружили; они сначала решили, что с ними шалят и заигрывают, стали отшучиваться, а те к баракам их оттесняют, посвистывают, похохатывают. Катюха с подружкой в барак побежали, думали, что там спасение, может, люди есть. А там никого, пустые стены, выбитые окна. Парни стали их по этажам гонять, подружке дали убежать, она в слезах кинулась за помощью. Катя случайно в какую-то комнату влетела и дверь за собой успела закрыть, тихонечко присела на корточки, к стенке прижалась, замерла. Но не прошло и пяти минут, как дверь ногой выбили. Окружили её.

— ...Какой у тебя розовый плащик хорошенький! Это где же мы такой нашли? — И руками хватать за пуговицы. Двое из них сзади уселись на подоконнике, что-то на пальцах покручивают, похоже на веревку, один на стреме стоит, а трое совсем близко от нее. Дух от них несвежий, глаза страшные — Катя эти лица на всю жизнь запомнила.

И тут Шура входит.

— Ребята, да вы что? Это же моя сестра!

Она к нему метнулась, сначала обрадовалась, а потом её, как током, прошибло, и она кубарем с лестницы скатилась да по пустырю бежать.

Дома Катя об этом ничего не рассказала, только стала с тех пор свою дверь на ключ запирать.

ПЕРЕЖИВАНИЯ

Странно, но все чаще Шуре казалось, что он живет не своей жизнью. В Москве он был один, а в семье отца он чувствовал себя птицей в золотой клетке. Ему хотелось разговаривать, как

Катя, быть начитанным и умным, как ученики отца, уважаемым и знаменитым, как отец, и чтобы его боялись, как деда. Но ничего не получалось, собственных мыслей не рождалось, и он, вроде попугая, повторял услышанное. Его все больше тянуло к старым друзьям. Они его ценили, с ними было просто, без зауми.

Через две недели у него начинались зачеты и экзамены в музучилище. Если он провалит сессию, то маячила армия. Он настолько все запустил, что даже авторитет бабки-профессорши был не в силах ему помочь. Обстановка в семье давила пудовым прессом, и никакого выхода из неё Шура не видел.

В этот день он сбежал с уроков и брел по Невскому. Солнечная сторона проспекта была запружена толпой. Июньское солнце припекало, отчего народ разомлел, словно весенние мухи. Все скамейки перед Казанским собором были заняты. Парни поскидывали с себя свитера, девушки подставляли бледные личики под витаминные лучи. В такие редкие дни у всех на душе возникает надежда на счастливое будущее. Шура поднял глаза, посмотрел в чистоголубое ленинградское небо, прищурился; солнце его так ослепило, что он всем телом налетел на человека.

— Шурка, привет! Давно тебя не видел! — Перед ним стоял отцовский любимчик. — Слушай, как хорошо, что я тебя встретил. Приходи ко мне завтра, праздную отвальную, меня распределили в Горьковский театр. Ну да это, надеюсь, ненадолго. В такой дыре я сидеть не намерен, твой отец обещал меня к себе в театр перетащить. — Студент выглядел возмужавшим и самоуверенным. Шура обещал прийти на вечеринку с гитарой.

На следующий день, в воскресенье, он проснулся поздно. В квартире слышались возня, шум, смех отца, кто-то пробежался по коридору, и Катин возглас эхом на лестничной клетке: «Папуля, ты, когда прилетишь, обязательно нам с мамой позвони. А то мы волноваться будем!» Входная дверь захлопнулась. Отец, видимо, улетел на гастроли.

Шура попытался вникнуть в тетрадки, почитал списанные конспекты лекций, в понедельник он должен сдавать теорию музыки. Часам к семи вечера он решил, что пора идти к студенту. У него оставалось три рубля, он зашел в гастро-

ном на углу и купил бутылку «Гамзы». Студент жил на Петроградской стороне, недалеко от Зоопарка. Шура легко нашел дом, поднялся по широкой заплыванной лестнице на второй этаж. Звонков на двери было несколько, фамилий под ними в темноте не разобрать, он нажал наугад, и ему в ту же секунду открыли. Старушка видно «дежурила» за дверью, проверяла. Коммуналка запахами и убранством ничем не отличалась от тысяч других ленинградских квартир. Из глубины коридора слышались молодые голоса — народ уже гудел! Дверь студента была полуоткрыта, в комнате было так накурено, что Шуриного появления никто сначала не заметил. Человек двадцать разнополых существ пили, жевали, танцевали, хохотали и о чем-то спорили.

— Шурка, давай, проходи, не стесняйся, пролезай за стол, да смотри на колени девушек не упади. — Студент был возбужден и уже сильно навеселе. Шура с трудом протиснулся по краю стола, жаркие тела раздвинулись, и он шлепнулся в мягкое логово диванчика.

— Вот, друзья! Это сын моего профессора, — старался всех перекричать студент, — он будущая эстрадная знаменитость! Он нам сейчас споет!

«Давай, давай! Спой нам Высоцкого или романс какой!», — просили все, и отказать он не мог, да и не хотел, для того и гитару прихватил.

В тарелку ему что-то навалили, в стакан «штрафную» водки плеснули, он это все с маху хватанул и запел.

Комнату, разделенную пополам ситцевой шторкой и огромным шкафом, студент снимал на пару с однокурсником. Потолки — за четыре метра, окно огромное, обои засаленные, на них бородатый Хемингуэй на кнопках, через всю комнату ряды бельевых веревок, сейчас на них только прищепки торчат. Обстановка убогая, но скрашивалась она веселой компанией и чувством, что пройдет несколько дней и эта комната будет для студента ломтем отрезанным, а впереди маяком брезжила блестящая актерская карьера. Шуру общее волнение захватило, и ему самому стало казаться, что он один из этих счастливицков. Вокруг яростно спорили о «поиске и построении образа», целовались, танцевали под

магнитофон, кто-то скрылся за шкафом. На пространстве в двадцать пять метров бурная жизнь была ключом.

— Надька, моя Надежда-а-а!.. — по-козлиному пропел студент. — Ты где-е-е?!. Иди сюда-а-а!..

Ситцевая занавеска раздвинулась, и Шура обомлел: в центре комнаты стояла блондинка — это была «колдунья», та самая, которую когда-то провожал отец.

Девушка стала еще красивее, она производила впечатление, знала об этом. За ее спиной, в тени шкафа маячил какой-то парень. «Колдунью» втиснули рядом с Шурой, она его не узнала, взяла сигарету и закурила. Вид у нее был безразличный, даже скучающий.

— Надюха, ты нам должна Цветаеву почитать, — заплетающимся языком потребовал студент. На радостях и от адской смеси всех напитков он настолько окосел, что почти лежал на столе. Колдунья молча достала из сумочки пачку потерятой бумаги, огарок свечи, сунула его в пустой стакан, электричество сразу вырубил. Сигарета словно прилипла к ее длинным маникюренным пальцам.

— Слушайте, слушайте, все внимание! — слышались вокруг возбужденные голоса.

Надя перебрала листочки «самиздата» (это слово Шура знал), выпрямилась и преобразилась. Голосом низким с хрипотцой она стала читать Марину. Шура сам не понял, в какой момент его рука потянулась к ее талии, потом скользнула выше, второй рукой он гладил ее животик. Она продолжала читать стихи упоенно, будто в экстазе, выражение лица отчужденное, кончики пальцев дрожат, пепел сигаретный вот-вот на колени упадет и колготки прожжет. Стало скучно, народ стал позевывать, кто-то уходил, студент окончательно выпал в осадок, и его унесли за шкаф.

Потом все произошло само собой. Свеча расплавилась, стихи закончились, Шура с «колдуньей» остались вдвоем. Сумерки комнаты и магнитофонный голос Нат Кин Кола сделали свое дело, Шурина рубашка взмокла от пота, а опытные руки девушки проделали с ним то, о чем он так давно мечтал, млея и подозревая.

* * *

Его кто-то давно пытался разбудить, тормошили, встряхивали. В комнате было темно. Шурина голова раскалывалась от боли, в пересохшем горле словно напильником скребли.

— Эй, парень, вставай. Пора уходить, — это был ее голос.

Они вышли на улицу, было три часа утра.

— Слушай, я живу на той стороне, а мосты уже разведены, — сказала Надя. — Что делать будем?

— Пойдем ко мне, — решительно сказал Шура.

— А твои предки возражать не будут? — позевывая, спросила «колдунья».

— Да у меня своя комната и ключ. Какое им дело, это их не касается.

Пешком по ночному городу через двадцать минут они уже были в конце Кировского проспекта. Вздрыбленный мост пропускал по Неве баржи, справа Петропавловка, слева их «дворянское гнездо». Шура толкнул тяжелую дверь, но она оказалась запертой. Пришлось стучать, будить лифтершу, она, конечно, долго не открывала, в лицо им фонариком светила, потом узнала Шуру.

— А это кто? Посторонним ночью нельзя! — решительно заявила вахтерша.

— Да это моя двоюродная сестра, из Москвы сегодня приехала, — соврал Шурик.

Тетка что-то буркнула сердито, но спорить не стала, зашаркала к себе в будку под лестницу. Чтобы лязг лифта не будил соседей, они поднялись пешком на нужный этаж, Шура открыл дверь, они проскользнули к нему в комнату, не включая света, быстро разделись и утонули под одеялом.

Экзамен Шура проспал, будильник у него звонил, но Надя руку протянула и во сне его погасила. Шура ей напомнил их первую встречу и как она автограф у отца брала. Ее это совершенно не смутило, наоборот, она даже как-то загадочно хмыкнула. Надя была старше его на пять лет. Училась в Институте имени Герцена, но мечтала стать артисткой. После полудня в квартире воцарилась тишина, мачеха и Катя ушли. Шура с предосторожностями открыл свою дверь и выпустил девушку из квартиры.

Эта первая связь, любовь, вызвала у Шуры чувство собачьего счастья, будто он стал обладателем большой сахарной кости, затащил ее в конуру, стережет и с наслаждением ее обсасывает. В его голове стали прокручиваться всевозможные сценарии их будущего. Он видел себя в качестве мужа, защитника семьи, представлял лицо отца, когда он скажет, что Надя — его невеста. Шура впервые ощутил себя победителем.

В течение недели он тайно впускал Надю в квартиру и поздно ночью выпускал. Иногда они крепко засыпали, мосты разводили, метро уже не работало, и Надя оставалась у него до утра.

Наступили летние каникулы. Сестра закончила одиннадцатый класс спецшколы, переехала на дачу, где готовилась в Университет, театр перешел на летнее расписание, и отец, неезжая с гастролей домой, сразу поехал к семье в Репино.

Шуру оставили одного.

Из шести переходных экзаменов он сдал только два. Пересдать ему их разрешили осенью, иначе грозило отчисление и армия на три года. Он достиг призывного возраста, отсрочку давали по большому благу; хоть отец и мечтал для него не о позорном стройбате, а об элитных частях, Шура понимал, что Надя три года его ждать не будет. Нужно было «закосить» армию, а как это сделать — его обещали научить дружки.

С появлением Надежды он все больше стал замечать, что за ним внимательно следят. Он не мог понять, кто, когда и где. Но он был уверен, что за ним ходят. Среди ночи он просыпался (будто кто его толкал), отодвигал штору у себя в комнате, брал дедовский бинокль и наблюдал за окнами напротив. Иногда ему казалось, что за входной дверью кто-то стоит, дышит. Он резко открывал дверь, но человек успевал исчезнуть. «Видимо, сосед по площадке, — думал Шура, — он видел нас с Надей, теперь завидует». А когда они выходили на улицу, часто оглядывался, узнавал в толпе лицо, одно и то же. Однажды, как в фильмах, Шура резко обернулся и схватил его за рубашку. Держал крепко, пытался кричать, но человек вывернулся и исчез, растворился. Кто эти люди, он не понимал и стал думать, что, вероятно, нашли дедовский пистолет или домработница проговорила, а отцовские дружки из Большого дома теперь

его выслеживают. Самое неприятное, что для этих людей не существовало замков. Он стал обращать внимание, что кто-то наведывается к нему в его отсутствие, роется в его вещах, по незначительным передвижениям мебели и предметам он замечал их посещения.

Шура был уверен, что дежурная лифтерша в доме все знает, и решил с ней поговорить. Как-то он постучался к ней в конторку под дверь. Мужской удушливый кашель курильщика выдал незнакомого человека. Он пулей взлетел на этаж выше и увидел сквозь пролет, как из будки-конторки появился мужик в валенках и военном бушлате. Его подозрения оправдались, они уже заменили тетку на своего человека. И еще одна мысль осенила его. Это проделки отца, он, конечно, знает об их любви с Надей, выслеживает через подставных лиц, хочет навредить и разлучить их.

В один из дней он решил больше никогда из квартиры не выходить.

Надя окончательно перебралась к нему.

Было в ней что-то таинственное для Шуры, иногда она выглядела, как застывший сфинкс. Сядет на кромке топчана, длинную ногу на ногу закинет, волосы прямые до плеч, сигарета в холодных пальцах мелко подрагивает, глаза смотрят в никуда, что-то шепчет, наверняка стихи повторяет. Иногда она приводила с собой подружек, а Шура вызванивал своих корешов, и они устраивали посиделки. Шурины друзья Наде не нравились, она ими брезгала и старалась с ними не разговаривать.

Их утро начиналось после обеда, день заканчивался далеко за полночь. Так проходили дни, и Шура стал расспрашивать Надю о ее прошлом. Она была не очень разговорчива, больше посмеивалась, а Шура хотел все о ней знать. О себе он ей все рассказал, ничего не утаил (кроме как о матери и о пистолете). Чем больше Надя молчала, тем больше у Шуры в голове рисовались картинки из ее прошлого. Когда она задерживалась, приходила на полчаса позже, он устраивал ей сцены ревности, щипал ее до синяков и требовал, чтобы она призналась, с кем встречается. Надя любила отмокать в ванной. Она относилась

туда телефон на длинном проводе, звонила, своим тихим голосом разговаривала с подругами, курила, смаковала рюмочку «клюковки», наводила марафет. Это тоже вызывало у Шуры ревность, и он требовал от нее отчетов и рассказов.

— Ты с моим отцом спала или нет? — этот вопрос повторялся все чаще, а Надя на него не отвечала.

Квартира постепенно превратилась в медвежье логово, пустые бутылки, объедки, грязная посуда на всех столах. Единственное живое существо, которое напоминало о семье, был огромный старый кот Филька. Зубы у него почти все выпали, ел он только протертую треску. Это был Катин кот, но ей сейчас было не до него, она готовилась к экзаменам, а мачеха боялась, что на даче, без присмотра, кот убежит. Вот и оставили они его на попечение Шуры. Расписали ему все на бумажке, приказали в случае чего звонить. Новая жизнь Шуры была привязана к другим мыслям, о протертой треске он не думал, и Филин жрал с утра до вечера остатки колбасы и селедки. Кот был счастлив, но в один прекрасный день от постоянного пережора закуской он стал загибаться. Живот у него раздулся, он громко орал, просил о помощи. Надя сидела над ним, гладила его за ушком и курила.

— Что делать будем? Ветеринара в августе нет, а на дачу звонить и рассказывать, что кот подыхает, я не могу. — Шура вспомнил, что однажды с котом уже была такая история, Катя накормила его печеночным паштетом, и у Фильки был запор. Они тогда вдвоем ставили ему клизму и кота спасли.

Шура пошарил в аптечке, нашел резиновую грушу, наполнил ее водой, кота положили на пол, и Надя обеими руками крепко захватила его лапки, чтобы не вырвался. Шура ввел предмет в задницу Филина. Кот страшно испугался, стал вырываться, дико кричать, живот его раздулся, как большой детский мячик, но Шура накрыл его голову подушкой, чтобы он не поранил Надю, и крепко прижал ее левой рукой. Вода в клизме кончилась, кот успокоился и затих.

— Вот увидишь, сейчас он помчится к себе на песок, встретя, и все будет хорошо, — со смехом сказал Шура. Надя разжала пальцы, лапки кота упали безжизненными тряпочка-

ми; скинули подушку с головы Филина... Выпученные глаза, открытый рот с вывалившимся язычком. Кот был мертв.

Шура этого не ожидал.

Звонить на дачу и рассказывать о случившемся он не мог. Как правдиво соврать — на ум не приходило. Надя предложила сказать, что кот сидел на подоконнике, смотрел на улицу (а это он любил), прилетела птичка, он ее лапкой хотел поймать и бац — свалился и разбился! Версия правдоподобная.

Надя мертвецов боялась, а таких тем более. Она побледнела и сказала, что у нее кружится голова, пошла в спальню родителей и прилегла на кровать. Шура запахнул тяжелое тело кота в наволочку от подушки, потом уложил его в большую коробку из-под отцовских английских штиблет. Картонка была нарядная, гладкая, и отец ее хранил, точно так же как и многие другие импортные упаковки и этикетки от заграничных шмоток. «Красивый гробик для Фильки получился», — подумал Шура.

Просто выбросить кота на помойку Шура не решался, могли соседи из окон заметить, да и коробка слишком выделялась своей броскостью, дворник сразу захочет к себе такую вещь забрабастать, а в ней «сюрприз». Шура усмехнулся, представил рожу их дворничихи. В землю кота зарыть лопаты не было, да и где копать? Он вспомнил, как дед ему рассказывал, что в войсковой части, где он служил, они котят в ведре топили. Но тут не котенок, а котяра, и решил Шура пойти с ним к Неве.

* * *

Он перешел Кировский проспект, мостик, и вот он уже у Петропавловки. Единственное место, где можно было это сделать, был пляж. Народу на нем много, августовская жара пригнала ленинградцев уже с утра к крепостной стене. Узкая полоса серого песка была утыкана окурками и покрыта толстым слоем шелухи от семечек. Бронзовые от загара тела мужиков прижимались к каменной кладке, среднего возраста дамочки лежали в застывших позах, стыдливо прикрывая причинные места легкими тряпочками. Молодежь группами каталась на лодках, отплывали подальше и бросались с борта в воду, фыркали, брызгались на девчонок водой, а те пронзительно визжа-

ли. Шура отошел в сторонку, раскрыл коробку, насыпал в нее побольше песка, доложил камень, веревкой перевязал и стал поджидать группку лодочников.

Ждать пришлось долго, наверное, прошло минут сорок пять, пока кто-то из них подгроб к берегу.

— Слушайте, ребята, у меня к вам просьба, не могли бы вы эту коробку подальше от берега в воду сбросить?

— А что у тебя там? Может, клад или мертвец? — смеялись ребята.

— Да, мертвец... но особенный. Я давно решил его так похоронить, его Матросом звали, а потому пусть он на дне Невы лежит. — Шура рассказал ребятам о «славной жизни боевого кота Матроса, о его старости и тихой смерти». Девочки притихли, мальчишки поверили, взяли коробку, отплыли к пляжным буйкам и забросили ее подальше. Кот мгновенно пошел ко дну.

Шура облегченно вздохнул, ребят поблагодарил, и они ему предложили пива выпить (вроде как поминки по Матросу). Он не стал отказываться.

Так долго он не выходил на улицу, что солнце и пиво его разморили, веселая пляжная болтовня доносилась уже как щебет птиц, слов не разобрать, на душе было легко. Он прилег на песок и заснул.

ЛИЧНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Шура проснулся, оттого что замерз. Августовский жаркий день принес грозу с ветром. Ливень стеной обрушился на загорающих, народ в спешке покидал пляж, на ходу одеваясь, засовывая в сумки полотенца вперемешку со снедью. Шура взбежал по каменной лестнице и укрывся под навесом какого-то строения. Часы на Петропавловке пробили пять раз. Из дома он вышел почти в полдень. Шура не думал, что прошло так много времени. Как там Надя без него? Наверное, волнуется? Он выгреб мелочь из кармана брюк, нашел двушку, телефонная будк, к счастью, была свободна. Шура набрал домашний номер. Длинные гудки звучали безнадежно, никто трубку не

брал. Он был уверен, что Надя дежурит перед домом, а теперь дождь загнал ее в подъезд. Утопая по щиколотку в гигантских лужах, Шура добежал до дома.

Надя его не ждала ни в подъезде, ни на лестнице.

Старый лифт скрипел и еле тянул. Наконец-то! Их этаж, дверь. Шура привычным жестом сунул руку в задний карман брюк. Ключей не было.

Он так давно не выходил на улицу, что перестал пользоваться ключами и отдал их Наде. Шура несколько раз постучал в дверь, потом коротко позвонил (это был их условный пароль с Надей). Тишина за дверью. Он сел на коврик, облокотился спиной о дверь и стал ждать. В голову лезли разные мысли, но больше всего ему хотелось снять с себя мокрую одежду. И вдруг он услышал в квартире отдаленные звуки музыки, шаги, где-то хлопнула дверь — мурашки пробежали по затылку Шуры. Ну конечно, как он мог забыть, все его догадки и подозрения оправдались! Стоило ему только уйти и оставить Надю одну, как «они» проникли внутрь квартиры. Может быть, они связали его любимую, допрашивают ее, требуют, чтобы она призналась, где он. Шура вскочил и кулаками стал барабанить в дверь. Соседи по площадке давно уехали на дачи, весь дом был похож на вымерший муравейник, даже вахтер на лето закрывал свою будку.

— Надя, открой! Немедленно откройте мне дверь! Эй, кто там, бандиты, сволочи, я вам покажу, как издеваться надо мной! Если вы немедленно не откроете, я пойду в милицию! Я хозяин квартиры!!!

Он приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Ему показалось, что кто-то шепчется у самой двери, потом странное шарканье, будто тяжелый тюк тащили по коридору в глубину квартиры, потом Шура расслышал шум воды, ванная была почти рядом с входной дверью. Он буквально врос в дверь.

И вдруг она неожиданно раскрылась, Шура потерял равновесие и всем телом повалился на человека. Тот схватил его за волосы и сильно вздернул кверху.

Перед ним стоял отец.

— Ах ты, мерзавец! Это кто хозяин квартиры?! Ты что себе позволяешь, последняя скотина! Лучше бы ты вообще на свет не родился... или я тебя не родил!!! — сбивался в ярости отец. — Сколько сил мы на тебя положили, сколько бессонных ночей тетя Мила провела, а ты, гад подколодный, чем платишь?! Бардак и хлев развел, ни работать, ни учиться не хочешь! Ну так я тебе покажу, как нужно жить и хлеб зарабатывать. Вон из моего дома, воо-о-он! — Отца била дрожь, и от сильного возбуждения все лицо его перекосило. Это не было театральной сценой, а скорее походило на страшный карикатурный реализм. Отец сейчас не играл короля Лира, он был самим собой, и, видно, то, что в нем копилось долгие месяцы, сейчас выплеснулось наружу.

Шура ничего не соображал, говорить он не мог, от шока онемел.

— Вот тебе, паскуда, ключи от комнаты у бабушки. Она тебя давно к себе ждет и прописку устроила, чтобы ты, бедняжка, не остался без площади, теперь ты сам себе хозяин и на мою помощь не рассчитывай. А теперь собери свои пожитки и проваливай.

Шура прошмыгнул к себе в комнату, понабросал в старый чемодан все подряд, вспомнил о рубашке и носках, они сушатся в ванной. Отца в коридоре не было, он гремел посудой на кухне. Шурик быстро проскользнул к ванной и открыл дверь.

В наполненной до краев водой ванне, в «бадусановой» пене лежала Надя.

Мокрой рукой она взяла сигарету, тлеющую в пепельнице, и глубоко затянулась. Неожиданным появлением Шуры она смущена не была, прищурилась (скорее, от дыма) и спокойно сказала: «Привет».

* * *

Вот уже три месяца, как Шура жил в квартире у бабки-профессорши, про себя он называл ее «бубу». Когда-то большая барская квартира со временем превратилась в коммунальную. По коридору она разделялась дверью, чтобы оградить соседей от звуков рояля и пения. Ученики к бабке шли постоянно, кто

распевался, кто разучивал арии, в награду своему профессору они несли букеты цветов, коробки конфет, с юга привозили корзины свежих фруктов. Бабка осталась обладателем двух огромных комнат и маленькой «горничкой», примыкавшей к общей кухне. В эту темную, без окон комнатенку и был прописан Шурик. Дверь неплотно закрывалась на навесной крючок, так что все кухонные прелести борщей и каш, ругань и секреты соседей Шура познал на собственной шкуре.

«Профессор» (только так все величали бабку) внука своего жалела и уже давно сделала через знакомства в горисполкоме ему прописку. Так он стал обладателем десяти квадратных метров жилплощади. Комната напоминала длинный пенал, вдоль стены стояла раскладушка, колченогая этажерка и два раскладных стула. В стену Шура вбил много гвоздей, на них можно было вешать одежду. После роскошной квартиры отца это жилище напоминало тюремную камеру.

Бабка — «божий одуванчик» — была из старорежимных, поговаривали, что даже хороших кровей, но под воздействием известных обстоятельств она старалась о прошлом забыть, воспоминания ее всегда начинались словами «после революции», к началу этих исторических событий она побывала уже замужем и якобы развелась. Что стало с её мужем, никто не знал. Отец Шурика выпрашивать мать боялся, о своих «благородных кровях» вспоминал только в кругу семьи, редко и полушутя. В профессорше тлели доброта и порядочность, она любила делать подарки, была кристально честна и аккуратно ходила на партсобрания в Консерваторию. Наверняка в детстве ее воспитывали в вере, может быть, она когда-то знала молитвы, но в новой стране, которая отбросила пережитки прошлого, слово «Бог» у нее подменилось на слово «совесть». Бабка была обладателем всевозможных народных, заслуженных и лауреатских званий, а еще она была окружена почетом и лизоблюдством на всех уровнях. От её чопорной сухости и принципиальной честности многим становилось не по себе.

Последние тридцать лет (после исчезновения её мужа) одиночество профессора разделяла одна из учениц. При каких обстоятельствах произошло это странное слияние двух женщин,

никто не помнил. Клавдия Петровна была могучего телосложения старая дева. Ходили разговоры, что она из купчих и что в свое время доносила на свою семью. Отец Шурика её ненавидел и ревновал к матери. А однажды в раздражении сказал: «Я уверен, что эта К. П. пишет отчеты в Большой дом не только на мать, но и на меня».

Профессор, её ученики и Клавдия Петровна жили только одним — творчеством и служением искусству, говорили, что «самая большая награда для артиста — это умереть на сцене». Бабка своих учеников называла «духовными детьми» и часто повторяла, что «живет она ради них», отец свою мать к этим «детям» тоже ревновал, много раз предлагал ей переехать к ним в «дворянское гнездо», но она и слушать ничего не хотела.

Экзамены Шура кое-как пересдал, но страшная тень стройбата продолжала маячить на горизонте. Денег ему катастрофически не хватало, отец больше не давал, а те, что подкидывала бабка, таяли со скоростью мороженого на солнце. Шура приходилось подхалтуривать, кое-кто из его сокурсников подбрасывал ему концерты в клубах, он пел разные песенки под гитару, если нагоняли солдатиков — патриотическое, а когда сборные молодежные вечера, то исполнял цыганщину и романсы. За концерты платили мало, редко перепадала десятка, а все больше три да пять рублей. Голос у Шуры был приятный, музыкальность природная, он отрастил себе волосы, стал еще больше похож на отца, а когда его фамилию объявляли, то сразу все понимали, чей он сын. Но все это у Шуры вызывало скуку, и втайне он ждал других подмоетков.

Однажды в его комнату постучала Клавдия Петровна: «Шура, тебя к телефону!» Ему звонили редко, да и неудобно это было — аппарат стоял в комнате у бабки, прямо на рояле, которая терпеть не могла, когда звонят посторонние.

Голос в трубке он узнал мгновенно. Это была Надя. Она просила встретиться.

С того знаменитого дня он её не видел и ничего не хотел о ней знать. И вообще, многие воспоминания он из своей головы повычеркивал, будто не было в его жизни ни деда-«отца», ни Ланочки, о матери он тоже перестал думать.

Надя ждала его у выхода из метро «Горьковская». Она не изменилась, только волосы завязаны на затылке в «конский хвостик». Ей это шло, делало моложе.

— Шура, ты на меня не сердись, но у меня нет выхода, я долго думала, как тебе сказать... Все не решалась позвонить. Мне Катя твой телефон дала. Ты должен на мне жениться, иначе меня мать убьет. — Она перевела дыхание и села на скамейку. Шура от неожиданности не знал, что ей сказать. Он молчал. — Шурочка, миленький, я на пятом месяце, и это твой ребеночек.

Ему очень хотелось в это верить, и он поверил!

Он простил её и сказал, что они поженятся и будут воспитывать их ребенка. Надя обещала, что познакомит Шуру со своей мамой, но потом переедет жить к нему, у нее нельзя, отчим запойный, а когда он нормальный, то выпиливает лобзиком разные штуки, лаком их покрывает, отчего сильный запах по всей комнате, у Нади голова болит, а соседи жалуются.

Она переехала к нему через несколько дней, потом «распились» и зажили. Назвать это семейной жизнью было трудно. Надя часами валялась на стареньком матрасе, брошенном прямо на пол, читала, курила, иногда выходила на кухню и заваривала себе чай. Надя у К. П. вызывала отрицательные эмоции, бабка реагировала спокойнее.

— Чем же, моя хорошая, вы занимаетесь? Как представляете будущую жизнь? Ребенка ведь нужно воспитывать только своим примером, — пыталась читать мораль профессорша. Надя делалась серьезной, всхлипывала, пускала слезу, бабка ее жалела и совала ей пятерку.

Женитьба не принесла радостей, она доставляла беспокойство, и не только потому, что в душной десятиметровке было невыносимо сосуществовать вдвоем, а потому, что Надя была ко всему безучастна. Готовить она не умела, стирать не любила, грязное белье копила, отвозила к матери, та стирала, гладила, привозила им в бидонах суп и жаркое. Надя чаще стала жаловаться на здоровье, ее тошнило и постоянно тянуло на сладкое, в бабкином холодильнике скопилось куча недоеденных творожных сырков и пирожных.

Шура серьезно решил закончить музучилище и одновременно много давал трехрублевых концертов. Иногда были загородные поездки, и тогда он оставался там на несколько дней. Он, конечно, скучал без Нади, но эти халтуры стали отдушиной для него, он мог расслабиться, вспомнить свое холостяцкое прошлое. Его приглашали в компании, где он опять окунался в любимую стихию надежды на настоящую славу, тяжесть семейных забот рассеивалась, как утренний туман. После первой опрокинутой стопки он еще больше нравился девушкам, а они ему.

Время бежало незаметно, скучно проскочил Новый год, однажды Надя предложила Шуру послушать, как ребенок бьет ножкой. Он приложил ухо к ее большому животу и действительно услышал стук и движение. Странно, но никакого волнения он не испытал. От беременности Надина меланхолия сменилась на слезливость, она часто и беспричинно ворчала, растолстела, красивое лицо покрылось пятнами, губы походили на две толстые олады. Шура ждал рождения ребенка со страхом. Все произошло неожиданно. Девочка родилась раньше положенного срока. Началась жизнь втроем.

Коляска заменяла кровать. Ребенок вопил, не спал и требовал. Понять, чего он хочет, было трудно. У Шуры и Нади дни слились с ночами. С каждой неделей кошмар рос, как гора нестиранных пеленок.

* * *

В квартире, разделенной по коридору массивной дверью, жило еще две семьи. Одну из комнат, светлую и довольно просторную, занимала армянская семья — отец, мать и сын. Мальчик был добрым и шустрым, до десяти лет развивался нормально, и многие говорили, что из него выйдет знаменитый шахматист, так как отец, по профессии бухгалтер, научил сына уже в три года складывать и умножать в уме трехзначные цифры. Но в десять лет с ребенком стали происходить совершенно непонятные явления, он мог часами оставаться неподвижным или бесконечно кружил по комнате, сосредоточенно смотря в пол. В школе его стали дразнить «дурачком», издевались, били, и учителя потребовали забрать мальчика из школы, потому

что его успеваемость не соответствовала уровню программы. Родители обратились к врачам, но те только развели руками, прописали массажи и ножные ванны. Ничего не помогало. Наконец повезло, и один специалист-профессор, к которому их устроили по благу, поставил диагноз: мальчик родился от старых родителей, а может быть, отец в молодости перенес нехорошее заболевание, или это перешло по наследству от бабушки по материнской линии.

Мать уволилась с работы и сидела с ребенком. Бабка-профессорша, узнав от Клавдии Петровны о несчастье в армянской семье, решила им помочь и взяла это в свои руки. Она убедила родителей, что если у мальчика были способности к математике, то наверняка у него есть музыкальный слух, а потому он свернет горы. Три раза в неделю мать надевала сыну чистую белую рубашку, повязывала себе голову черным платком и робко стучалась в «святая святых». Бабка усаживала мать в сторонку, а мальчик целых полчаса стучал по клавишам ноты и гаммы. «Нет ничего непреодолимого на свете, природу нужно побеждать, и мы это сделаем!» — уверенно говорила профессорша. Но шли месяцы, а лысенковского чуда не происходило.

Вторая семья, жившая прямо за стеной бабкиной спальни, была многочисленна. Кроме уже имевшихся отца, матери и взрослого сына Вани, не так давно там родились двойняшки. Между собой они говорили по-украински, с квартиросъемщиками были немногословны, что бесило Клавдию Петровну, а каждое воскресенье бабушку будило их хоровое пение. Часов в семь утра, под включенный приемник, стройным многоголосием они затягивали «божественную музыку». Профессор с К. П. стучали в стену и кричали: «Не положено, жалобу напишем, прекратить издевательство!» Они действительно писали письма в ЖЭК, но, странным образом, Господь был на стороне хохлов, и их не трогали. Сыну Ване было уже пятнадцать лет. Вытянувшийся не по годам, бледный, молчаливый, он производил впечатление больного. Клавдия Петровна посылала на Ваню «сигналы» о том, что у них в квартире живет туберкулезник и все от него заразится, особенно армянский мальчик, который и так слаб здоровьем.

И вправду, было что-то в Ване кроткое, не от «жильца на этом свете». С Шурой у них завязалась дружба. Ваня давал ему ловить по «Спидоле» иностранный джаз, а иногда они вместе крутили настройку приемника, и тогда, на коротких волнах, возникала «божественная музыка» «Голоса Ватикана».

— Вы кто такие? Откуда приехали? — интересовался Шура.

Ванечка рассказывал о своем карпатском селе, как цветут яблони весной, какие у них горы, реки, овцы и свобода.

— Так чего вы сюда приехали, коли там хорошо?

Ваня только улыбался в ответ и грустно молчал. Однажды он постучался в дверь Шуриной каморки. От всей семьи он принес подарки молодой семье: вышитые распашонки, кучу ношенных вещей близнецов и много яблок.

— Это от всех нас. Наде нужно витамины есть, тогда молоко будет, — застенчивая улыбка осветила бледное лицо Ванечки. Он робко заглянул в коляску: — Хотите, мамка вашу дивчину к нам в комнату будет забирать? Она ведь еще двойняшек кормит, и на вашу молока хватит...

Вот когда Шура по настоящему стал думать о том, что такое счастье.

Первым счастьем для Шуры была любовь к матери и одновременно к Ланочке, он был счастлив рядом с московской бабулей, а самое большое и потрясающее счастье было от встречи с отцом. Ну, еще он был счастлив с Надей (как это было давно!). Все это прошло, и теперь он часто думал: «Где это Счастье? Как его найти?» Отец и бабка ему повторяли, что «каждый человек — кузнец своего счастья» и что «на Бога надейся, а сам не плошай». Его сестра Катя советы семейные хорошо усвоила и была счастлива. Отец говорил, что счастье приносит слава, а бабка и К. П. твердили, что счастье — в упорном труде. Он видел, что мать армянского мальчика тоже была счастлива, хотя Шура не понимал отчего. Она часто плакала, что-то шептала про себя. Вот и Ванечка ему говорит, что он счастливый. Хотя для Шуры это тоже казалось странным, жили украинцы в страхе и бедности, а от какого-то счастья грелись. Бабка и К. П. много говорили о «счастливом будущем», что оно «вот-вот наступит для всех», но Шура не понимал, как это произойдет. Он боялся, что Счастье обойдет его стороной.

Так прошел год, и наступающий не сулил ничего хорошего (К. П. сказала, что он високосный, а потому будет тяжелым). Концерты и елки для детей были в полном разгаре. Кто-то предложил Шуру роль Деда Мороза, он мог петь под гитару всякие штуки, дарить подарки, работа не пыльная, платили чуть больше. Он приехал в Клуб имени Газа*, нацепил красный нос на резинке, ватную бороду с усами, халат со звездами достался с чужого плеча, пришлось подвернуть его за кушак, иначе ноги путались в длинных полах.

— А вот и твоя Снегурка! — воскликнул баянист.

Перед ним стояла среднего роста девушка в синей шапочке и хорошеньком тулупчике. На ее милом и аккуратном загрированном лице играла улыбка, отчего на щеках появлялись симпатичные ямочки. Девушка была словно создана на роль Снегурочки, настолько в ней все дышало свежестью.

— Меня Мира зовут, — как бы стесняясь, сказала она. — А я о вас знаю, мне мои коллеги в Ленконцерте рассказывали, что вы хорошо поете. Наверное, после окончания училища вас в Театр музыкальной комедии пригласят? — Ее осведомленность свалилась на него как снег на голову. Снегурочка присела на мешок Деда Мороза и посмотрела на Шуру восторженными глазами. Ах как он любил эту одержимость поклонниц! Сколько раз он завидовал своему отцу. Он и не знал, что его слава достигла границ Ленконцерта! Более того, значит, уже ходят разговоры о его будущем распределении в театр!

— Откуда вам известно о Музыкальной комедии? — удивился Шура.

— Ну знаете, в нашем театральном мире иголку в сене невозможно утаить, а такой талант, как вы, — тем более, у всех на виду, — улыбаясь ответила Мира.

Потом они пошли на сцену, рассказывали сказку, танцевали под баян, Шура пел под гитару из «Бременских музыкантов», Крокодила Гену, дети требовали Чебурашку. Снегурочка взяла волшебную палочку и абсолютно счастливым голосом всем объявила о счастье в Новом году! Дед Мороз раздал подарки,

* Газ И.И. (1894–1933), большевик, участник Февральской и Октябрьской революций. — Прим. ред.

дети разрывали прозрачные пакеты, сорили корками от мандаринов, запихивали в рот «Коровку». Кому-то досталось два подарка, на счастливица смотрели с завистью. Утренник закончился, и родители торопились развезти детей по домам.

— Шурочка, у меня машина, хотите я вас подброшу? — предложила Мира. Они вышли на улицу и погрузились в предновогоднюю суету. Шура назвал адрес.

— Знаете, а вы так на своего отца похожи, я даже подумала, что это он. Я его поклонница, все спектакли, где он играет, знаю. Правда, сама я училась в Москве, а теперь к своим родителям перебралась. Они без меня скучали. — Мира лихо вела «Жигули», бесстрашно по-мужски обгоняя грузовики, видно, была водителем со стажем. Вот и приехали.

— А мы будем с вами еще три утренника вместе играть. Вообще-то я заменяю подругу, у нее ангина, вот она меня и попросила. Хотите, я заеду за вами в следующее воскресенье?

Он совершенно не возражал и сказал, что через неделю будет ждать ее в девять часов перед домом.

В следующее воскресенье она позвала его в кафе «Север». Шура было неудобно, денег у него не было. Но она будто угадала его мысли и сказала: «Я тебя угощаю. Ведь я Снегурочка, и у меня есть волшебная палочка». Потом наступило их последнее воскресенье, и она пригласила его к себе домой.

* * *

Мира жила на Васильевском острове. Дверь им открыла молодая, с сильной проседью женщина, из боковой комнаты вышел сутулый мужчина.

— Это мои родители, — сказала Мира. — Их можно по именам звать, отчества ты все равно не запомнишь. А теперь снимай сапоги, я тебе тапочки принесу, мой руки и к столу.

Мира провела Шуру в ванную. Он никогда не видел такого кафеля, сама ванна и рукомойник были синего цвета, полотенчики и коврик на полу были тоже синего цвета, с потолка на леске свисали пластиковые золотые рыбки.

— Что, нравится? — улыбнулась Мира, заметив растерянность Шуры. — Это у нас отец старается, он завскладом в реч-

ном пароходстве работает, все импортное достает, мама это обожает.

Большая светлая комната утопала в коврах и хрустальных горках, всюду живые цветы. Большой стол был накрыт бело-снежной скатертью и ломился от яств.

— У Мирочки сегодня день рождения, присаживайтесь, молодой человек. Она нам о вас рассказывала, а вашего папеньку мы в кино много раз видели. Сейчас придет несколько близких родственников, и мы приступим. — На столе появилось что-то фаршированное, запеченное и заливное. Хозяйка ушла в кухню и тут же вернулась с тарелкой тонко нарезанной копченой колбасы. Ничего подобного Шура никогда не видел. Когда-то в далеком прошлом деду выдавали на работе «спецпакеты», но Шура уже забыл их вкус. — Я ведь директором гастронома работаю, так у нас всегда к праздникам деликатесы завозят, а я запасливая, как белка. Семью нужно баловать.

Прошло минут пятнадцать, стали собираться гости. В основном это были родственники (так сказала Мира), все приносили букеты цветов, коробки шоколадных конфет. За столом Шуру посадили рядом с именинницей, она смеялась, развлекала его болтовней, подкладывала на тарелку вкусенького. Выпили шампанского за наступающий Новый год — и за Мирочку!

К разговорам за столом Шура мало прислушивался, но в основном все обращались за советами к отцу Миры: как нужно менять меньшую площадь на большую, сколько доплачивать и кому, как достать путевку в санаторий и у кого купить румынский мебельный гарнитур. Говорили гости на каком-то странном языке, то ли деловом, а может быть, иностранном. Шура разговоров не понимал, с трудом улавливал новый для него смысл, но в окружении этих милых людей от выпитого и съеденного Шура стало тепло и уютно. Более того, ему впервые померещилось, что с такими людьми он был бы как за каменной стеной или, на худой конец, как у Христа за пазухой.

НА ПОРОГЕ СЧАСТЬЯ

Приближались майские праздники, народ, как обычно, готовился к длинным выходным, погода обещала продержаться теплой, многие собирались провести эти дни за городом. Несмотря на рабочий день, граждане уже сновали по магазинам, занимали длинные очереди за дефицитом.

Шура стоял перед большим зеркалом в ДЛТ* и примерял шляпу. Это была его первая шляпа в жизни. Молоденькая продавщица всячески с ним кокетничала, предлагала ему то серую маленькую, то в клеточку с перышком, то фетровую темно-синего цвета.

Он давно не видел своего отражения во весь рост и с удивлением обнаружил, что недурен собой. Высокий, худощавый, темные волосы пострижены «под горшок» (как у Битлов), нежные щеки бритвы не знают, в карих глазах не столько ум светится, сколько непредсказуемое хулиганство, а на тонких губах играет вечная ухмылка. Он себе таким нравился.

Одно плохо: в зеркале он увидел, как ужасно выглядит его одежда. Когда-то модная импортная куртка, подарок отца, обтрепалась, джинсы засалены, давно не стираны, а об обуви вообще лучше не говорить. Но даже не смотря на это, он привлекал к себе женские взгляды, особенно когда нежно перебирал гитарные струны. Бабы его жалели и от его песен балдели. Дар перевоплощения у Шуры был в зачаточном виде, большого актерского таланта не наблюдалось, работать он не любил, выезжал на способностях, а амбиции подогревал желанием преуспеть. По характеру он был человеком нетерпеливым, от трудностей ускользал. Сколько раз жизнь подносила ему неприятные сюрпризы, но хитрость и изворотливость не раз его спасали (он слышал, что «хитрость — это второй ум»). Шура был уверен, что наступит день, когда он переплюнет отца, докажет ему и всем им, как они ошибались, он сумеет схватить птицу Счастья за хвост и не выпустит ее из рук. Уж тогда он ни перед чем не остановится и жалеть их не будет! От этих мыслей

* Дом Ленинградский торговли. — Прим. ред.

на душе у Шуры потеплело, он ухмыльнулся и надвинул шляпу почти до носа.

Мира позвала его на свадьбу к родственнику, а потому Шура должен купить черную шляпу. Мира хотела обязательно с лентой и широкими полями, но нужного размера не оказалось, была темно-синяя, она шла ему, а с гитарой через плечо он выглядел почти итальянцем. Шура заплатил в кассе, спустился по центральной лестнице ДЛТ на первый этаж, протиснулся через галдящую очередь, атакующую обувной отдел, и направился к остановке троллейбуса. Вчера в училище ему объявили, что вероятнее всего он получит распределение в Мюзик-холл. Это было неожиданностью, лучшего начала карьеры он не представлял.

* * *

Мира вошла в Шурину жизнь незаметно, она, как теплый пушистый котенок, легла ему на грудь и замурлыкала. После дня рождения они стали встречаться регулярно, он часто обедал или ужинал в ее семье, родители расспрашивали Шуру об его знаменитом отце, бабке-профессорше, они явно гордились, что такой молодой человек дружит с их дочерью. У Шуры язык не поворачивался сказать им, что отец выгнал его из дома, что живет он в каморке у бабки и что у него семья. Но долго скрывать не пришлось, совсем скоро он во всем признался Мире.

— Только не рассказывай об этом своим родителям, — попросил Шура.

— Нет, так дело не пойдет. Ты должен с отцом помириться. Я беру вашу встречу на себя! — Решительность Миры обескуражила Шурика. Но Мирочка так любила своих родных, их традиции, что Шура вполне понимал ее благородное желание всех примирить.

Она жалела его, он это видел.

Она любила его, он это чувствовал.

Ее родители приняли его как родного сына. Баловали, подкармливали вкусеньким, делали подарки. Постепенно эти люди стали своими. Шуру немного удивляло, что о Наде и его дочери Мира никогда не задавала ни одного вопроса. «Это

от застенчивости, она не хочет меня огорчать лишними распросами», — думал Шура. Он не подозревал, что у Миры был властный характер и она была болезненно ревнива.

Закулисный театральный бульон варился по классическому рецепту. Довольно быстро в Ленинграде стало известно, что у Миры с Шуриком роман, о его ссоре с отцом и мачехой было известно давно, но что его новая подруга «Снегурочка» была не так наивна как, казалось на первый взгляд, знали все, кроме Шурика. За Мирой тянулась слава искательницы приключений, всеми средствами она стремилась захороводить ценного мужика, а не так давно еле унесла ноги из Москвы. Один из очередных любовников заподозрил ее в краже «брюликов».

Мира была сама не своя, когда речь шла о драгоценностях, а семейные «цапки» достались ее любовнику в наследство от первой жены. Он Мире хвастался, как здорово он жену обманул, сделал подмену «шила на мыло». В начале их совместной жизни и планов на будущее любовник разрешал Мире эти «цапки» носить. Она надевала длинное бархатное платье с глубоким декольте — камеи на груди, камеи в ушах, камеи на пальцах, они ехали кутить в «Арагви» или ЦДЛ*, где Мира потрясала воображение завсегдатаев. Побрякушек было много, к некоторым она особенно «прилепилась», браслеты и цепочки даже во время сна не снимала. Скандал разразился, после того как Мира потребовала от своего любовника «оформить» их отношения. Он отказался, сказал, что ценит свободу и что штамп в паспорте ничего не решает. Тогда Мира стала шантажировать его очередной беременностью и определенными секретами из личной жизни, которые могут плохо отразиться на его карьере. Мужик оказался крепким орешком и тертым калачом (да к тому же кавказец) и вышвырнул Мирочку из дома. Спасаясь от гнева, она успела прихватить кое-какие «цапки»! Миру прикрыли родители, они каким-то образом откупились от угроз любовника, задобрили его, подмазали, подсластили...

Но кого могли удивить в то время подобные страсти? Свальный грех был нормой и неотъемлемой частью «бохэмы», уже

* Центральный дом литераторов. — Прим. ред.

все переспали со всеми, пять раз развелись, переженились, бросили своих детей, пьянствовали и о завтрашнем дне не думали. Семья Миры хотела только одного — смыть позор с их дочери через брак с благородным человеком из хорошей семьи!

О столь далеко идущих планах Шура даже не догадывался.

* * *

В троллейбус его буквально внесли на руках, был конец рабочего дня. Шура мог бы дойти пешком до Дома архитекторов, но поленился. Пришлось придерживать шляпу рукой, а то снесли бы вместе с головой. Народ напирал, ругался, что-то острое впилося в его ногу, пьяный мужик густо выдыхал смесь перегара с закуской в лицо толстой гражданке. Шурик с опаской поглядывал на эту сцену и, решительно работая локтями, пробрался к выходу. Он слез у «Астории», перешел Исаакиевскую площадь и не торопясь дошел до «Архитекторов».

Сегодня день был во всем удачный, Мира сказала прийти в ресторан к восьми и сказала, что приготовила ему сюрприз.

Нарядный и просторный зал был еще полупустым, серьезные клиенты набивались после девяти часов, а пока за отдельными столами сидели парочки или группки творческих работников, курили, трепались, пропускали рюмочку. Скусающие официанты, устроившись в уголке, потягивали газировку и перешучивались со знакомыми постояльцами. Шура пришел заранее, Миры в зале не видно. Он сел за свободный столик.

— Заказывать будете? — лениво спросил официант. Его наметанный глаз сразу оценил Шурика. Внешний вид парня говорил сам за себя, надеяться на дорогой ужин и чаевые не приходилось.

— Нет, я человека жду. Как придет, так сразу закажем, а пока одно пиво.

Официант ковырнул в зубах спичкой и усталой походкой отошел к стенке.

Бутылка пива не была еще допита, как Шура увидел в зеркальном отражении перед собой элегантнейшую парочку. Он высокий, волосы артистически зачесаны, модная бежевая, сво-

бодного покроя куртка, держит под ручку женщину, несколько наклоняясь к ее уху, что-то шепчет. Она на каблуках «шпилька», платье длинное с глубоким декольте, вокруг шеи золото, в ушах серьги, громко хохочет, крепко прижимается локтем к его бедру и кокетничает. Это Мира и его отец!

Глаза их встретились, смешливое выражение ее лица не изменилось, они, как старые знакомые, расселись вокруг Шуры. Отец отменно играл роль, на ходу досказывал анекдот, дружелюбно приветствовал официантов и как ни в чем не бывало крепко обнял Шуру.

— Старик, я так рад за тебя. Поздравляю! — Отца распирает телячий восторг, он искренне был взволнован (хотя даже тетя Мила не всегда была уверена в его искренности).

— Шурочка, я все рассказала твоему папочке, он целиком на нашей стороне. Теперь у нас мир во всем мире, и мы будем вместе. — Мира захлебывалась в словах, она была возбуждена и горда тем, что ей удалось все так ловко устроить. — Мой дорогой, твои родители не возражают, и ты прямо сегодня переедешь к нам жить.

Официант узнал отца, безразличная наглость с его лица слетела, он сделал знак своему товарищу, и они ловко стали обслуживать их столик. Пока отец заказывал ужин, Мира выдала Шурику: «Твой отец — прелесть, он такой умный, простой, я к нему подошла после спектакля, ждала у актерского входа. Он мне дал автограф, а я ему сказала, что дружу с тобой и беспокоюсь, а потому хочу поговорить с ним, посоветоваться... Рассказала ему о моей семье. Он был счастлив узнать, что мы не какие-то босяки, а приличные люди и что ты будешь у нас как за каменной стеной. Я ему сказала, что мы любим друг друга, а что твоя жена — плохая хозяйка и мать, она тебя не кормит, не поит, не стирает, а только Цветаеву читает, да марафет на морде своей наводит. А твой отец сказал, что она просто б... и что ты, несчастный, ей поверил. А еще он сказал, что всегда мечтал для тебя о такой жене, как я, а о такой семье, как мои родители, даже не мечтал. Представляешь, он с ними хочет познакомиться. Поэтому я решила, что с сегодняшнего дня ты будешь жить у нас. Я тебя забираю! Даже не возражай!»

Шура от этого потока откровения совершенно обалдел.

Отец прислушивался к женскому монологу и мурлыкал, как сытый кот. Он был польщен вниманием столь богатой и шикарной девушки, как Мира, поднял бокал и торжественно произнес тост, что на пути их счастья всячески будет им содействовать. Шура после выпитых подряд трех рюмок водки (на кружку пива) и шампанского стало на душе легко и свободно. Он вспомнил красивое лицо Нади, ее меланхолическую улыбку, плач ребенка, убогость комнатенки, вредную бабку, К. П., трехрублевые концерты в клубах, и ему очень захотелось от всего этого убежать.

Он Надю, наверное, любил, но счастье Миры было в тысячу раз приятнее. Выбор сделал не он, судьба так распорядилась.

А что может быть выше судьбы?

Ужин затянулся далеко за полночь. Отец был в ударе, рассказывал смешные истории, подливал Мире шампанского, делал ей комплименты и целовал ручку. Она совершенно была очарована, в меру кокетничала с ним и к концу вечера сумела произвести неотразимое впечатление. Для отца она не была загадкой, он видел таких молодых начинающих актрис, ценил их энергию и уважение к старшим. Мира поведала ему об учебе в Москве, о семье и о своей мечте устроиться в Мюзик-холл вместе с Шурой. Отец намекнул, что постарается в этом помочь.

— Ну а теперь по домам! — скомандовала Мира. — Вы обязательно должны к нам приехать вместе с женой и дочерью. Мои родители будут счастливы. С сегодняшнего дня Шурик будет жить у нас, это забито.

— Милости просим и к нам. Нам с Шурой есть о чем подумать и поговорить. Тетя Мила будет ждать, а Катюша теперь студентка, и у нее появился жених, — отец был сильно навеселе, его добродушию не было предела.

Шура весь вечер в ресторане молчал, он не любил выяснять отношения, не знал, как себя вести, мысли путались. Ему придется сообщить Наде, что он уходит, она, конечно, будет плакать, умолять его не бросать ребенка, давить на жалость. Нужно всеми способами избежать этого разговора, отделаться

запиской. А еще лучше попросить Миру поговорить с ней. Она сумеет все сделать деликатно и умно.

Из ресторана они вышли последними, город жил по законам белых ночей, молодежь гуляла, пела под гитару, влюбленные парочки расслабленно фланировали в сторону Медного всадника. Любовь витала в городском воздухе, наполняла сердца надеждой, примиряла врагов, размягчала нервы... Как отец ни сопротивлялся, говоря, что поймает такси, Мира настояла на том, что подвезет его до дома.

Так Шура поселился в другой семье.

Через несколько дней Мира позвонила Наде и встретила с ней. Как проходил разговор, Шура не знал и не хотел знать. Мира сказала, что предложила Наде развестись с Шурой и что она через знакомства берет все быстро оформить. Кажется, она добила согласие и намекнула, что Надя получит «свою долю пирога».

Как напоминание о прежней жизни Мира кое-что привезла Шуру из его пожитков, в частности тюк с грязным бельем.

Внутри у Шуры было достаточно пусто, совесть молчала, на душе кошки не скребли, может быть, впервые он ощутил себя на пороге Счастья. Теперь не нужно останавливаться на достигнутом, надо слушаться Миру (это она так говорит), и все будет хорошо.

С первого дня новой жизни он окунулся не только в море сладкой любви, но на него свалились подарки, о которых он даже не помышлял. Ему купили водительские права, пыжиковую шапку и новые джинсы. На него надели махровый халат, уложили в крахмальные простыни, а по утрам поили импортным растворимым кофе.

Лето принесло приятные хлопоты, отношения с отцом, тетей Милой и Катюхой наладились, Мира с удовольствием бывала с Шуриком в Репино. Ей льстило погружение в литературно-актерскую среду, на даче она играла роль гостеприимной невестки, помогала тете Миле по хозяйству, подружилась с Катей, у них завелись женские секреты, они бродили по лесу, загорали на пляже, уединялись в укромной беседке в дальнем конце участка. Вечерами у них собирались друзья,

«золотая молодежь» с соседних дач, Шура пел под гитару и был душой компании.

У родителей Мирочки от радости текли слюнки.

Несмотря на то что Шура совсем не думал о предстоящем разводе, ему по ночам снился плач ребенка. Он просыпался, вспоминал малютку, иногда грустил. К Наде за два года он привязался, привык, она была красавица, мужики вокруг нее всегда крутились, Шура ревновал. Бывало, что их мрачная жизнь освещалась веселыми пьянками, бездумно прожитыми днями, Надя от него ничего не требовала, сама была непривередлива. Но Мира его убедила, что с ней Шура погибнет, а отец сказал, что он от такой жизни сопьется. Между ними произошел мужской разговор, Шура не все понял, особенно, что означала отцовская фраза: «Мы с тетей Милой, ради твоего счастья, готовы закрыть глаза на некоторые особенности Мирочкиных родителей».

Проходили недели безоблачного нового счастья, но грусть одолевала Шуру, он начал рисовать в голове картинки из Нединой жизни. Наверняка она не скучает, окружена поклонниками и уж долго «соломенной вдовой» не останется. Его разъедала не только ревность, но и надежда увидеть страдания Нади, ее слезы. А может быть, она переживает? Она, кстати, никогда особенно не плакала, многое ему прощала, и странно, что теперь не ищет с ним встречи. Любопытство взяло верх, и решил он увидеться с соседом Ванечкой, разузнать ситуацию.

* * *

Говорить Мире об этой встрече он не хотел. Подсознательно Шура чувствовал, что ей это бы не понравилось. В техникуме, в котором учился Ваня, сейчас были каникулы, и вероятнее всего он целыми днями ловит рыбу на Неве. Это было любимое занятие Ванечки. От дома на трамвае он добирался сюда час, приезжал к семи утра, устраивался в укромном местечке, окруженном плакучими ивами, и сливался с природой.

На Малой Невке, напротив Каменного острова, берега еще оставались травяные, не облицованные гранитом, а если пройти чуть дальше, то можно было попасть в парк ЦПКиО*. Здесь пруды, Елагин дворец, стрелка Финского залива, аллеи

с цветами, бронзовые и гипсовые спортсмены. Обычно летом граждане приезжают в ЦПКиО на пляж, слушают концерты, катаются на лодках, а зимой, когда пруды замерзают, открывается настоящий сезон катков и лыжных прогулок. В этой части Ленинграда (Старой деревне) природа была девственной, незагаженной, бурно цвела сирень, ромашки, кашки, одуванчики, по воде скользили байдарки со спортсменами, летали чайки, с залива несло морской свежестью.

Ванечка знал, что после обеда, часам к трем на облюбованный им бережок Невки набивались мамы с детишками, они приезжали группами, расстилали на траве одеяла, усаживали карапузов, вываливали на газеты всякую снедь. Женщины судачили, пили, ели, иногда заходили в воду по колено, галдели, ругали ребятишек, и так до заката солнца. Дети подходили к Ване, смотрели в трехлитровую банку с водой, считали выловленных рыбешек, потом садились рядом и, глядя на поплавок, замирали. Ваня их не прогонял, иногда давал подержать удочку, просил не шуметь. На этот «дикий» пляж приезжали одни и те же мамы, дети их подрастали, Ваню все знали по имени. Для него это место с годами стало сокровенным, он здесь погружался не только в воспоминания детства, но мог спокойно слушать по «Спидоле» свои песнопения. Мамаши, в заботах о бутербродах, пиве и болтовне, не обращали внимания на странную «классическую» музыку, лившуюся из приемника.

Когда Ванечке становилось невмочь от материнского мата и переругиваний, он собирал свои снасти и отходил чуть дальше; там берег был каменистый, приходилось подкладывать кусок старой клеенки, иначе если сесть, то на брюках оставались несмываемые пятна мазута.

Шура прошлым летом несколько раз бывал здесь. Ваня ему показывал разных насекомых, водомеров, рассказывал о жизни лягушек, он знал многие названия цветов и деревьев, а погоду мог предсказывать по ветру или заходу солнца.

Сегодня к девяти часам утра солнце только начинало припекать, и день обещал быть жарким. На толстом стволе плаку-

* Центральный парк культуры и отдыха. — Прим. ред.

чей ивы, наклоненном к самой воде, Шура приметил силуэт рыбака.

На траве аккуратно разложены снасти, цинковое ведро, сачок, старенькая холщовая сумка. Молодой человек сосредоточенно смотрел на поплавки и что-то шептал про себя. Шуру он не приметил, тот подошел и сел за его спиной.

Так в тишине прошло минут десять, Шура не решался заговорить первым, и тут Ваня оглянулся.

— А, Шурик, привет, — он радостно заулыбался, — иди поближе, садись, расскажи, как живешь... Давно тебя не видел. — Ваня был искренне рад, он отложил в сторону удочку и присел на траву рядом с Шурой. — Почему не приходишь к нам? Бабушку свою совсем забыл. Вы что, теперь с Надеей к ее матери переехали? Она нам сказала, будто места там больше и отчим пить бросил... Здорово ты изменился, наверное, хорошо теперь зарабатываешь? Девочку уже в ясли отдали?

Шура не ожидал такого поворота, он был уверен, что Надя всем рассказала правду. В голове у него быстро-быстро замелькали мысли, словно черно-белые кадры с Чарли Чаплином. Вот это поворот!

— Нет, Ваня, мы никуда не переехали, это Надя от меня ушла... Сама так решила сделать, она меня как бы бросила, ребенка забрала, от трудностей убежала, мне ничего не сказала... А что я должен был делать? Пришлось пойти другим путем... Знаешь, я так переживал, страдал, скучал, жил по друзьям, ни с кем не мог поделиться своим горем. Не бабке же и К. П. буду я рассказывать о подлости Нади?!

Шура так обрадовался, что разговор повернулся совсем не так, как он думал. У него словно камень с души упал, кошки перестали на сердце скрести, и совесть замерла. Все свои слюнявые страдания о младенце и красавице Надьке Шура сразу из памяти вычеркнул. Какой потрясающий выход из сложной ситуации! Как здорово, что она уехала к матери. Это судьба!

А что может быть выше судьбы?

— Ты себе не представляешь, как я скучаю по ребенку, как я любил Надю! Но она наотрез отказалась меня видеть и хочет развестись. Теперь она Мире звонит, требует от нее денег,

шантажирует, шпионским образом узнала, что родители у нее состоятельные, угрожает им, собирается в Мюзик-холл жаловаться, чтобы испортить мне карьеру. Но ты ведь знаешь, мой отец этого не позволит, у него есть, чем на нее надавить. Ты, если ее увидишь, так этой суке и скажи, что у нас такие друзья, которые покажут ей, где раки зимуют! — Шура вошел в роль обманутого и отверженного, кричал, жестикулировал. Он верил каждому своему слову.

А Ваня притих, глаза потупил, и видно было, что он не совсем понимает, о чем идет речь. Может быть, он думал совсем о другом? Он ведь не от мира сего, все о добре, о Господе, о любви братской, ребеночком их занимался, хотел его крестить. Странно, что он молчит и в землю смотрит, будто стесняется.

— Шура, ты не думаешь, что лучше вам с Надей помириться? Всякое в жизни бывает, но у вас ведь доченька. Я не могу поверить, чтобы Надя тебе вредила! Она тебя так любит, вы два года прожили. Вам трудно было, а теперь у тебя работа хорошая, ты разбогател. Нужно ее простить, она, видно, чего-то не понимает. Хочешь, я с ней поговорю?

— Нет, ни в коем случае! В это дело тебе лучше не вмешиваться. Моя Мира с ней уже встречалась...

— А почему не ты? Причем здесь эта Мира? — удивился Ванечка.

— Да потому что Надька стала ее преследовать, ревновать, угрожать! Это мне все Мирочка рассказала. Она долго терпела, не хотела расстраивать меня, но в конце концов призналась. И еще... теперь у меня подозрения, что дочка вовсе не от меня. Мира узнала, по своим каналам, что Надька трахалась со всеми подряд. А я, наивный дурак, ей верил. Мне на многое раскрылись глаза в последнее время...

Ваня молчал. Он не знал, как убедить друга вернуться в семью. Он не понимал, как можно одним махом все зачеркнуть.

— Бог тебе судья, он все рассудит...

Разговор не клеился. Ваня взял удочку, забросил леску, включил «Спидолу», передавали новости по Би-би-си. Голос диктора то пропадал за глушкой, то появлялся. Шура немного покрутил настройку, попытался подстроиться к джазу,

но ничего не получалось. Он вспомнил, что совсем рядом, в Буддийском храме, был расположен центр «глушилки». Перед высокой каменной стеной, окружавшей храм, всегда прогуливались вооруженные солдаты, а в небольшие просветы сквозь деревья можно было разглядеть антенны и провода, паутиной подымавшиеся на крышу. Обо всем этом Шура не догадывался, если бы не отец Миры. Он многое знал, а в последнее время стал с Шурой откровенничать о политике.

ПЛАНЫ

Как его любили! Это было чувство вулканическое, материнское, сочетавшее в себе страсть с желанием обладать безраздельно. За их спиной шептались о её романах, над ним хихикали, кое-кто пытался его образумить. Но что есть голос совести и разума перед достатком и карьерой? Шура сдался с потрохами этой ошеломляющей женщине. Её дом был полной чашей, здесь строились планы, в которых он мало разбирался, но центральное место этих радужных перспектив отводилось ему.

За несколько месяцев Мира провернула развод.

Наде, чтобы не «возникала», она отвалила сумму.

Шуре не пришлось особенно «косить» призыв в армию, нашлись добрые знакомые, все сделали в лучшем виде, достали «белый билет». А отец устроил в Мюзик-холл Мирочку, отношения с тетей Милой и Катей тоже наладились.

Не важно, что Мира оказалась не шибко талантливой, но зато главный администратор и директор часто получали от неё подарки. На душе у Шуры было безмятежно, на сердце кошки не скребли, а Мира всегда знала, как снять напряжение.

Память о Наде и дочке он из подкорки вычеркнул.

Память о совсем прошлой жизни тоже стёр.

Новая жизнь началась с чистого листа.

Она должна быть лучше.

Она не может быть плохой.

Она будет счастливой. Он будет знаменитым и богатым.

Так ему сказала его любимая Мира!

А если она это говорит, то так и будет.

Она умная, а он дурак... ха-ха-ха, это она так шутит. Вот умора.

Почему только не берут его на гастроли?

Вот труппа едет уже второй раз в Югославию, а его оставляют запасным в Ленинграде. Мирочка так старалась, подарки отвозила, жену директора в правительственный санаторий устроила в Гагры, а за границу его не оформляют. Со слов семьи, все было «схвачено». Мира сказала, что это от зависти, просто один из бездарей хочет Шурино место занять, вместо него в репертуар влезть, «нужно попробовать пойти другим путем», но каким, она не объяснила. Папочку своего подключила, тот нажал на «кого надо», а мамочка ее устроила «кому надо» пакеты с телячьей вырезкой и балыком. Уверяют Шуру, что у них есть «наверху» свои люди, им нужно «дать на лапу» и что они «своего мальчика» в обиду не дадут. А на днях Мира попросила его подписать письмо, сказала, что оно будет настоящей бомбой для «главного», и когда он с гастролей приедет, то наверняка его пригласят «наверх, то есть куда следует, и попросят кое-что рассказать из своей жизни за границей». Шура ужасно смеялся, он представил лицо «главного», а Мира ему обещала, что «главный на пузе к ней приползёт и будет умолять больше ничего не рассказывать». Хотя у неё в запасе есть еще кое-что...

Вот какая сила была за Шурой!

Вот какая мощь толкала его на Олимп славы!

Он не один, он теперь с любимой соратницей, союзницей по борьбе, «а талант нужно холить и защищать иначе его сорняки задушат» — так говорит Мира.

Он её боялся.

Вспоминать вслух безалаберное пьяное житье с Надей он не решался: песни под гитару, она с сигаретой и рюмочкой Цветаеву читает, ребенок плачет, вокруг друзья, кто уходит, а кто приходит, Ванечка помогает, девочку к себе забирает и три рубля одалживает. Он о прошлой жизни Мира не говорит, а если вспомнит, то она кричит: «Дебилы, недотепы, жалкие неудачники... И ты с ними дружил! Идиот!»

Он её боялся.

У нее над ним была особая власть.

Что это за сила, от нее исходящая, он не понимал. Иногда он чувствовал, что ему с ней «как у Христа за пазухой», а иногда, как в воздушной яме, дух захватывает и под ложечкой спазмит. Отступать было поздно, выбрать невозможно!

Самому разобраться в ситуации было трудно, в голове начиналась полная чехарда, беспорядок и звуки кузницы, будто бумажные отходы в станок запускали, а с другого конца утильсырье выплевывалось, пространство малогабаритное быстро заполнялось до потолка, а станок все молотил... Мира знала, как это мысленное напряжение снимать. Она была единственным покоем и счастьем, вроде экстрасенса.

Родители ее с ним откровенничали. Рассказывали о своих родственниках за границей, там прижилось старшее поколение. Теперь в живых только бабушка, а от дедушки осталась овощная лавка. Мама Миры туда ездила, да не повезло, попала в их «шестидневную войну», думала, что ее обратно не выпустят. Теперь несколько лет прошло, и у семьи возникли планы. Многие родственники уже собираются, а они думают, взвешивают, считают, как, главное, не прогадать.

Ставка на Шурин талант — это главный козырь! С ним они не пропадут. Ресторан откроют, он будет петь, народ пойдет валом, потом гастроли по всей стране. Здесь у него шансов нет, а там свобода. Пой цыганщину, романсы, можно и Галича, а за это денежки и слава. Скоро все поедут, и мы не хуже. Нужно постепенно отчаливать.

Его в театре зажимают.

Талант не ценят.

Это все от зависти, это оттого, что здесь свободу задушили.

А там? Там будет иначе.

Его сразу оценят! Мирочка сказала, что она всех на уши поставит и он будет мировой звездой!

Все говорят, что там лучше.

Письма оттуда приходят, из них понятно, что никто обратно не просится, а значит, там хорошо.

Каждый вечер за ужином отец Миры с Шурой разговаривал. Он ему включал разные «голоса» и объяснял, к чему они призывают. Шура верил всем, а главное, все больше осознавал,

какой он «непонятый» талант, что здесь сплошной «совок», а там перед ним откроются двери Счастья, творчество, сцена, гастрологи. Мирочка будет его администратором и путевой звездой, они разбогатеют, купят дом, а новая семья уверяла его, что не только он, но и его отец сможет «там» по-настоящему стать знаменитым, место найдется всем, главное — «держаться локтя». Шура рюмочку французского конька вышивал, потом виски, потом пива и делал умный вид. «Да, вы правы. Я не подведу. А здесь только зажим и никакой свободы...» Он напряженно вслушивался в «голоса», но понять, кто есть «узник совести», «отказник», «отступник», «политзэк», «диссидент», «невозвращенец» и просто «враг народа», было очень трудно. Отец Миры ему раскрывал глаза на то, что «мы сейчас СССР не нужны (да и он нам сейчас не нужен), лучше поехать на родину предков и там проявить свои таланты». «Нас там ждут с распростертыми объятиями. Нам помогут». Он был отставником, рассказывал о своем боевом прошлом, хвастался наградами и частенько жаловался «на недальновидную политику партии». «Дали бы волю таким, как мы! С нашим опытом, связями, энергией, знанием людей мы бы здесь горы свернули и никуда бы не ехали. Мы эту страну из руин подымали, душу вкладывали, кровь за нее проливали, а теперь нас выжимают. Ну, да они еще наплачутся!»

Когда они эти планы обсуждали, то всегда на полную мощность включали радиоточку, на телефон клали подушку и из розетки выключали, говорили: «Нас прослушивают».

Это было похоже на кино про Штирлица.

Он вспоминал своего деда, как тот орал: «Всех в подвал и к стенке», а еще он вспоминал «друзей» отца, как они в их квартире тайные беседы вели и как отец гордился дружбой с ним». Где друзья, где враги? Картина выходила путаная, но похоже, что за этими людьми сегодня сила, что они не только СССР построили, умами ворочали, на кнопки невидимые нажимали, но и сейчас в их руках власть — как захотят, так шарик и закрутят. Если здесь у них все схвачено, то уж там они наверняка не пропадут. Старшее поколение были молодцы, они знали, как жить! Отец его всегда прямо по жизни к цели шел, вот на-

грады и звания по заслугам получил, в театре на счету, друзья «наверху». Бабка и К. П. тоже из «бойцового» отряда, всего сами добились и всегда делили людей на «своих» и «чужих»... Шура вздыхал и вспоминал деда. Он теперь понимал, что означали его пророческие слова, что «нельзя расслабляться» и, главное, в душе «сохранять образ врага». А враги в этой поганой стране повсюду, старшее поколение это хорошо усвоило, потому и выжило и пробилося. Теперь его очередь эстафету принять, он глупым был и многого не понимал, а теперь все в его голове встало на место. Какое счастье, что он Мирочку встретил и она ему глаза на мир раскрыла!

Шура был уверен, что с отцом, артистом и либералом, он может поделиться планами о будущем.

* * *

Они стали неразлучной парой. Если Шура опаздывал к ужину или задерживался, она вызванивала его по городу. Всегда находила, теребила, говорила, как она скучает. Всех его старых приятелей она так умно «обнажила», что он сам понял, какие они жалкие и бездушные. Теперь у них подобраны общие знакомые, по интересам и целям. Друг — это тот, кто в жизни не подведет, на которого можно рассчитывать в трудную минуту, остальное все лирика и интеллигентские сопли. Из Мюзикхолла несколько человек уволили, прорабатывали на парткоме, потом им палки в колеса вставляли, унижали, они в три дня манатки собирали, но все равно уехали. Один из знакомых голодовку дома держал, о нем они слушали по «голосам», называли его «рефузник-отказник». Мирочка сказала, что она к нему боится ездить, чтобы «не засветиться», вокруг него полно гэбни. Она говорила, что у ее семьи другие задачи, чем у «некоторых», в политику лучше не соваться. Она говорила, что с «принципиальными сионистами» она никогда не свяжется, что она не сошла с ума, чтобы за «эти дурацкие убеждения нервы трепать, голодать и в тюрьме сидеть». Сейчас «гнать волну» не нужно, поэтому подписывать всякие письма в защиту «рефузников» (как это кое-кто делает) они не должны, а нужно использовать путь «объединения семьи», там живет ее бабушка, она

их ждет, и поэтому постараемся все проделать в лучшем виде. Необходимо подготовить семью Шуры к возможному переезду. Рассказать об их планах может только она, а Шура будет сидеть рядом и слушать. Тетя Мила, Катюша и отец наверняка знают о перспективах, которые откроются перед ними. Они же не дураки, чтобы плевать в колодец, они люди деловые, образованные, в курсе мировых событий, а главное, верят ей и хотят счастья сыну. Невозможно даже представить, какой мировой фурор будет, когда сообщат по «голосам», что самый знаменитый артист СССР уезжает из страны! Тут и голодать не нужно будет, в случае чего правительства всех стран встанут на его защиту. А это означает, что, когда они туда приедут, их будут носить на руках. Нужно не торопясь все подготовить, продумать, как переправить ценности, поменять квартиру, вовремя уволиться из театра...

Обычно эти разговоры велись ночью или на прогулках. Шурино сердце замирало от счастья, он был уверен, что его отец будет гордиться таким сыном и невесткой! Мира так все хорошо и осторожно продумала. Ведь отец сам неоднократно обсуждал за столом новости «голосов», за границей бывал и вспоминал, как там люди живут. Он говорил, что в наших газетах одна пропаганда, там народ с голода не мрет, в магазинах еды полно, машин разных немерено, последний бедняк имеет автомобиль. Шура часто слышал, как отец с тетей Милой мечтали о жизни в Париже. «Начал бы я свою карьеру там, — сладостно мурлыкал отец, — все было бы иначе, не испытал бы я тех унижений, которые выпали на мою долю здесь...» Об унижениях он не распространялся, видно, из-за карьеры отец много натерпелся от завистников, а Шура это уже познал на собственной шкуре.

Но теперь все будет иначе. Шура гордился собой, он поможет отцу, и они по-настоящему прославятся. В голове его носились картинки красочных афиш с их именами, открытие ресторана, гастроли, кинокамеры. Он представлял, как будут, вылупив глаза, смотреть на телеэкран здешние актеришки-завистники, как по «голосам» будут рассказывать об их необыкновенной карьере на Западе. Ах, эти мечты, ах, эти сладостные

сны! Неужели это все может стать реальностью? Он уедет из страны непуганых идиотов, от зависти, злобы, неудачи, бедности... и того, чего он не понимает, но Мира ему шепчет, что он потом поймет. Она его выведет в люди, она костыми ляжет, она там всех сумеет взять за горло, да так, что они не пикнут, будут ее слушать и делать, как она велит.

Планы строились, вырисовывались, время шло, Шура обростал новым сознанием. Кто есть друг, а кто враг? Своя семья — это друзья, мой дом — моя крепость, а в чужой — враги. Своя семья — это закон, а в чужой — беззаконие. Он опять перестал выходить из дома, только в Мюзик-холл и домой, в гости ни-ни-ни, а к ним только те, кто с ними заодно. Мира ему долбила, что раньше «он был дурак, ничего не понимал и со всякой шантрапой связывался».

Время шло, и приближался день, когда стало необходимо рассказать о планах отцу.

* * *

В один из зимних воскресных дней они приехали на дачу в Репино. Стояла солнечная и морозная погода, все сверкало и искрилось, народ с веселым видом покидал электрички, шумные компании высыпали на перрон, становились на лыжню, им предстоял здоровый отдых вдали от серого, мрачного города. У Шуры с Мирой на душе было спокойно и хорошо. Бодрым шагом они дотопали до дачи и уже издалека увидели дымок, поднимающийся над высокой остроконечной крышей. Отец построил этот дом по особому индивидуальному проекту, хотел, чтобы он походил на финские дома, удалось даже раздобыть изразцовую печку-голландку, а на полу постелить цветной линолеум. Все сверкало чистотой и уютом в этом доме, барский дух сочетался с актерской вольностью и домовитостью. Каждая вещь знала свое место, каждый посетитель принимался радушно и по рангу. Здесь бывали не только знаменитые актеры и литераторы, но и министры. Своих студентов отец здесь принимал редко, в основном на квартире в Ленинграде, так было удобнее всем.

Шура позвонил у массивной калитки, тетя Мила в коротенькой модной дубленке, накинутой на плечи, выбежала им

навстречу. Видимо, она только что вернулась с лыжной прогулки и еще не успела переодеть спортивного костюма, лицо размякшее, глаза сияющие, как всегда, приветлива. Она крепко обняла Миру, потрепала Шуру по щеке, прошли в дом.

— Подымайтесь к себе в комнату, а в три часа будем обедать, я уже на кухне распорядилась, готовят для вас специально украинский борщ и пельмени. Отец вернется к обеду, поехал в Комарово в Дом творчества, какая-то шишка из Москвы приехала говорить о планах театра, обещают гастроли по Франции. Я пойду приму душ, а вы уж сами развлекайтесь, — и она исчезла в глубине дома.

Насколько Шура не любил этого дома, настолько Мира его обожала. Она «купалась» в его уюте, любовалась редкими безделушками, привезенными из-за границы, забивалась в шелковые подушки дивана в библиотеке отца, включала магнитофон и мечтательно закуривала американскую сигарету. Только здесь и у себя дома она могла спокойно позволить себе эту роскошь — никто не настучит и не насплетничает, откуда у нее взялось «Марльборо». Стеллажи с книгами по искусству, редкие старые от букинистов подписные издания, альбомы фотографий на низком столике, их разрешалось смотреть всем, а книги трогать и листать, если хозяин позволит. Вся стена в столовой была увешана не только фотографиями отца в ролях, но и рядом со знаменитостями. Здесь мелькали президенты Африки, ГДР, Польши, летчики, космонавты, физики, знаменитые врачи, актеры... Так, чтобы все знали, с кем он водится. Отец всегда сначала заводил гостя в эту комнату, оставлял минут на десять одного, человек невольно к этой стенке «прилипал», читал надписи на фотографиях, проникался уважением к хозяину, потом отец возвращался, галантно извинялся, что «нужно было срочно позвонить в Москву», и приглашал расслабиться в креслах.

За многие годы Шура изучил в поведении отца много разных «прибабахов», раньше он это презирал, а теперь стал уважать. Мира говорила, что «в жизни важно себе цену не только набивать, но и эту цену знать».

В доме было жарко, котел жарился круглые сутки, батареи раскалены до предела. Отец терпеть не мог холодного пола и

утреннего просыпания в «морозилке». Зимой к ним каждый день приходил мужичок-истопник, местный плотник и мастер на все руки. Тетя Мила ему доверяла, узнала по своим каналам, что в прошлом он служил при «ведомственном учреждении» и был на хорошем счету, жену его они взяли домработницей и поварихой, а когда уезжали с дачи, то поручали им за домом следить и в порядке его содержать.

Стол к обеду был накрыт на четверых. Катюша со своим женихом уехала в Москву на несколько дней. Он дипломат, и ему обещали неожиданное продвижение по службе, поговаривали, что отправят первым секретарем посольства в Алжир. Но пока об этом «молчок, никому ни слова, подальше от глаз завистников, чтобы не сглазить». Уже давно поговаривали о Катиной свадьбе, а теперь вопрос стоял ребром, они должны ехать в Алжир вдвоем, холостых не пускали. Тетя Мила была очень рада предстоящей свадьбе дочери и с улыбкой говорила о том, что необходимо объединить Катю-Вову-Миру-Шуру. Закачать пир на весь мир, снять большой ресторан, можно зал в «Астории» и отпраздновать на славу, у нее тогда сердце успокоится, что она двух своих любимых детей устроила в надежные руки!

Отец был сегодня в прекрасном настроении, встреча с чиновником Министерства культуры закончилась удачно, его назначили ответственным за гастроли по Франции. Отец был счастлив за Катю и рад за Шуру.

Когда на столе расставили чашки и принесли огромную ватрушку с изюмом, Мира со вкусом закурила и сказала:

— Дорогие наши родители, нам нужно кое-что вам сообщить.

Тетя Мила сразу поняла, что ее намеки о совместной свадьбе были услышаны, и, разливая чай, предвкушала обсуждение этой темы. Отец откинулся в вальяжной позе, закурил сигару, попросил себе кофе. Он это делал крайне редко, в самые приятные минуты жизни. В доме было тепло, уютно, комфортно и безопасно.

— Дорогие наши родители, мы долго собирались с вами поговорить, но теперь настал момент, когда время не ждет...

— Неужели ты ждешь ребенка? На каком месяце? — радостно сорвалось у тети Милы, ее рука застыла с тарелкой ватрушки.

— Нет, моя дорогая Людмила Сергеевна, об этом пока рано мечтать. Я хочу поговорить с вами о других проектах. Я уверена, что они будут для вас так же приятны, как планы Кати и ее будущего супруга...

Мирочка открыла ротик: «Мы вас любим, мы вам верим, мои папа-мама тоже вас любят, я люблю Шуру, я хочу ему счастья, и наша семья уверена, что если он нас будет слушать, то его будущее обеспечено, а если вы согласны, то и ваше семейство от этого только выиграет». Ее монолог длился десять минут.

— Слушай, крошка, мы не возражаем против вашей свадьбы. Я твоим родителям верю и вполне разделяю их взгляды на семью. В чем проблема, разве мы против вашей свадьбы? — отец мурлыкал, как кот, встал, подошел к заветному шкафчику, достал бутылку «Камю» и добавил себе в кофе.

— Нет, дело не в свадьбе. Мы ведь хотим уехать.

— Куда, если не секрет? Наверняка в свадебное путешествие в Коктебель? Ты ведь любишь Крым, детка? — Отец отхлебнул кофе, встал, включил магнитофон, из него полился голос Эллы Фицджеральд.

— ...Мы хотим уехать в Израиль, — почему-то совершенно изменившимся голосом произнесла Мира.

Тишина — тишина — шок — шок — заморозка тел, мимики нет, губы не жуют, руки не двигаются, все оборвалось внутри, все замерло снаружи, жизнь остановилась, время не тикает, опасность на пороге дома, она уже в доме, страх за себя, за будущее, кошмар, ужас, это страшный сон, нужно себя ущипнуть, проснуться, все исчезнет, нет, это, к сожалению, — правда, ее трудно описать, невозможно понять, как во сне бессмысленные движения, глоток чая, глоток воздуха, глоток коньяка, жест, усмешка, пауза, молчание, опять усмешка, смешок, смех, глупая шутка...

— Ты шутишь, конечно? — произнес артист.

— Нет. Но ведь вы поедете с нами? Вас там ждет карьера, слава, богатство. Я все сделаю, чтобы Шурик встал на ноги, мы

купим ресторан, а о вас весь мир будет трезвонить, вас там на руках будут носить... Ваши мечты сбудутся! — Она говорила много, долго, убедительно, по всей запланированной программе, но уже сама не верила в успех. Монолог иссяк, планы с жизнью не сошлись, все пропало. Шурик плеснул полстакана коньяка, выпил залпом, закурил, вышел из комнаты на крыльцо. Морозный короткий день догорал, он начался счастливо, кончался ужасно. Горстью снега Шура вытер лицо, оно горело не от коньяка, не от мороза, а от ужаса, наполнившего его сердце. Он вдруг осознал, что произошло непоправимое событие, разговор с отцом обернул всю ситуацию совсем не так, как думала Мира, с этой минуты назад дороги нет, и чем дальше, тем будет страшней. Он сплюнул в снег и вернулся в столовую.

Отец уже ходил по комнате, кричал в голос, тетю Милу била нервная дрожь; чтобы успокоиться, она укуталась в огромный пуховый платок и устроилась с ногами на софе.

— Да вы оба сошли с ума! Ты, наверное, не понимаешь, что я никогда и никуда не уеду из своей страны. Я ей всем обязан! Всем! Понимаешь — всем! Она меня вырастила, воспитала, здесь моя родина, мой дом. Ты не понимаешь, что там мы чужие и мне там делать нечего?! А что будет делать этот бездарный идиот (он ткнул пальцем в Шуру)? Неужели ты думаешь, что он там выживет? Он же под забором умрет, а ты его бросишь! — отец на секунду перевел дыхание: — Ты не подумала о санкциях, которые последуют после вашего отъезда? Меня из партии попрут, а потом из театра, Катюшин муж лишится должности, его песенка будет спета навсегда, на дипкарьере можно будет поставить жирный крест, нам всем выдадут «волчий паспорт»... А о матери моей, профессоре, вы подумали? Что с ней будет? Она ведь жизнь свою здесь положила, сколько студентов воспитала, она всеми уважаема! И что вы хотите, чтобы она на старости лет стала изменником Родины? Позором себя покрыла! Она не переживет этого!

— Кто же придумал эту историю отъезда? — дрожащим голосом спросила тетя Мила из своего угла.

— Кто бы ни придумал, а моей поддержки вы не ждите! И не надейтесь! Я не идиот, чтобы подписывать себе и моей семье

смертный приговор, — отец орал в голос, резко обернулся к Шуру. Нервный тик исказил лицо актера, глаз дергался, рука судорожно мяла носовой платок.

— А ты, кретин, видно, не представляешь, что тебя ждет на так называемом свободном Западе? Ты ведь нигде не был, ничего не знаешь, советую подумать вам обоим, прежде чем решаться на подобное мероприятие. Во всяком случае, от меня помощи не ждите! Сразу говорю, что никаких бумажек я не подпишу! Кстати, у тебя ведь есть дочь и обязательства перед ней?

— Это не его дочь, и вы это прекрасно знаете! — взвизгнула Мира.

— Неужели? А почему же она носит его фамилию и так на него похожа? — удивилась тетя Мила. Ей очень хотелось принять участие в разговоре, защитить своего любимого мужа от нападков этой чужой женщины. Необходимо их из дома удалить, больше к себе не пускать, а то все пойдет прахом. Она сразу представила, какой скандал вызовет это в театре, в Министерстве культуры, в Правительстве, в руководстве, «наверху»!!! Они лишатся всего и навсегда! Их ждет позор, бедность, бесславие... и многое другое, о чем они уже слышаны. Что же делать?

— А теперь прошу покинуть наш дом и никогда впредь не появляться и не звонить. Нам с вами не по пути, у нас разные цели и задачи, как жаль, что я в тебе, Мира, ошибался. А тебя, — отец грозно взглянул на Шуру, — мне искренне жаль. Одумайся пока не поздно, ты ведь еще не расписан с ней. У тебя остается последний шанс спасти себя и нас от позора. — Вид у отца был пришибленный, голос тихий, лицо бледное, события его настолько потрясли, что казалось, он вот-вот рухнет.

— Прошу вас, уезжайте, прекратите это издевательство. — Тетя Мила резко поднялась, обняла за плечи мужа, и он, как покорный, маленький ребенок, вышел с ней из комнаты.

Гром, молнии, град, наводнение, великий потоп — можно было ожидать чего угодно, но только не такого поворота событий. Мира судорожно курила, глаза прищурила, сама ощерилась. Пока она не знала, что делать.

Шура её боялся и любил.

Отца он уже давно не любил, но и не боялся. А перед ней дрожал, была у неё над ним власть. Что это за сила? Он не понимал.

— Ну что, уже раскис, идиот! Едем! И будем бороться! Теперь, по крайней мере, ясно, кто друг, а кто враг! — Она раздавила окурок в пепельнице и вышла из комнаты.

* * *

— Мама, мама, что такое?

Не малиновое ль варенье?

— Что ты, детка? Это папа
впал в трамвайное крушение.

Шутливое четверостишие, слова народные, вполне соответствовало сложившейся ситуации. Мира объявила Шуриной семье войну не на жизнь, а на смерть!

Мира Шуру обожала, им владела и болезненно ревновала.

Он кролик, а она вроде удава или кобры. Под её чутким руководством он был готов на всё.

Каждый день приближал события. Они, словно снежный ком, обрастали деталями. Мира никак не могла взять в толк, отчего знаменитый артист повел себя неадекватно? Обиднее всего, что он её унизил, несерьёзно к ней отнёсся, почти как к дуре. Потом она сделала вывод, что он просто «поганный патриот, трусливый карьерист и скрытый антисемит». Отступить от своих планов она не хотела, да и не могла, потому что её родители уже оформлялись в ОВИРе*. По идее «объединения семьи», они вперёд поедут, а она с Шурой вдогонку. Если его семейка будет им вредить, палки в колеса вставлять, она на них управу найдет, даже друзья в «верхах и органах» ему не помогут! Обезвредить артиста можно разными путями: начать с мелочей, анонимок «куда надо», а закончить мировым скандалом. А за это время родители её тихонечко уедут, там устроятся, она сумеет в Ленинграде продать квартиру, мебель, антиквариат, переправить «брюлики» и подготовить почву для карьеры Шуры. Он туда приедет, и сразу афиши, ресторан, га-

строли, деньги, слава, папаша его будет только зубами клацать от злобы. Приёмник включит, а из него по всем «голосам» его сын поет и правду об их отъезде рассказывает: как им вредили, какие «органы» подключали, как из Мюзик-холла выгнали и работы лишили, они с хлеба на квас целый год перебивались, страдали, друзья помогали — мир не без добрых людей...

Мира знала, что самая трудная задача даже не с этими продажными патриотами справиться, а с бывшей женой Шуры. Он, сопляк, до сих пор эту «колдунью» любит, о девочке своей вспоминает, иногда ходит подсматривает, как она из садика за ручку с бабушкой выходит, даже жалкие гроши через знакомых пытался ей подбрасывать. Это Мире известно через своих шпионов, но она скандалов пока не устраивает, а как только они распишутся с ним, тут уж она станет полноправной хозяйкой, но расписаться можно будет только после отъезда её родителей, чтобы никак Шурино имя в документах сейчас не мелькало, внимание чиновников не привлекало. Какая же она дура, что до отъезда родителей «засветилась» артистической семейке! Страшно, если знаменитость на «кнопки свои будет нажимать»!

Мысли вертелись в голове Миры круглые сутки, трудно поверить, что ещё полтора года назад она восторгалась Шуриной семьёй и была уверена в их единстве. Вот змеи подколенные, рассуждают о «духовности и творчестве», а на самом деле «совки», за деревянные рубли купленные, только о наградах и думают. А их сучке-дочке с дип-зятём я покажу, «где раки зимуют»! Она мне многое из своих секретов нашептала, ни в какой Алжир они не поедут, в лучшем случае зятёк будет прозябать в МИДе, бумажки из кабинета в кабинет таскать.

А сейчас нужно затаиться и сделать вид, что они обдумывают их советы. Пусть считают, что дачный разговор произвёл впечатление, и они вправду засомневались.

— Шура, ты позвони своему папаше-патриоту и скажи, что он прав и мы, вероятно, никуда не поедём. Нужно ему мозги запудрить, бдительность его усыпить, а то он такую кашу заварит

* Отдел виз и регистраций. — Прим. ред.

и дров наломает... Попроси их никому не распространяться о нашем разговоре.

Мира понимала, что знаменитый артист и сам будет играть в молчанку, не в его интересах трепаться о «таких» планах. Но в данной ситуации навести тень на плетень не помешает.

Родителей своих она оберегала, о скандале на даче не рассказывала, отнекивалась. Как ни странно, им не пришлось долго ждать, к весне родители Миры уже получили разрешение на выезд, отважной не устраивали (чтобы не привлекать особого внимания), тихонечко улетели на историческую родину. На душе и в квартире образовалась пустота. Мирочка очень любила своих «стариков», жалела их, кроме того, они были большой материальной подпиткой. Теперь можно было расписаться с Шурой, и напрямик к намеченной цели.

Время шло, оно спрессовалось, сжалось в комок, нужно многое успеть, главное, не расслабляться и не мелочиться. Первый этап они прошли: уволились тихонечко из Мюзикхолла, деньги ей родители оставили, она продала кое-какие малоценности, а «Жигуленка» продадут под отъезд, теперь нужно добиться от Надьки подписи под свидетельством, что она «не возражает против отъезда отца ее дочери». По закону «свинства» в ОВИРе требуют выплаты алиментов до совершеннолетия девчонки. Но она же не его дочь! Нужно это доказать, Шурку пошлем «по благу» в лабораторию сдать сперму, ему справку выдадут, что он «уже десять лет как импотент», а потому зачать ребенка не мог, Надьку обвинят в мошенничестве, алименты платить не нужно будет. Ха-ха-ха! Мирочка была собой довольна, ловко придумала, не головка, а «дом советов»!

Шуре такой план показался забавным, он представил процедуру в лаборатории и глупо хмыкнул.

Пришлось ехать в Первый медицинский, где его обласкали, сказали, что через десять дней выдадут нужную справку. Шуре всё это казалось смешным, несерьезным, но коли так велела Мира, он согласился, иначе выходило, что деньжищи до совершеннолетия дочки нужно было бы выплатить огромные. А кому хочется?

Справку выдали, он её по почте заказным письмом Наде послал, она глазам своим не поверила, звонила, плакала в трубку и искренне его жалела, сказала, что это не она хочет алименты, а ОВИР от неё так требует, она от него никогда ни копейки не просила, она здесь ни при чем, дочка носит его фамилию, а он её отец. Мира вторую телефонную трубку держала, нервно курила и Шура громко зашептала, что заплатит Надьке, если та откажется от отцовства и его фамилии. «Скажи этой стерве, что бабки будут бешеные!» — билась в истерике Мирочка. Шура идею выдвинул, предложил, а Надя плакала и не понимала, зачем лишать девочку отца, говорила, что никаких денег ей не надо и что это вправду ОВИР требует. Пришлось продать «Жигуленка» и заплатить этой жадной гадине всё до копейки. «Вот увидишь, она эти деньги просадит за десять дней! Она цену денег не знает! Это же богема! Твоей доченьке достанутся к совершеннолетию рожки да ножки». Ох, как она ненавидела эту длинноногую малохольную «колдунью»!

Документы для выезда на постоянное место жительства в Израиль были почти собраны. Не хватало двух подписей: Шуриной матери и его отца.

В Москву решено было поехать одной Мире, она предварительно много и ласково говорила по телефону, в сутки обернулась туда и назад. «Если бы все были такими сговорчивыми, как твоя мамочка! Деньги пересчитала, бумажку подписала, о тебе не спросила».

К отцу они не знали, как подступиться, а время поджимало.

В результате решили ему послать по почте письмо, с просьбой написать заявление, «что он не возражает о выезде своего сына на постоянное место жительства в государство Израиль...» и так далее, все по форме. Ждут неделю, никакой реакции, звонят по телефону, никто не снимает трубку. И вдруг, совершенно неожиданно, им какой-то человек говорит, что его отец выступил с заявлением в Обкоме партии, в газете «Труд» и по радио, что он осуждает поступок своего сына и чуть ли не отказывается от него, что «он, советский патриот и творческий деятель, положивший всю свою жизнь и силы на прославление советского театра и кино, не понимает, как можно предать

свою Родину, и что никакого согласия на выезд он никому не подпишет...» И еще много-много другого было написано в этом ярком документе, а внизу приписка, что бабка-профессорша присоединяется к этому официальному осуждению.

Такой безобразной прыти от артиста Мирочка не ожидала. Она позвонила знакомому гэбэшнику (он её родителям помогал оформляться) и рассказала о событиях. Он уже все знал и сказал, что это очень хороший поворот в деле, потому что волки сыты и овцы целы: «Отец смыл позор своего сына официальным заявлением, он за него не в ответе, от него отказывается, руки теперь у всех развязаны».

Мирочка так ликовала, что готова была этого знаменитого папашку на руках носить! Черт с ним, пусть здесь в «совке» прозябает, своей творческой бытовухой наслаждается, лишь бы им не мешал.

Через пятнадцать дней они получили повестку из ОВИРа.

СВОБОДА, СЛАВА И ДЕНЬГИ

Не стоит рассказывать перипетий предотъездной горячки, она ничем не отличалась от сотен других. Почти у всех прошедших унижения ОВИРа были жалкие пожитки, на сборы давалось три дня, счастливыхчиков, сумевших заранее переправить ценности, было меньшинство, кого-то вдали ждали родственники, кто-то до последней минуты сомневался. Заставляли уезжать семьями, старшее поколение ехать не хотело, здесь была их родина, там незнакомый язык и чужая страна. Отъезд, как эпидемия, заражал всех, и от этой лихорадки невозможно было укрыться. Другого пути покинуть Страну Советов в те годы не существовало, выезд в Израиль использовали не только евреи, но и русские, присылались фальшивые вызовы, женились на еврейках и выходили замуж за евреев. Шанс, хоть и очень сомнительный, был для многих большим соблазном. Назад дороги не было!

Поезд, на который погрузились Мира и Шура, отправлялся из Москвы проездом через станцию Чоп на русско-венгерской границе с конечной целью в Вене. Соседи по купе были спутни-

ками «по несчастью», разговоры вертелись вокруг оформления виз, документов, садизма ОВИРных дам, предательства и трусости друзей. Народ должен был выговориться, выпотрошиться наизнанку, столько накипело, что никто не мог молчать. У каждого была своя история, рассказы, слезы, горечь и надежды. Странно, что никто не строил планов, прошлое спрессовалась в этом поезде Москва — Вена, и состояло оно из воспоминаний. Объединяли этих людей горечь и обида, зачем СССР, в который они вложили жизнь, провожал их как предателей Родины.

— Я эту страну непуганых идиотов из сердца и души вычеркнул, ностальгией болеть не буду! Это уж я вам гарантирую, — с жаром уверял слушателей гражданин лет сорока. — У меня специальность прекрасная, я врач с двадцатилетним стажем, как приеду, меня сразу в больницу возьмут, а жена моя — инженер-нефтяник, там таких уникальных спецов, как она, вообще нет. Голодать не будем, это точно!

Мирочка тоже делилась своими «прожекторами», и все вокруг охали да ахали, завидовали её ловкости и дальновидности. Так они все ехали да ехали и приехали на венский вокзал.

Суэта, багаж, тюки, плач детей, старики — все это напоминало эвакуационные кадры кино. Время мирное, а у самого выхода из вагона их встретили люди со списками. На платформе все расселись кто как мог, дальше не пускают, их окружили люди в униформе и задавали вопросы каждому в отдельности. В одной группе чиновники из организации СОХНУТ*, а в другой — ХИАС*. Для пассажиров это полная абракадабра, но кто-то уже был в курсе такой проверки-сортировки, подготовились. Из СОХНУТа отбирают тех, кто хочет напрямик в Израиль, а кто сомневается, тех ХИАС забирает, в лагерь Остия, под Римом, отправляет, это вроде отстойника на долгие месяцы, зато потом если повезет, то Америка, Канада, Австралия, в Европе никого не оставляют.

* Еврейское агентство, занимающееся «абсорбцией репатриантов» в Израиле. — Прим. ред.

** Hebrew Immigrant Aid Society (англ.) — Общество помощи еврейским иммигрантам. — Прим. ред.

— В какой степени Вы ощущаете себя евреем? — этот вопрос был задан высокому, тощему господину в пенсне, который всю дорогу провалялся на верхней полке, молчал, курил трубку, читал книжки по-французски и ни с кем не разговаривал.

Теперь он стоял на платформе, у его ног кожаный чемодан, на пальце золотое кольцо с печаткой. Мирочка ушки на макушке наострила, с любопытством на странного полуиностранца смотрит. Интересно, что он ответит?

— Ни в коей мере я не ощущаю себя евреем, я светлейший князь Г. и в Израиль не собираюсь, у меня есть родственники в Швейцарии... — Его мгновенно окружили ХИАСники, тут же появились иностранные журналисты, защелкали фотоаппараты, кинокамеры, очевидно, приезда этой «птицы» ждали.

Вот это да! Шикарный господин, видно, дело знает. В голове у Мирочки сразу все завертелось. Шестое чувство ей нашептало, что этот тощий интеллигент своего не упустит, может быть, он «сын лейтенанта Шмидта», но поступает правильно! Она потащила Шуру за руку в конец очереди и зашептала.

— Слушай, ты должен сказать, что не ощущаешь себя евреем. Этот ХИАС нас к себе возьмет под крылышко. Ты видел, как этого «князька» принимали?! А он не дурак, знает, как нужно выехать, что сказать и где причалить. Мы должны зацепиться в Вене всеми силами, а потом что-нибудь придумаем!

— А как же твоя семья? — удивился Шура.

— Не беспокойся, главное, о нас нужно думать, о твоей карьере, а к родне мы всегда успеем попасть...

Вопросы-ответы, весь народ разбился на две кучки, у многих вид растерянный, кто-то плачет, некоторые семьи разделились, молодежь в Израиль ехать не хочет, старикам все равно, они там обеспечены.

— Мы тоже не ощущаем себя евреями... У нас тоже дворянские корни, у моего мужа отец — знаменитый артист театра и кино, а бабушка из древнего рода, правда, она это забыла, но мы вспомнили.

Молодой чиновник внимательно посмотрел на Миру, ни один мускул на его лице не дрогнул, он сверил фамилии по

списку, поставил галочку и на чисто русском языке сказал: «Проходите».

Через два часа все были опрошены. Одна группа через двадцать четыре часа отбывала в Израиль, другой предстояло пробыть неделю в Вене, а потом — «итальянское гетто» на много месяцев ожидания.

Всех рассадили по автобусам, группу, выбравшую «итальянское направление», повезли через весь город в домики пансионного типа, а те, кто «ощущал себя евреем», через несколько часов отлетали в направлении исторической родины. За окнами автобуса замелькали огни, непривычно чистые улицы, ухоженные парки, кафе, нарядно одетая толпа, спешившая по своим делам. Мира прилипла носом к стеклу и не могла оторваться, рассказы о «загнивающем» Западе были жалкой пародией на то, какой недостаток она учуяла в воздухе этого города. Это надо же, живут же люди! Вот указатель, что до Венгрии рукой подать, от Москвы лету два часа, а все здесь как на другой планете. Потом был просторный, чистый пансионат, любезные чиновники провели инструктаж, сказали, что будут кормить три раза в день, дали карманные деньги, поселили в огромную комнату с телевизором, предупредили, что через неделю (а может, и раньше) отправка в Рим.

Вечером в большой столовой за одним столиком они оказались рядом с шустрым и веселым малым. Оказалось, что он окончил Институт Лесгафта, был мастером спорта, перед отъездом подрабатывал массажистом у друга в сауне.

Он был уверен, что нужно всеми силами зацепиться в Германии, его заветная мечта — покупка спортклуба для рядовых граждан. Дорога к успеху заранее обеспечена, он знает, как сбросить лишний вес, делать массажи, купит тренажеры, наймет хорошеньких девочек (свои дешевле), а через пару лет станет хозяином ресторана. Мира замерла, когда услышала это волшебное слово.

— Ты хочешь русский ресторан купить? Слушай, а ты знаешь, что это моя мечта, ведь Шурик — первоклассный певец, на гитаре играет, а посмотри, какое обаяние, внешность. Давай вместе к цели пойдём?!

Парень смерил Мирочку оценивающим взглядом, на Шуру взглянул мельком.

— Ну а бабки у тебя есть? Здесь одним талантом не проедешь, это тебе не Голливуд.

— Слушай, у меня все продумано, свою долю мы внесем, мне пришлют «капусту» родичи. — Мирочка не стала распространяться, как она со знакомыми грузинами переправила свои «брюлики» в Израиль. Ей обещали все реализовать в лучшем виде!

Парень был крепышом, роста невысокого, волосы курчавые, глаза со смешинкой, звали Юриком. Он сказал, что нужно «рвать отсюда когти», перейти австрийскую границу и оказаться в Мюнхене.

— Ну а за переход границы денежки вперед. Завтра, Шурка, выйдешь в город со своей балалайкой, лучше на центральную площадь, пой свои романсы да шапку подставляй. Проверим, как на тебя клюет Запад. Это будет для тебя боевым крещением. — Парень достал миниатюрную записную книжечку и что-то записал. — Друзья, выпьем за успех предприятия! — Он нагнулся и из-под стола ловким движением достал бутылку виски.

* * *

Из большого цветастого платка, длинной юбки и вышитой кофточки она соорудила себе русский костюмчик. Шура был «прикинут» лучше. Еще до отъезда в театральные мастерских Мюзик-холла они «одолжили» атласные косоворотки, красные сапоги, широкие бисерные пояса, семиструнная гитара расписана цветами, а в дополнение фольклора Мира била в бубен и приплясывала. Пара выглядела супертоварно. Недалеко от них трое местных студентов играли на скрипочках и флейтах Моцарта, конкуренция оказалась жесткой, под натиском бубна и цыганщины ребята не выдержали, пришлось искать другое место.

Шура с Мирой так старались, что через час вокруг них образовалось плотное кольцо зевак и туристов. Им хлопали, бросали монеты, кто-то просил исполнить «Подмосковные ве-

чера», время летело незаметно, и к концу дня шапка-ушанка была полна иностранной валюты.

Усталые и довольные, они приплелись в пансионат. Юрик их ждал, вместе стали считать выручку, он деловито разделил сумму пополам.

— Шурка, ты молоток. Может, из тебя выйдет второй Алеша Дмитриевич?! Он до старости у себя в Париже пел, на него вся эмиграция молилась. Будешь меня слушать, выбьешься в люди. Времени у нас в обрез, я слышал, что через три дня погрузка в Рим, так что готовьтесь, скоро нас ждут великие подвиги. Кино про шпионов помните? Здесь границы не «на замке», и при малой хитрости мы этих «фрицев» одурачим. А теперь, братцы-кролики, на покой, завтра у вас трудовые будни, а я по делам побегу.

Жизнь в Юрике была ключом, невольно даже Мирочка подчинялась этой кипучей энергии, он послан им свыше, и они с ним горы свернут, она всегда верила в успех, гордилась своей проницательностью и знанием людей.

На следующий день они пришли на ту же площадь. Из-за воскресного дня народу собралось еще больше. Кто-то их фотографировал, просил автограф. Худощавый, спортивного вида мужчина подошел к Шурику совсем близко, щелкнул фотку.

— Здравствуйте, — на чистом русском языке обратился к ним иностранец. — Я журналист радио «Немецкая волна», сейчас в командировке, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?

Шура перебирал гитарные струны, растерянно посмотрел на Миру.

— Отойдем в сторонку, — Мира взяла журналиста под руку. — Что вас интересует?

— Сейчас не так много выезжающих из СССР, можно надеяться, что через пару лет эмиграция будет массовой. Нас интересует, как вы выехали, куда путь держите и каковы ваши планы? — Мужчина достал из нагрудного кармана визитную карточку.

Вот она, слава! Она стучится в двери, она лезет изо всех щелей, стоило только выйти на улицу, и Шурика уже окружают

журналисты. Она вдруг вспомнила тощего князя на платформе, как его встречала пресса, теперь их очередь, три дня прошло, а карьера уже на мази.

— К сожалению, сейчас мой муж не может с вами говорить, он поет, нам нужно заработать, мы нищие... — в голосе Миры звучали слезы по Станиславскому.

— Понимаю, не беспокойтесь, я заплачу вам за интервью. Приходите через пятнадцать минут в кафе напротив, я буду вас там ждать.

Пока Шура собирал концертные пожитки, Мирочка ему вдалбливала: «Это только начало, тебя услышит весь мир, посыплются предложения, не будь дураком, расскажи о себе, о планах, о твоём тяжелом прошлом, как тебе папаша вредил, как мы выезжали...» Голова кружилась от успеха, может, и правда после интервью его заметят, в кабаре пригласят.

Журналист сидел в кафе на застекленной веранде. Он выбрал укромное место, рядом никого не было, на столике лежал блокнот, маленький магнитофон и стояли три больших стакана с пенящимся пивом. Шура вспомнил, как по «голосам» он слушал рассказы эмигрантов-диссидентов и решил не ударить в грязь лицом.

— Значит так, я из древнего дворянского рода, правда, об этом мои предки никогда не вспоминали, боялись! В СССР они знаменитые деятели искусства, особенно мой отец, он имеет все звания, Брежнева в кино играл, в театре — Петра Первого, но отец меня предал, отказался от меня публично. Трус, одним словом, и политическая проститутка! А мать моя молодец, хоть она из простых, а не из дворян, все мне подписала и в дальний путь благословила.

Кстати, мой отец ее бросил из карьерных соображений, она всегда обо мне помнила, заботилась, письма писала, а мачеха эти письма от меня скрывала. Ну а жена моя бывшая, Надежда, нас с Мирой ограбила, через суды и интриги все до последней нитки пришлось ей отдать (о дочке он умолчал). Друзья, все как один, нас оставили, струсили, как только узнали о нашем отъезде в Израиль. С работы нас выгнали, на парткоме прорабатывали, дали отрицательную характеристику, КГБ за

нами следил, это мой отец ими управлял, последние месяцы мы впроголодь жили, только о свободе и мечтали, лишь бы из этой поганой страны ноги унести...

— Так вы уезжаете в Израиль? В какой степени вы ощущаете себя евреем и патриотом вашей будущей родины? Вы хотите изучить язык, работать в киббуце, пойдете в армию? — спросил журналист.

Шурик таких вопросов не ожидал, растерялся, но на помощь пришла Мирочка.

— Нет, мы себя сионистами и патриотами не считаем, мы ведь выросли в Ленинграде, впитали с молоком матери русскую литературу, музыку, балет. Для нас тяжело сознавать, что мы покинули родину, нас выкинули из неё, теперь Шура может только надеяться на своё ремесло. Он очень талантливый! В СССР ему ходу не давали, зависть одна, доносы строчили, за границу не пускали...

— Так вы хотите просить политического убежища? Вы диссиденты?

— И да и нет! Мы с женой всегда были скрытыми инакомыслящими! И мы осуждаем несвободу слова! Я там боялся романсы петь. Нам рта не давали раскрыть, затыкали, преследовали, Высоцкого запрещают... — уже уверенно подхватил Шура, он вспомнил, как нужно говорить. — Вот почему мы хотим просить политического убежища. Свободу всем узникам совести! Да здравствует Че Гевара, свободу Солженицыну! Но пасаран!

— Но Австрия — нейтральная страна и не предоставляет политубежища.

— Мы подумаем над этим... А можно я для радиослушателей спою? — Шура от напряжения весь взмок, скорей бы конец этим каверзным вопросам. Ничего он про киббуцы и армию не знает; и зачем ему нужно там картошку сажать и ружье таскать? В «совке» он эту армию в гробу видел, а на участке деда и отца лопатой давно отмахался, что они, с ума посходили? Он — суперталант, а его раньше времени в землю хотят закопать. Дудки!

Шура спел «Не уезжай ты, мой голубчик», «Калитку» и что-то белогвардейское.

Последний вопрос:

— Скажите, Шура, вы ведь знаете, что в СССР есть люди, которые, несмотря на страшный режим и репрессии, говорят правду и не боятся арестов? Им тоже рот «затыкают» (журналист усмехнулся). Среди них есть русские, верующие, украинские националисты, сионисты, их сажают, преследуют, но они продолжают бороться за свободу и свои права. Вы ведь из Ленинграда и, конечно, о «самолетном деле» слыхали? О Кузнецове, Щаранском знаете? Эти люди хотят видеть Россию другой. Вы к каким инакомыслящим себя относите?

— Если честно, то я ещё не определился. Должно пройти время, я поживу на Западе и тогда пойму лучше, кто же я на самом деле...

Журналист порылся в карманах, вынул несколько смятых долларов и небрежно бросил их на стол.

* * *

Переход границы с Германией не был похож на кино про шпионов. За рулем поношенного «Вольво» сидела немолодая, крестьянского вида женщина, по-русски она знала несколько слов, дорога петляла в горах, спускалась в лощины, глубокой ночью, не заметив ни одного погранпоста, они пересекли границу. Машина остановилась у маленькой железнодорожной станции. Вокруг ни души, лес, фонарь, крошечный вокзал. Им предстояло ждать первого утреннего поезда. Юрик сунул немецкие деньги, та внимательно пересчитала сумму, осталась довольна, машина развернулась и исчезла в крошечной тьме.

Гигантские сосны мрачно шумели, вокруг был бескрайний темный лес, время будто замерло, черная дыра звездного неба давила вечностью. СССР, ОВИР, ненависть, надежды, границы... где все это? Шура ужасно захотелось писать, как в детстве, когда он просыпался ночью от храпа деда. Из дальней памяти выплыла Ланочка, её коса в обувной коробке, Польша, бабуся, пироги с малиной... Детство было страшным, но счастливым. Может быть, потому что оно было предсказуемым и бессобытийным? Теперь его ждут беспокойные годы, великие подвиги, стиснув зубы, он пойдет до конца.

Беглецы вошли в станционный домик, Юрик купил у спящего кассира три билета, и в ожидании поезда они устроились на деревянной скамье. Напряжение последних дней спало, они безмятежно заснули.

* * *

С той переломной ночи прошло несколько месяцев, а казалось, что прошли годы.

Шура вспоминал, как в Мюнхене, на площади перед вокзалом, они кинулись к первому полицейскому и закричали, что «просят политического убежища». Потом их допрашивали, составляли досье, Шурик, как попугай, повторял историю, рассказанную журналисту, переводчик переводил, полицейский тщательно стучал на машинке. Устроились они жить на окраине города, в трущобе, втроем в одной комнатенке, здесь же на этажах негры, турки, полно вопящих детей, все говорят на незнакомых языках, а они на своем островке «белой жизни» только по-русски. Грязь, вонь, голодно и холодно. Юрик ждал от кого-то денег, Мирочка тоже ждала от родителей перевода за «брюлики», но случилось непредвиденное, грузины, которые были надежной переправой, все «цацки» украли. Биться в Израиле с полицией, искать воров никто не мог и не хотел. Мира впала в отчаяние. Потом начались из-за денег ссоры и драки с Юриком, он хотел Шурика поработить, заставлял часами петь на улицах, выручку всю отнимал, Мирочке по морде дал, словами оскорбил, сказал, чтобы она заткнулась. Шура, чтобы расслабиться, начинал пить пиво с утра, потом шнапс, потом опять пиво. Однажды Юрик больше не вернулся в их комнату, исчез в неизвестном направлении.

С одной стороны, это было хорошо, они избавились от рабства, но Юрик был для них хоть и плохим, но переводчиком. Шура и Мира немецкого совсем не понимали.

Вот и решили они узнать адрес русского ресторана.

Пошли вдвоем. Хозяин оказался грузином, эмигрант со стажем, работал на радиостанции «Свобода», вел какие-то политические новости, а ресторан приобрел для отдушины.

Разговорились, и Шура стал ему выкладывать об отце, какой он знаменитый и какой он гад! Как его унижали, преследовали, палки в колеса вставляли, работать не давали, а еще он думает, что отец не просто зажравшийся партийный «совок», а еще и стукач, потому как Шура вспоминал встречи и разговоры отца с его визитерами в погонах. А Мира напомнила о его сестре Кате и ее муже-«дипломате», наверняка тоже сволочь гэбэшная, потому что уж больно карьера хорошо началась, и теперь они в Алжире, успели свалить, а жаль, иначе бы сидели в Тмутаракани и лапу бы сосали. Вот почему Шура-Мира считают своим долгом рассказать всему миру о том, «как живут и чем дышат» в СССР, и предупредить людей, чтобы не расслаблялись, никому не верили и всегда бдили. Вокруг советские шпионы, их засылают под разными масками, иногда кажется, что это «свой», а на поверку выходит «чужой». Шура даже высказал предположение, что Юрик тоже был из засланных, потому что здорово говорил по-немецки и знал, как перейти границу. Грузин слушал молча, сказал, что берет Шуру петь в ресторан, но выпустить с заявлением по «Свободе» не предложил.

Они переселились в маленькую комнатку над рестораном. Хозяин жил в роскошной квартире в центре Мюнхена, приезжал раз в неделю составлять меню, проверять дела, его жена-немка вела всю бухгалтерию. Ресторан пользовался успехом, народ набивался разный, Мирочке приходилось помогать убирать со столов и мыть грязную посуду.

Но какой голливудский артист не проходил через эту романтику!

Плохо было, что язык давался с трудом, да и где было научиться ему, если общение в основном шло с русскими эмигрантами или грузинами. Шурика эта глухонемота не раздражала, он пел всю ночь свои романсы, утром отсыпался до двух часов, потом спускался в скверик напротив и слушал по приемнику русские новости. Голоса дикторов были до боли знакомы, их интонации возвращали в детство, никаких катастроф, потопов, пожаров, жизнь в стране «непуганых идиотов» шла своим чередом. Однажды он услышал радиоспектакль, где главную

роль исполнял отец, его голос вверг Шурика в панику, он вырубил приемник, потом опять включил и не мог оторваться.

Время шло, оформление бумаг в Германии оказалось делом сложным и муторным.

С каждой бумажкой приходилось обращаться к хозяину или его жене, унижаться, чтобы написали по-немецки, пошли вместе в полицию, самые элементарные вещи требовали посторонней помощи и объяснений, а вокруг одни «ганцы-иностранцы»!

Шуре было тяжело понять эту чужую страну, иногда он вспоминал свои несчастья в СССР, обиды, но никогда он не мог вообразить, что «старые враги» будут ему милее этих «немецких глухарей», которые не хотят его слушать! Он им поет романсы, цыганщину, в местный театр пихается, а в ответ улыбки, вежливость, говорят: «данке шон, битте шон» — и никакой реакции. С этим трудно справиться, обида нарастает с каждым месяцем, денег нет, вокруг шикарно живут, у всех машины, квартиры, пьянки, гулянки. Вроде эти немцы к нему хорошо относятся, но ничего не предлагают, он однажды кричал, доказывал, говорил, что пострадал от КГБ. Мирочка была рядом, поддержала его, но никакой реакции не последовало. Опять улыбались в ответ и написали несколько адресов на бумажке. Если по ним пойти, то, может быть, там помогут выбиться в люди. Они шли, но там тоже давали советы и адреса, а работы другой не предлагали. Объяснить этим тупым «фрицам», что перед ними нераскрытый гений, было невозможно. В общем, как Берлинская стена, насквозь не пройти, обойти невозможно, приходилось жить в изоляции среди «иностранных врагов». Пытались они с Мирочкой со своими собратьями по несчастью дружить. Но у каждого из них только камень за пазухой, сплетни и поддержки ноль. Все норовят пристроиться у каких-нибудь социальных пособий, получить бесплатное жилье, Шура-Мира тоже записались в очередь, но им сказали, что нужно ждать оформления документов, потому что они политэмигранты. Можно, конечно, попробовать сыграть на Мирочкином происхождении, рассказать, как ее бабушка пострадала во время войны от Гитлера, говорят, за это немцы кучу

денег дают, у них комплекс вины, и теперь они в глазах всего мира хотят восстановить справедливость. Но этот ход Мирочка оставляет как запасной вариант.

Где же эта хваленая свобода?

Где слава?

Где деньги?

От одиночества хотелось выть, но признаться в этом даже самому себе было стыдно.

* * *

Вечером, перед началом выступления, он налил себе полстакана виски и разбавил его кока-колой. Пить в ресторане во время работы строго запрещалось, но Шура был возбужден, много курил, подсаживался к столикам, рассказывал уже всем надоевшую историю об отце, хвалил свою жену-менеджера, делился наполеоновскими планами. Потом подошел к хозяину и прямо в лицо ему сказал, что если тот не прибавит ему зарплаты и не возьмет его официально на работу, то пусть пеняет на себя.

— Я уеду в Париж! Так и знай! У меня там друзей полно, меня обещали устроить в ресторан, где Алеша Дмитриевич пел. — Шура разошёлся не на шутку, потом из кухни пришла Мирочка, она присела с другой стороны и вкрадчиво сказала, что если хозяин не согласится, то она знает, чем надавить на него. У нее уже накопился «компромат», она не слепая и видит, какие здесь делишки делаются, какие девушки в ресторане бывают и по каким адресам они ездят, сколько «левой» икры и водки продается, как расходы делятся и какая контрабанда плывет через границу. А еще хозяйка позволяет себе антисемитские выходки против неё, а хозяин только посмеивается и разжигает страсти анекдотами. Стоит ей обо всем этом заявить в полицию, как они на уши встанут и ресторан прикроют, а хозяина в тюрьму засадят.

Грузин внимательно её выслушал и сказал, что подумает.

После этого разговора отношения с хозяином переменились, он стал дружелюбней, приглашал к себе домой, знакомил со знаменитостями радио «Свобода», Шура им пел, рассуждал о

политике, делал умный вид, потом они несколько раз выезжали за город; к концу года хозяин прибавил денег и снял им за свой счет маленькую квартирку на другом конце города. Мирочку он раньше презирал, не замечал, в зал не разрешал выходить, немка-хозяйка вообще с ней не разговаривала, презирала и делала вид, что не понимает по-русски, а тут вдруг заговорила. Шура гордился своей женой; как она ловко этого «кацо» прижала! Видно, испугался, что о его мафиозных делишках узнают в полиции. Теперь нужно наблюдать, записывать, а потом напомнить, какие «рычаги» и «kozyри» в руках у Шуры-Миры.

Зима была холодной, снежной и ветреной. У него заболело горло, поднялась температура. Лекарства были недоступны, слишком дорого. Позвонили хозяину, и тот сказал, что посоветуется со знакомым врачом, а пока пусть Шура сидит дома, пьет горячее молоко с мёдом и ставит горчичники. Мирочку он вызвал в ресторан для разговора. Якобы неожиданно возникло прекрасное предложение для Шурика и как глупо, что совпало с болезнью.

Врач приехал быстро, оказался милейшим человеком, не испугался их трущобы, поднялся пешком на шестой этаж. На вид ему было лет сорок, а может, и тридцать, пальто тёмное, шапка меховая (как немцы носят), говорит со странным акцентом, руки потирает от холода, присел на край матраца, глянул в Шурино горло, послушал лёгкие.

— Грипп с ангиной. Знаю, что у вас денег на лекарства нет, а это мое фирменное изобретение, чудодейственный напиток, настойка на ста травах. Пейте три раза в день, через неделю всё как рукой снимет... Мы потом с вами рассчитаемся, поправляйтесь.

Старичок (а вблизи доктор выглядел за пятьдесят) улыбнулся в крашенные усы, пальто накинул и исчез за дверью. Шура расслабился, пузырек открыл, как велел врач, десять капель в полстакана тёплого молока накапал. «Надо будет спросить хозяина, откуда у него такой симпатичный доктор Айболит?» Потом залпом выпил, горло приятно обожгло, во рту вкус мяты. В эту минуту раздался телефонный звонок, он снял трубку, хотел ответить, но выходил один хрип!

* * *

Через несколько дней Шуру отвезли в больницу, врачи сказали, что его связки воспалены, голос вернется, но петть он вряд ли сможет. Исследовали пузырек с жидкостью, оказалась, настойка из индийских трав. Допрашивали грузина, он уверял, что никогда никого не просил к Шуре ехать, доктора-старичка в глаза не видел. Полиция искала «доброего Айболита», но он исчез, допросила клиентов ресторана, которые хором говорили о неустойчивой психике Шуры.

Потом психолога подключили, выяснили через переводчика, что Шура подозревает отца: «Это он подослал отравителей из КГБ». Психотерапевт наблюдал, записывал и сделал вывод, что у Шуры маниакально-депрессивный психоз и что, видимо, он сам хотел покончить с собой.

Мирочка была в отчаянии, написала родителям, они ей звонили, звали приехать в Израиль. Там на Мёртвом море есть чудодейственные грязи и знакомые врачи, которые Шурика поставят на ноги.

Но мысли об удаче их не покидали.

Совершенно неожиданно во Франции проклюнулись дворянские родственнички Шурика. Замаячили перспективы... Нужно все преодолеть, победить и въехать на белом коне в Париж!

Впереди их ждала свобода, слава и деньги!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИЗРАКИ

Александр Сергеевич Голицын попрощался с гостеприимным домом и вышел в ночь. Метель колючей крупой больно обожгла разогретое в тепле лицо, запорошила бороду. Он крепче под подбородком завязал уши пыжиковой шапки, поднял воротник старенькой дубленки и быстрым шагом двинулся вниз по улице Горького. Нужно было успеть к последнему метро. Он вспоминал разговоры за столом. Сегодня он провел

приятный вечер в компании малознакомых людей, где он разговорился со странными людьми, и еще до прихода в гости ему кое-что померещилось. Это не выходило из головы весь вечер. Он должен проверить, наверняка это был какой-то световой эффект. «Фиг с ним, с метро, поймаю левака, а на площадь зайду». Александр Сергеевич прибавил шагу, пустынность центральной улицы столицы нагоняла страх и тоску. Впереди грустным силуэтом маячил памятник поэту.

— Александр Сергеич, глянь наверх, что гады-капиталисты со страной делают. На корню продают! Уууу, фашистские захватчики! — От неожиданности Голицын вздрогнул и попятился. Но, к счастью, эти призывы были обращены не к нему, а к великому поэту. Пьяный мужичок, в распахнутой куртке, с бутылкой в руке, вел диалог с Пушкиным. «Нет, ты только глянь наверх! Видишь, на крыше вчера был «Госстрах», а сегодня ихний «Мерседес-бенц» горит. Одна надёжа на тебя, Александр Сергеевич. Ты всегда спасал страну! За твоё здоровье пью! А не то... всех убью, в подвал заведу и постреляю!» Мужик угрожающе погрозил кулаком кому-то в пустоту.

Голицын почти бежал, холода он уже не ощущал, вот и Манежная площадь, осталось совсем немного, каких-то сто шагов, и он сразу это увидит...

В черной декабрьской пурге на Красной площади, над купольной крышей здания Совета министров, где обычно в луче прожектора развевался красный кумач, трепыхался русский триколор!

Слабая подсветка шла рикошетным огнем от Мавзолея, где на глазах Александра Сергеевича менялся караул. Стойкие оловянные солдатики, как заведенные механические игрушки, чеканили шаг, движения рук с ружьем, синхронные повороты тел на затекших ногах. Они напоминали ожившие ледяные призраки на вечной службе у «фараона».

«Значит, не померещилось». Александр Сергеевич замерзшими пальцами с трудом раскурил папиросу, метель усилилась, снежные вьюны стелились по всей площади. Когда он давеча здесь шел, торопясь в гости, то случайно глянул поверх стены и Мавзолея и увидел, как тихонечко красный флаг спу-

стили и на его место русский подняли. Никто не обратил на это внимания. Жидкая толпица приезжих провинциалов, гуляющих по Красной площади, и судорожно снующих граждан в поисках предновогодней снеди в ГУМе, смотрела скорее себе под ноги, чем поверх кремлевской стены.

«Нужно будет завтра пораньше встать, очередь за мясом занять, соседка с пятого этажа список составила, а то без мяса на праздники останемся... Тьфу ты, чушь какая-то в голову лезет», — с досадой на себя подумал Голицын. Он постоял еще минуты три, докурил «беломорину» и повернул к гостинице «Москва».

Такси не было, но у подъезда дежурило несколько частных, ждали клиентов. Он постучал в ветровое стекло старенького «Жигуленка».

— До проспекта Вернадского подбросишь за пятерку?

Молодой парень, приоткрывший окно, поежился от холода, смачно сплюнул окуроч и весело сказал:

— Нет, браток, десятку дашь, поеду, а то я из-за тебя богатого «кацо» провороню. Они сейчас с девочками из ресторана выкатятся, любые бабки дадут...

— Хорошо. Дам тебе десятку, поедем.

Парень лихо гнал, ночная безлюдная Москва освещала их путь редкими светофорами, несколько раз проскочили на красный свет.

— Не боишься, что остановят? — спросил Голицын.

— Так они же все пьяные, греются, уже Старый год провожают. Им есть что обсудить... Слышали, как сегодня по телику «лимонадный» Президент отрекался?

— Я в гостях был, у них телевизора нет, расскажите.

— А он в отставку подал, давно пора! Теперь наш Борис придет, все будет как надо. Через пять лет заживем не хуже Франции! Эхма! Дождались наконец, возрождается матушка-Россия, — парень охотно болтал, рассуждал о демократии, о ценах, о реформах Гайдара и о скорой конвертизации рубля, оказывается, Борис Николаевич сказал, что рубль будет крепче стали.

У Александра Сергеевича на душе от этого разговора стало спокойно. Значит не только интеллигенция, но и простой на-

род так думает, а главное, молодежь, хоть они другую жизнь увидят. Жаль, что мама моя не дожидла до этих дней, как бы она радовалась, наверняка бы у телевизора сидела и следила за событиями. Кто бы мог предполагать, что ГКЧП провалится, а узник Фороса сегодня отречется? А еще он вспоминал необычных людей, с которыми он сегодня познакомился...

Шофер притормозил у нужного дома: «Ну, с наступающими праздниками вас!»

— Спасибо, вам тоже всех благ в Новом году. Вроде этот поганый високосный хорошо заканчивается, — и он машинально посмотрел на ручные часы. Стрелки показывали два часа ночи. 25 декабря 1991 года, в сочельник католического Рождества Россия заново рождалась.

* * *

Александр Сергеевичу было под шестьдесят, он работал на телевидении режиссером-документалистом. Работу он свою любил и считался хорошим профессионалом, два его фильма были отмечены особыми Государственными премиями, а один, о трудовых буднях советской милиции и сыскной работе органов, даже вошел в «Золотой фонд». Несмотря на его фамилию его допускали в спецхран Госкино в Белых Столбах, посылали на фестивали в ГДР, Болгарию и Югославию, а когда при нем шуточно начинали петь куплеты «поручик Голицын, корнет Оболенский...», он всегда поправлял, что никакого отношения его фамилия к князьям не имеет, что пишется она через «а» и происходит от слова «галлы», а может, и просто «галицких». Он и вправду по паспорту был «Галицын», но так его переделала в свое время мать, чтобы можно было выжить, слиться со всеми и не выделяться. Когда он был совсем маленький, в тридцатые годы, ей удалось записать его в школу под своей девичьей, невинной фамилией — Карпова (никто не догадался, что она тоже из «недобитков»), а в шестнадцать лет он получил паспорт с чуть измененной, но отцовской. Отца он помнил нечетко, его арестовали при нем, когда ему было три года. Потом они долго переезжали с места на место, ютились, следы заматали, удалось спастись. Мать много молчала, плакала, молилась, а когда

Александр у исполнилось десять лет, показала три фотографии отца.

Внешне он был вылитый отец. Среднего роста, худощавый, борода, усы, мелкие черты лица, красивые серые глаза; мама говорила, что у него семейный тип, все Голицыны на одно лицо.

Она приучила его не задавать вопросов, вся ее жизнь была подчинена страху за сына и желанию забыть прошлое, которое было ярким, счастливым, но об этом лучше не вспоминать, и сына нужно воспитать так, чтобы он вырос честным, но осторожным. Александр Сергеевич усвоил урок, он стал советским интеллигентом, довольно поздно женился (против воли матери) на совершенно чуждой ему женщине, которая родила ему сына. Жена его тоже работала на телевидении, в отделе кадров, некоторые ее боялись, но благодаря ей Голицын мог оставаться «не от мира сего», странным «князем», и его никто не трогал. Он вполне сознавал это, ценил в жене хватку, так было удобно, и хоть для его матушки она была «чужим» человеком, говорил ей, что так распорядилась судьба и «свою» половину в этой стране он не нашел.

Голицын любил исторические романы и стихи, в шестидесятые годы для него открылась Ахматова, потом Мандельштам. Он приходил к матери и читал ей вслух, а за два года перед кончиной она стала вспоминать свою молодость, родовое поместье, встречу с мужем, их первые счастливые годы совместной жизни. «Мама, почему Вы мне этого раньше не рассказывали?» Она только улыбалась в ответ, а он уходил от нее совершенно потерянный, приходил домой, молчал, выслушивал ворчание жены о переменах на телевидении, что «у нового поколения нет ничего святого, они думают только о деньгах, рекламе, хотят сожрать старшее поколение профессионалов и не поперхнуться». Перестройка-перекройка, гласность, ускорение, народ жаждал перемен в стране, а в мире они уже начались.

Александр Сергеевич мог просматривать на телевидении особые сводки новостей. Многое потом фильтровалось, не все монтировалось, но даже то, что «разрешалось» цензурой, вызывало изумление. Началось с брожения польской «Солидарности», Лех Валенса, уход Ярузельского... Это была первая победа христиан-

ской революции над коммунистами. Ченстоховская Богородица помогла полякам освободиться от ненавистного гнета СССР.

Венгрия стала свободной совершенно незаметно. Уже по программе «Время» показывали Будапешт, народ шел по улицам, все пели, танцевали, потом прокрутили старую хронику 56-го года, вспоминали «советскую братскую помощь».

Голицын с замиранием сердца всматривался в экран, он не понимал, какая сила движет событиями, что происходит с его страной. «Ну ладно, можно понять и объяснить смену власти в Польше и Венгрии, эти давно уже «в лес» смотрели, но чтобы в Чехословакии они опять танками не подавили? Невероятно!» Новая «Пражская весна» мирно состоялась на глазах всего мира. Миллионы чехов с зажженными свечами возносили благодарственные молитвы в костелах и на площадях!

Все ждали смуты и большой крови. Коммунисты грозили гражданской войной, а перестройка Горбачева катилась дальше, истинное лицо гласности и дружеские встречи с Рейганом успокаивали. Но Берлинская стена наверняка не упадет! На это «они» никогда не пойдут. Будет мировая война!

Жена Александра Сергеевича тоже все это переживала. Она очень хотела перемен, но таких, чтобы «показали этим соплякам, на чьей стороне сила». «Кто их в свое время освобождал от гитлеровских захватчиков, кто за них кровь проливал и из руин поднимал?! Неблагодарные сволочи. А Горбачев — предатель, вместе со своей Райкой продан с потрохами американцам». Семья Голицына раскололась на два лагеря, каждый день заканчивался бурными спорами, жена пила валерьянку, ночью Александр Сергеевич включал на кухне старенький приемник и впитывал сквозь заглушки «Свободу». То, что сообщали «голоса», звучало неправдоподобно!

Было ли это мистическим совпадением? Но 7 ноября 1989 года начались беспорядки в Германии, а 9-го с обеих сторон Берлинской стены немцы взобрались на нее, долбали ее, братались, обнимались с родственниками, которых не видели всю жизнь. Голицын не мог поверить своим глазам! Стена развалилась, состоялось объединение двух Германий, бежал Хоннекер. Потом ушли советские войска. Жена пришла с работы, доста-

ла из холодильника начатую бутылку водки и мрачно сказала: «Горбачев с Шеварднадзе предали нашу армию!» Потом, уставившись в одну точку, она медленно выпила полстакана, не закусив и, рухнув всем своим тяжелым телом на кухонную табуретку, зарыдала. Голицын не знал, как реагировать, он закурил и пролепетал: «Оля, успокойся, Бог даст, у нас войны не будет, а остальное все не важно».

Следующим бастионом крови и страдания была Румыния. «Ну уж Румынию наши никогда не отдадут. Чаушеску — калач тертый, он там устроит бойню, а советские генералы ему помогут!» — каждый день повторяла жена, Голицын перестал спать и, уже не стесняясь, все ночи напролет слушал «вражьи голоса». Прошла неделя, и по телевизору показали труп Чаушеску, все увидели «фараонов» дворец Главного вампира страны, возведенный на костях несчастного народа. Потом появились первые репортажи, показали детские дома, где здоровые дети содержались вместе с дебилами, стены и пол вымазаны калом, дети полуголые, в «старушниках» морили голодом, привязывали ремнями к стульям, разоренные деревни, крестьяне, впряженные в соху, пахали землю...

Осталось дело за Албанией. «Какая там революция, — думал Голицын, — для этой страны нужны десятилетия. Там люди доведены до состояния средневековой бедности и дремучести». Он знал одного албанца, которого в конце семидесятых чудом выпустили к ним на телевидение для стажировки. Он пробыл неделю, тупо молчал, пил горькую, отъедался сосисками и шарахался от машин, как от седьмого чуда света.

Прошло несколько месяцев, и в Албании начались народные волнения. Редкие репортажи показывали центр столицы. По пыльным улицам Тираны изможденные клячи тащили телеги, в них народ с палками, граблями, толпа на центральной площади, бьют стекла камнями, военные их поддерживают, кого-то в давке убили, но ни единого выстрела... «Нет, этого не может быть. Будет война!» — думал Голицын.

Скоро весь мир увидел свободную Албанию. Даже в скупых кадрах советской телехроники была заметна нищета. Ни одного автомобиля, поля изрыты траншеями, утыканы купо-

лами дзотов в ожидании империалистического нападения. Вся страна долгие десятилетия жила в изоляции, готовилась к обороне, чтобы ни пяди своей поросшей бурьяном земли не отдать агрессорам, хотя албанские солдаты падали в голодные обмороки.

За всеми этими событиями сыну Александра Сергеевича исполнилось семнадцать лет, он закончил школу и теперь готовился поступать в институт. Он рос маминым сыном и в спорах семейных был целиком на ее стороне, к отцу относился свысока, считал неудачником, а потому его стыдился.

За прошедшие десять лет Голицын многое передумал. Он не мог себе представить, что события в мире пойдут по такому непредвиденному сценарию. Время торопило, все устоявшиеся ценности распадались, крепкие узелки связей перерезались невидимыми ножницами, откуда-то из прошлого, давно забытого, стали выплывать тени. У народа развязались языки, пропал страх, а с поражением ГКЧП он совсем исчез. В те августовские дни казалось, что все висит на волоске, это потом некоторые говорили, что дежурили ночами и строили баррикады, хотя сами отсиживались у телевизоров и выжидали. Сам Александр Сергеевич сутками работал в Останкино. Все происходило на его глазах. Жена взяла больничный, лежала дома, читала газеты, к телефону не подходила. Сын целыми днями где-то пропадал.

Блиzkих друзей у Голицына никогда не было, коллеги по работе его уважали, но с ним не откровенничали. Однажды попробовал в командировке в Болгарии поболтать со своим оператором, они тогда снимали фильм о Шипке, видели русские могилы и, конечно, вспоминали историю. Рассуждения о прошлом России зашли далеко, так что сам Голицын разговор оборвал, а оператор после этого никогда больше в глаза ему не смотрел и личных контактов избегал.

Александр Сергеевич привык мысленно советоваться только с покойной мамой. Теперь он корил ее за то, что она была с ним неоткровенна, слишком оберегала, особенно от семейного прошлого. Он вспоминал, как они мыкались, сколько раз переезжали из города в город, жили в селах, голодали, мама болела, а он работал на заводе и учился в вечерней школе. Когда он ее

закончил, то неожиданно пришла телеграмма от двоюродной сестры отца. Она звала их к себе, им удалось прописаться, потом он поступил в институт, а мать сумела устроиться в школу преподавателем французского языка. Редкими вечерами, когда соседей за фанерной стенкой не было, они могли беседовать о своем, он задавал вопросы, она скупно отвечала, смущалась и говорила: «Зачем тебе, Сашенька, этот груз? Прошлого не вернешь, а без него тебе будет в жизни легче. Никогда не оборачивайся назад и не жалей ни о чем». Но теперь, когда наступили другие времена, он все больше понимал, что так жить не может, а как нужно — не знал.

* * *

...Он шел по незнакомому городу, была ранняя весна, таяли сосульки на крышах, и, как в детстве, он отломил одну и сунул в рот, вкус ржавчины и холода обжег язык, но на душе радость. Потом поворот на маленькую улочку, вокруг никого, еще один пустынный перекресток, он вошел в подворотню, двор-колодец, с четырех сторон мрачные дома, в углу помойка, он задрал голову и увидел квадрат светлого неба, за его спиной раздался приказ: «Предъявите ваши документы!»

Он знал, что бояться ему нечего, паспорт у него всегда лежал во внутреннем нагрудном кармане, он обернулся, перед ним стояло три силуэта, лица одинаковые, окаменевшие, выражение глаз пугающее.

С добродушной улыбкой Голицын суетливым движением полез за пазуху. Бумажника не было. «Неужели забыл дома?» И вдруг он сообразил, что у него украли паспорт именно эти люди! Это не милиция, а все те же странные призраки, они опять пришли за ним, и нужно как можно быстрее от них убежать. Он двинулся к арке, но с ужасом увидел, как из ее глубины на него наплывают те же тени. Они окружают его. Он кидается к ближайшей двери, рывком открывает ее и бегом устремляется вверх на шестой этаж. Топот ног, люди бегут за ним, их много, они хотят его арестовать. Вот он уже на крыше, они дышат ему в спину: «Ваши документы, Голицын! Вы ведь не тот, за кого себя выдаете! Нам это известно!» Но он знает,

как спастись от них. Нужно оттолкнуться, сильно взмахнуть руками, высоко взлететь и быстро-быстро вырुлить над городом. Голицын встает на цыпочки на самой кромке скользкой крыши, делает глубокий вдох и... падает в бездну.

Он просыпается.

Кошмарный сон повторялся теперь реже, но достигал всегда врасплох. В юности это снилось чаще, после женитьбы и рождения сына вообще исчезло, а после смерти мамы он опять стал летать во сне. Странно, что в этих новых сновидениях он испытывал радость полета и физическую уверенность в своих силах. Теперь он не проваливался в страшную бездну, а летел над полями, снижался, он видел домик, окруженный садом и цветником, здесь жили его родители, они стояли на пороге, махали ему, улыбались. Он притормаживал, ноги его утопали в мягкой луговой траве, он бежал с вытянутыми руками к ним навстречу, хотел обнять их, прижать к себе, но в руках оставалась их бестелесность, пустота, а сердце его наполнялось неизъяснимой радостью и трепетом.

Александр Сергеевич о своих снах никому не рассказывал, разгадывать их смысл не пытался, после таких ночей он больше курил и старался уходить с головой в работу.

Встреча и события, которые произошли 24 декабря, стали новой точкой отсчета времени для Голицына. Он вспоминал ночь на Красной площади и этих странных русских эмигрантов, теперь ему казалось, что они тоже пришли из снов, их рассказы о другой России были для него непонятны. Кто они? Почему в них сохранилось столько любви и веры, а у меня один страх? Эта немолодая пара русских французов впервые приехала в Москву. Им хотелось, может быть перед смертью, увидеть новую Россию, о которой они знали от своих родителей и из книг. В глазах у этих старых русских не было страха, они не боялись задавать вопросы. Александр Сергеевич удивлялся наивности и откровенности рассуждений этих людей, а сам ловил себя на том, что контролирует себя и опасается отвечать правду, ему было стыдно, потом он на себя злился. Вспоминались инструктажи перед поездками за границу, всегда предупреждали о скрытых врагах и возможных прово-

кациях. Кто знает, может, и эти «наивные» русские парижане приехали собирать сведения? Но с ними было интересно говорить, они привезли с собой много книг, газет, рассказывали об эмиграции. Когда узнали его фамилию, радостно кинулись узнавать, не родственник ли он светлейшему князю Михаилу Кирилловичу Голицыну, они его хорошо знают, но Александр Сергеевич сказал, что, насколько ему известно, родственников за границей у него нет и наверняка это однофамилец (он опять ввернул свою поправку о букве «а»), на прощание эмигранты записали свои адреса и телефоны, но Голицын сказал, что дома у него телефона нет, дал свой рабочий и адрес телевидения. Именно так его учили, ведь письма из-за границы проверяются, а звонки, тем более, прослушиваются, никаких секретов от власти у него нет, а неприятностей себе и тем более жене он не хотел доставлять. Книжки и газеты, которые эмигранты ему подарили, он решил сохранить. Времена все-таки изменились, запрещенная информация лезла из всех щелей, он вспомнил, как в семидесятые годы ему кто-то дал почитать неизданные стихи Мандельштама, в самиздате. Он их прочел, но от греха подальше, и чтобы жена не обнаружила разорвал на мелкие кусочки и выбросил в мусорный бак во дворе.

Голицын знал, что никогда больше не увидит этих милых русских и, конечно, никогда не приедет в Париж, а потому бумажку с их адресом скатал в комочек и забросил подальше в бездонную неразбериху ящика письменного стола.

* * *

В последнее время на телевидении произошли перестановки, сменилось руководство, возникли новые требования к эфиру, а следовательно, и к режиссуре, появилась реклама, что вызывало бурную реакцию старой гвардии, его жена каждый вечер рассказывала, кто, как и за какие деньги «заказывает телевидение и хочет его прихватизировать». Голицын старался во все это не вникать, выполнял свою работу, еще больше курил, мало бывал дома и стремился в командировки по стране. В провинции, на селе все будто замерло, никакой перестройки, никакого ускорения, и это Александра Сергеевича успокаив-

вало. Леньность русской души и безразличие к столичной суете возвращало к вечным ценностям, так замечательно описанным у русских классиков. «Пока русский народ пьет, все будет хорошо, ни о какой революции думать не приходится. А то, что сейчас происходит вокруг, это временное явление, пройдет лет пять, и все обратно вернется на круги своя», — успокаивал себя Голицын.

Его утро начиналось с одного и того же: завтрак, новости по радио, газета, потом метро, работа и суета телеколлектива, уже поздно вечером он старался быстро перекусить и скрыться в своей комнатке. Жена его угрюмости терпеть не могла, в глаза ему говорила, что он не общественник и плохой отец, но зато друзьям, заглазно, важным голосом сообщала, что «Александр Сергеевич каждый вечер работает у себя в кабинете».

К своим шестидесяти годам он настолько привык жить по плану, что даже маленький сбой выводил его из равновесия. В этой событийной бессобытийности был особый уют, защищенность от непредвиденных обстоятельств. К жене он притерпелся, и она стала для него не то что ангелом хранителем, а настоящей крепостной стеной: охраняла от нападков начальства, от непрошенных гостей, своей активностью скрашивала быт и серые будни. Одно у нее не вышло — поссорить Голицына с матерью. Ах, как она мечтала после похорон выбросить все ее барахло на помойку. Не получилось.

Все существо Ольги было пронизано одержимой и удушающей любовью к мужу. Хоть она и говорила, что за годы, прожитые вместе, «они срослись душами», это было не так. Она стала безраздельной обладательницей его существа, но не души и не фамилии. Тут она не решилась испортить себе карьеру, осталась с девичьей, хватит одного поручика в семье, даже сын носил ее фамилию. К темным потайным кладовкам души Голицына она так и не подобрала ключей. Ее это раздражало и беспокоило.

Когда собирались редкие гости, Ольга Леонидовна всегда показывала пачки фотографий, на них она юная, пышно-телая, высокая, с длинной светлой косой, аккуратно уложенной венцом вокруг головы, — настоящая русская красавица.

Голицын фотографироваться не любил, он на этих глянцевого черно-белых снимках выглядел грустным, а в выходном костюме, — почти как актёр в роли дореволюционного аристократа, на других карточках они втроем, вместе с сыном: вот толстый карапуз в коляске, потом в детсадике, пионер... Ольга всем говорила, что если бы не советская власть, то она бы не получила образования и не пробилась бы в люди. Она с гордостью делилась советами, как нужно воспитывать детей, приводила в пример их сына, главное, «никогда ни в чем не нужно сомневаться, сохранять принципы морали, оберегать семью от дурных привычек и разных влияний».

В молодости у неё было много кавалеров, но она выбрала А. С., он за ней даже не ухаживал, это она сумела его к себе прилепить. Расчета у неё никакого не было, ведь Голицын был беден и со странным прошлым. Родители Ольги были её выбором не довольны, считали, что дочь совершила ошибку и предательство. Сколько раз её отец «прорабатывал», кричал, говорил, что она позорит семью и должна выйти замуж за военного, чтобы продолжить их династию. Отец даже жениха ей хорошего подобрал, красавец, кадровик, а если ему подсобить окончить Военную Академию, то светила хорошая карьера. Но Ольга уперлась и железно стояла на своем!

Прожили они вместе с Голицыным больше двадцати лет. Всем казалось — счастливо. Но никто не догадывался, что у Ольги Леонидовны где-то глубоко в душе жил страх, оттого что она до конца не знала своего мужа. Чувала она, что есть у него какая-то тайна, охраняет он её за семью замками. Почему-то подсознательно она связывала эту тайну с его матерью, и когда та умерла, Ольга облегченно вздохнула. Но прошло несколько лет, и беспокойство опять вернулось, особенно с последними событиями в стране.

И еще, единственный раз в жизни Ольга Леонидовна испытала чувство жгучей ненависти. Это была женщина. Дело могло дойти до крайних мер, но помог партком. Голицын вёл курс в ГИТИСе, и студенты его боготворили, а одна из них, молодая из провинции девушка, сильно в него влюбилась. Она писала ему письма, он отвечал, эта переписка как бы случайно

попала в руки Ольги Леонидовны. Она сразу поняла, что Голицын тоже влюблён. В письмах было много стихов, романтики и заумных мыслей, в общем, весь бред, который вскружил голову уже немолодому мужчине. Самое неприятное, а это стало известно О. Л., что мать Голицына эту влюблённую пару опекает. Встречаются они раз в неделю у неё на квартире. Ольга Леонидовна о том, что ей все известно, вида не подала, ночью скрипела зубами от вынашиваемой мести, в результате сделала все как нужно, друзья помогли — девушку из института исключили, из общежития ей пришлось съехать, и она укатила в свой Омск. Голицын понял не сразу, что произошло, а гораздо позже, когда его мать раскрыла ему глаза на эту историю. Он страдал, но время лечит, сердечная рана зарубцевалась, и его семейная жизнь потекла в прежнем русле.

Александра Сергеевича ценили на телевидении, а потому хорошо платили, у него были творческие планы, некоторые наброски в тетрадке, вот о них он и хотел пойти поговорить с завотделом. Если бы для задуманного было дано «добро», то он смог бы на год уехать на Байкал, с рабочей группой, с которой он не только сработался, но, пожалуй, как-то сросся за эти годы. В командировках они могли подолгу молчать или часами до хрипоты спорить о правильно отобранном кадре. До смысла жизни их споры не доходили, это было ни к чему, все и так ясно. Голицын, почему-то был уверен, что начальство с удовольствием согласится на его предложение. Пока он своими планами ни с кем не делился, тем более с женой, чтобы её не расстраивать, хотя он заранее знал, что она все равно первая узнает о его заявке от начальства и неприятных разговоров дома не избежать.

Сегодня он ехал на работу в приподнятом настроении, на три часа его вызвал начальник, сказал, что хочет поговорить с ним о проекте. Неужели получится? Утренний вагон метро набит до отказа, люди — те, кто сидит, — все спят, те, кто стоит, — в дреме. Грохот колес и усталость от вечного недосыпа ввергал народ в летаргический сон. Голицын этому не поддавался, сам с собой боролся, читал книжки и газеты. «Надо бы набросать некоторые мысли, перед тем как говорить с завотделом»,

— подумал он. Но ему не повезло, в вагоне от единственного свободного места на скамейке его грубо отпихнули, всю дорогу Голицын простоял, поэтому не мог достать из портфеля тетрадку. Ему очень хотелось получить длительную командировку на Байкал, кое с кем он даже заранее списался, его ждали, обещали показать заповедные места, познакомить с интересными людьми. За последнее время он настолько устал от событий, от нервного состояния жены, собственных бессонных ночей, что решения начальства ждал, как манны небесной. Эта поездка спасла бы его от непрошенных мыслей, в которых он не мог разобраться, а посоветоваться было не с кем.

* * *

— Проходи, Александр Сергеевич, садись, — радушно приветствовал его начальник. — Ну, как живем? Как семья?

Все это были банальные и ничего не значащие вопросы, такие же ответы. Голицын знал, что пройдет пять минут, его начальник запрет дверь на ключ, достанет из глубины книжного шкафа любимый коньяк «Плиска» и предложит ему выпить. Вот тогда и начнется серьезный разговор.

Телефон звонил непрерывно, начальник трубку не брал, на столе появились бутерброды, и янтарная жидкость разлилась по стаканам. Голицын терпеливо ждал.

— Слушай, поручик, мы ведь давно знакомы? Я тут вспоминал, когда с твоей заявкой знакомился, как мы вместе в командировках еще в начале семидесятых бывали. А помнишь ГДР? Какой мы там приз отхватили, потом в гостинице его обмыли так, что немчура долго нас вспоминала. Да-а-а... — Наступила неловкая пауза, начальник закурил, хлебнул коньяка, куснул бутерброд, рука потянулась за бутылкой, Александр Сергеевич молча слушал и не пил. — Понимаешь, я даже не знаю, как тебе сказать, ты ведь знаешь, что у нас теперь демократия (и он нецензурно выругался), а там наверху с нас тоже требуют. Короче! Как профессионала со стажем и грамотного человека, решили тебя выдвинуть на особый проект.

Голицын вдруг осознал, что все пропало. Отказали. Байкала не будет.

— В Париж тебя посылают, будешь снимать эмиграцию! Честно тебе скажу, что завидую тебе не белой завистью, а черной. Давай выпьем за это. Сценарий этого документального сериала уже почти написан, в основе — книга известного журналиста, он там долго в ЮНЕСКО служил, с эмиграцией встречался, ну а ты как гениальный режиссер все это обмозгуешь — и полный вперед. Конечно, дадим тебе опытного оператора и... переводчика, кстати, он же куратор проекта. Ты ведь по-французски не говоришь? А о своем Байкале ты пока забудь, он от тебя не убежит...

«Может, это все провокация? — мелькнуло в голове у Голицына. — Им стало известно о моем отце, а что еще хуже, о встрече с русскими эмигрантами. Все уже донесли. Наверняка следили и за ними, и за мной, книжки из помойки вытащили...» Александр Сергеевич очень испугался, сильно побледнел, но взял себя в руки и слабым голосом произнес:

— Как же так? Уже все за меня решили и меня не спросили? Я не справлюсь с возложенной на меня задачей. Считаю своим долгом честно отказаться.

— Э, нет, этот номер не пройдет! «Твой меч, моя голова с плеч» — так, кажется, гласит пословица. Неужели ты забыл, что у нас в стране кадры решают все? Вот одни кадровики и решили за других, а такой кадр, как ты, самый подходящий на эту работу. Ты ведь не подведешь старого друга? Что ты хочешь, чтобы меня сократили за профнепригодность? Сейчас это быстро делается и с большим удовольствием. Так что жду от тебя немедленного согласия, вот и договор уже готов. Открою тебе секрет... — начальник при этих словах снизил голос до шепота и почему-то оглянулся на дверь: — это заказ политический, решалось все на государственном уровне.

Бред. Все сошли с ума! Что скажет Ольга? Она меня приберет или сделает так, что меня вызовут куда надо, а с ними шутки плохи. Нет, хочу на Байкал, хочу просто убежать, все забыть, замереть и ни о чем не думать. И тут он услышал голос своего собеседника:

— С твоей супругой уже беседовали, куда надо вызывали, она дала на тебя самую положительную характеристику. Так

что не подведи трудовой коллектив. Мне разрешаю привезти в качестве сувенира галстук с Эйфелевой башней.

Александр Сергеевич вышел из кабинета совершенно раздавленным. Мысли в голове путались и никак не могли выстроиться в логическую цепочку. Ему все мерещилось, что это какой-то заговор или особый хитрый ход, чтобы его выжить с телевидения. Нужно немедленно с кем-нибудь поговорить. Но с кем? Партком самораспустился, один кагэбэшник, которого все на телевидении знали, сгинул в неизвестном направлении, другой устроился в частную структуру. А Ольга все знала и молчала? Нет, не хочу я ехать в Париж! Что мне до парижских красот? Да и зачем себя разбазаривать на глупые темы об эмиграции. Кому это нужно? Все в прошлом, а история сама рассудит. Хотелось убежать, скрыться куда-нибудь подальше, отсидеться и переждать тяжелые времена.

Прежде чем вернуться домой, он решил пройтись.

На улице шел сильный дождь, но после разговора с начальником это было неким освежающим, благодатным омовением. Сегодня московский воздух был пропитан не только угарными выхлопными газами, но и неким ожиданием свершений. Весна, почти священная, как молодая кобылица, била копытом, ржала и призывала шалеющий от перемен русский народ к подвигам. Все уже сознавали, что назад в СССР дороги нет, а впереди маячили заманчивые перемены. Молодежь чего-то смутно хотела, вероятнее всего, много долларов и некой свободы, старики мрачно затаились. Все ожидали «спасителя» на белом коне, одним он представлялся неким Александром Невским в лице Жириновского или Солженицына, другим — новым Сталиным, с железной рукой, кое-кто надеялся на братскую помощь от загнивающего Запада. Тут мнения разделялись, какую помощь ждать и в виде чего, то ли обойтись гуманитарными посылками с колбасой или пойти дальше и прямо позвать «варягов володеть и править». Перед телевизорами и во время застолий народ выплескивал страсти, дело доходило до семейных рукопашных разборок.

Голицыну от разных мыслей и погоды на душе стало неожиданно весело. «Может, вся эта история с Парижем — некий

знак от моей бедной мамы? И стоило все-таки дожить до такого дня, как сегодня!» — подумал он, и сам испугался этих революционных мыслей.

Черные тени снов стали растворяться и уходить в поднебесье. Груз памяти, давивший годами, сползал с плеч, как пустой рюкзак, черная дыра его убежища-квартиры (или, как он мысленно называл, лежбище), где он прожил десятилетия с женой и неблизким сыном, больше не пугала. Он неожиданно для самого себя шагнул в неизвестность, и произошло это в тот момент, когда он об этом перестал думать, а хотел совсем другого, уехать на Байкал. Подсознательно он давно убежал от прошлого, настоящее его пугало, свой мир был дороже всех перемен. Жена уже давно не раздражала, он с ней смирился и находил в этом некое удобство. А тут эта история с поездкой в Париж. И странно, но впервые в жизни ему захотелось испытать себя. В чем? Он пока не знал. Впервые он решался на поступок. Какой? Он пока не осознавал. На душе стало тепло, как от весенних лучей. «Боже мой, неужели я увижу Францию? Как жаль, что мама не дожидала до этого дня».

Последние события в стране о многом заставили Голицына задуматься. Сам он верил в великую Россию, о прошлом своей страны он знал мало, скорее из книг серии «Жизнь замечательных людей», жена его говорила, что история никогда не прерывалась и что революция принесла освобождение, а когда разговор касался его родителей, она злобно бросала, что «белые и красные одним чертом мазаны, а вшивая аристократия всегда была продажной, и мы ее сумели приручить». Ольга была права, и как ни смешно, но что касалось их семейного союза с Александром Сергеевичем, так оно и было.

Голицын посмотрел на часы, пора домой, нужно быстро идти до ближайшего метро, а то Ольга в последнее время совсем превратилась в нервный комок, и все из-за сына, упрекала Александра Сергеевича в неспособности к воспитанию. Но это была их общая беда. За событиями в стране они его почти потеряли. Он перестал учиться, частенько не ночевал, неприятные голоса звонят по телефону, сын шепчется с кем-то, прикрывая трубку ладошкой, его куда-то вызывают, он убе-

гает и пропадает на несколько дней. Приличный подросток, выросший в достатке и с правильными взглядами на жизнь, стал изменять семейным традициям. Он настолько отбил от рук, что Ольге Леонидовне пришлось обратиться к знакомому специалисту. Тот довольно быстро навел справки, немножко последили за мальчиком и выяснили, что он записался в одну организацию.

Ольга в этих новых «партиях» ничего не понимала, потому спросила специалиста, хорошо это или плохо. Он ответил, что это не страшно, лучше так, потому что среди этой молодежи много патриотов и православных, а не шантрапы в виде «дерьмократов».

Дождь кончился, Александр Сергеевич задрал голову и увидел, как по ясному догорающему небу мчатся легкие розовые облачка, подсвеченные закатом. Захотелось крепкого цейлонского чаю с зефиром... Он мечтательно закрыл глаза, и вдруг:

— Гражданин, предъявите документики!

Голицын вздрогнул, мечты о зефире улетучились. Перед ним стоял толстый, мордастый милиционер. На его прыщавой сальной роже играла ухмылка победителя.

— Ты куда прешь?! Не видишь, что здесь перехода нет?

— Простите, замечтался, — искренность ответа почему-то привела милиционера в бешенство.

— Мечтатель, значит! Ну-ка плати штраф, а не то поедем в отделение.

— Ну зачем вы так говорите. Я же не нарочно, просто не заметил, что здесь нет перехода. Если нужно, пожалуйста. Да ведь я готов заплатить штраф... — Голицын запаниковал, стал рыться в карманах в поисках денег, хлопать себя по груди в поисках бумажника. Мент угрожающе вертел в руках тяжелую палку ликвидатора, и наглость его бесовских глаз говорила о нехороших намерениях.

Во внутреннем кармане бумажника не оказалось, рублей в кармане тоже не было. Голицын вдруг вспомнил, что настолько был под впечатлением разговора о предстоящей поездке в Париж, что забыл на телевидении куртку. В ней остался бумажник с документами и деньгами.

— Слушайте, гражданин начальник, я забыл куртку на работе. Давайте я съезжу и привезу вам через полчаса все, что захотите. Простите меня, но мысли, работа, разные планы...

— Ну-ка в машину, и быстро!

Голицын обрадовался. Хороший парень попался, сейчас до работы подбросит, он наверх сбегает и мигом все доставит. Внутри милицейского «Жигуленка» было тесно, прокурено, душливо воняло бензином, рация орала о сообщениях ДТП, перемежая их с милицейским матком. Тронулись, но поехали совсем не к Останкинской башне, и Александр Сергеевич вдруг спохватился, поздно сообразил, что его везут в другом направлении, в отделение милиции.

Прыщавый сержант сдал его на руки дежурному, приказал с него глаз не спускать, а сам исчез «на несколько минут».

— Вы мне позволите позвонить домой или на работу? Моя жена все вам расскажет и документы привезет, — волновался Голицын. Дежурный, не отрывая глаз от листа бумаги, составлял протокол задержания. Просьба Голицына упала, как камень на дно глубокого колодца. Потом дежурного куда-то вызвали, он исчез на целый час, телефон раскалялся от звонков. Голицын решил проявить инициативу и потянулся к аппарату, чтобы позвонить домой, но услышал резкий оклик дядьки в ватнике, тот, оказывается, сидел в углу и наблюдал.

— Руки на место! А не то...

Наконец вернулся дежурный, не поднимая глаз на Голицына, будто того и не было, продолжил рыться в бумажках, опять кому-то звонить.

— Я прошу вас, позвольте мне позвонить? — униженно переспросил он, вполне сознавая, что власть не на его стороне. Что им стоит разрешить или нет? И почему не разрешить? — Ведь я преступления не совершал, никого не побил, не оскорбил... Опять без ответа. Дежурный его слов будто не слышал, в который раз переспросил: фамилия, имя, отчество... Неожиданно на деревянном лице мента появилось оживление, и опять это противное издевательское замечание по поводу «поручика Голицына».

— Товарищ сержант приказал с вас глаз не спускать, пока он не вернется.

— А когда же он вернется?

— Не знаю, — вяло бросил дежурный. — Он по вызову уехал.

— Так что же, может быть, мне здесь всю ночь сидеть?

— Нет, не здесь, — хмыкнул парень, — и не ночь, а пятнадцать суток.

Сердце бедного «поручика» затрепетало, оно почувало недоброе, что-то страшное, безысходное. Западня! Александр Сергеевич взмок, отер ладонью холодный пот с лица и вдруг вспомнил, как будто он это уже переживал, такие люди с ним уже говорили, унижали, угрожали, ему было страшно, потом он их обманул и спасся. Ну да! Как же он забыл?! Ведь это было в его снах, кошмарах, люди без лиц, призраки в сером, погоня, крыша, полет над городом.

Голицын только понаслышке знал, что бывает с несчастными гражданами, задержанными на пятнадцать суток. Но ведь они бывали в нетрезвом виде, а он чист как стеклышко. Он может на них дыхнуть, или алкогольный тест пусть проведут. Нужно срочно что-то предпринять. Зачем они так с ним говорят, что он им сделал?

— Может быть, вы не знаете, но я снимал фильмы о Петровке 38, одна картина даже завоевала золотой диплом в Берлине. У меня много знакомых... Почему вы так со мной разговариваете, угрожаете? Я ведь не преступник!

— А этого никто не знает, господин поручик. Вот и фамилия у тебя странная, хоть ты и говоришь, что она не так пишется и что ты известный режиссер. Пока мы этого не установили. Посидишь, подумаешь, может, чего вспомнишь. Так в нашей профессии часто бывает, будто на вид невинный прохожий, а как копнешь глубже, на поверку окажется вор или диверсант.

«Наверное, нужно себя сильно ущипнуть и тогда я проснусь, — думал Голицын. — Мои страшные кошмары вернулись ко мне из-за пережитого потрясения в связи с Парижем. Я во сне и сейчас усилием воли прикажу себе проснуться, чтобы вынырнуть из этого ужаса. Так. Спокойно... Я у себя дома, жена храпит рядом, сейчас ночь, в темноте на ощупь я проберусь на кухню, заварю себе чай, выйду на лестницу и покурю».

Дежурный громко зевнул, сплюнул на пол, придавил окурок в пепельнице и посмотрел на часы. Было около одиннадцати вечера. Голицын представил, как волнуется жена, вероятно, она обзвонила уже всех знакомых, теперь очередь моргов и милиции. Он понимал, что «выступить» в такой обстановке не следует, но если все обойдется, то он этого так не оставит. Он потребует расследования, позвонит знакомым, а жена нажмет на все свои связи в КГБ. Хотя? И тут он вспомнил рассказ о том, как недавно в Питере умер от побоев в вытрезвителе знаменитый киноактер Ю. К., что об этом вопиющем случае трубили газеты, разные адвокаты и именитые друзья Ю. К. пытались наказать милиционеров, но все спустили на тормозах, виновных так и не нашли, не разжаловали, а сказали, что власть всегда права и что дискредитировать ее никто не позволит.

Да, он был в западне. И выхода из нее не было. Клетка скоро захлопнется, и что будет потом, совершенно неизвестно. И вдруг его пронзило, что это все специально подставлено КГБ, чтобы его спровоцировать и никуда ни в какой Париж не пускать. Они давно в курсе всего, подслушивали их разговор в кабинете начальника на телевидении, у него в столе вделана подслушка, сам этот начальник наверняка из них, а потому проверял Голицына, как тот будет реагировать на предложение: лояльный он или нет? Как он сразу не понял, что все это провокация? Нужно было сразу отказаться, написать заявление и бороться до конца за поездку на Байкал. А он-то, дурак, слюни распустил, расслабился, а теперь будет совсем плохо, его вывели на чистую воду, поняли, что он подсознательно только и мечтал о Париже, а то почему же он так легко согласился на это предложение. Нужно дать понять этому парню милиционеру, что я все понял.

— Слушайте, я готов никуда не ехать. Отпустите меня домой... Я обещаю, что никто не узнает о нашем разговоре. Хотите, подпишу бумагу, готов пойти на любое сотрудничество, готов чистосердечно признаться... — бормотал в растерянности Голицын.

Дежурный паренек вдруг повеселел, встрепенулся и внимательно прислушался к жалкому бреду Голицына.

— А это ты о чем, гражданин поручик? Я что-то ничего не понимаю, какую бумагу ты собираешься писать? Хочешь к начальнику пойти? Могу устроить, — и его рука потянулась к телефону.

— Нет, не нужно звонить. Я лучше напишу здесь, а потом вы отнесете это к начальству. Мне нужно с мыслями собраться. — Голицын от волнения курил одну папиросу за другой, его било мелкой дрожью, и так прокуренный серый цвет его лица превратился в зеленый.

Молодой мент смотрел на поручика победителем, он, видимо, сам не ожидал, что простой гражданин, задержанный случайно, может оказаться важной птицей; мелькнуло, что, может быть, этот шизик и вправду шпион; пока он будет строчить свой «роман», нужно сбежать наверх.

Александр Сергеевич решил написать все! А главное, чтобы они поняли, что он хочет одного — нормально жить и работать, как прежде, что он лояльный и свой гражданин, что он никогда не интересовался поездками за границу, что он полон планов работать только в России, а поступившее предложение поездки в Париж крутить фильм об эмигрантах исходило не от него. В общем, он должен так написать, чтобы снять все подозрения не только с себя, но и с жены, которая может через него пострадать. Дописывая пятый лист своего сочинения, он машинально посмотрел на настенные часы. Стрелка приближалась к цифре два. Он ужаснулся и представил, что происходит у него дома, более того, он настолько был поглощен доносом на себя, что не слышал и не видел, что происходит вокруг. А жизнь 125-го отделения милиции города Москвы между тем кипела: привозили пьяных, бомжей, проституток, малолетних воришек, воздух тесного, обшарпанного помещения был пропитан не только перегаром и запахом мочи, но и густым матом, орало все, телефон трещал не переставая... Эти шумы милицейских будней не долетали до слуха и сознания Голицына, к реальности его вернул знакомый резкий голос. Женщина сильной, знакомой рукой трясла его за плечи, она плакала, причитала, кому-то угрожала и требовала. Он узнал её, это была его жена.

— Саша, Саша! Я нашла тебя, я покажу этим негодяям, я их в порошок сотру, что ты тут пишешь, дай мне это немедленно, — она судорожно собирала рассыпанные на столе листки и рвала их на мельчайшие кусочки. Дежурный по отделению стоял рядом с перекошенным от страха лицом и наблюдал эту сцену. Видно, уже кто-то позвонил кому-то и приказал немедленно отпустить задержанного, ну и наверняка будет кому-то разнос за самоуправство, но он-то ни при чем, ведь не он его на улице задержал, а он только исполнял приказание сержанта выбить из поручика не только душу но и баксы, наверняка у такого вшивого интеллигента есть «капуста». Ну, провел бы он ночьку в холодной камере, был бы стоворчивей, дали бы ему наутро с женой поговорить, она бы привезла в подоле выкуп за своего благоверного. Вот тебе и «поручик Голицын, корнет Оболенский...», а тут прокольчик вышел, что-то в этом налаженном и проверенном годами бизнесе неожиданно сорвалось.

Ольга Леонидовна укутала плечи мужа своим огромным пуховым платком и, крепко держа под руку, вывела на улицу. Перед самым выходом из отделения милиции их ждала «Волга».

ШУМ ПРОШЛОГО

Ах как много воды утекло с тех далеких дней, когда Шурик был коварно отравлен и потерял голос! С тех пор развалился СССР, Германия объединилась, а Шура поправился, только голос у него теперь хриловато низкий, зато от этого кажется еще более сексуальным. Поклонницы ресторанные на него, как мухи на мед, летят, кокетничают, ухаживают и автограф на память просят. Город и ресторан Шура давно сменил, и живут они теперь в Берлине, конечно в Западном секторе. Русские врачи в Тель-Авиве сделали настоящее чудо — когда Мира мужа к ним привезла, то никакой надежды на спасение Шурика не было. Но наши специалисты «лучшие в мире, им аналога нет нигде» — так уверяли Миру ее родители, она им поверила и оказалась права. Шуру вернули к жизни! В Израиле они прожили полгода, больше невозможно. Разные причины побудили

их вернуться в Германию: оформление документов, трудности с языком и культурным уровнем населения Ближнего Востока (это Мира сразу усекла), а самое главное, что родители ее стали болеть. Она их обожала, но ухаживать за своими «стариками» Мирочка предпочитала на расстоянии, тем более что все силы и деньги уходили на восстановление здоровья Шуры. Родители сокрушались, что их дочь и зять уезжают, но у них своя жизнь, здесь в Израиле обстановка беспокойная, главное, чтобы их дети были счастливы.

В Берлине им повезло, и Шура опять устроился петь в русский ресторан, теперь хозяевами были поляки. Он вспомнил школьные годы в Польше и худо-бедно мог с ними «найти общий язык», Шуру они уважали, платили «по-черному», разрешали столоваться вместе с Мирочкой в ресторане и уносить кое-что из еды домой. В Берлине после объединения обстановка изменилась, появилось много русских бизнесменов, наезжала актерская братия из Питера и Москвы, жизнь кипела и призывала к действиям. Мира решила потряхнуть стариной и заняться коммерцией. Конечно, ее привлекал ювелирный бизнес, но тут уже все было схвачено. Ее познакомили с эмигрантом, владельцем антикварного магазина, который успешно торговал иконами. Мира была уверена, что ее советский опыт и деловитость смогут пригодиться на этом поприще. Владелец оказался очень крупным перекупщиком и в свое дело пускал только серьезных людей. Как Мирочка ни куражилась и ни строила из себя опытную львицу, он ее сразу раскусил, а потому держал на мелких и незначительных операциях. Однажды она возмутилась и решила свой характер проявить, высказать «все накипевшее этому людоеду от бизнеса». В ответ ее унизили, сказали, что здесь «не советский гастроном и колбасным дефицитом из-под прилавка здесь никого не удивишь». Хозяин антикварной лавки посоветовал ей подучить язык, лучше узнать законы страны, а как начало путевки в жизнь предложил пойти на курсы продавщиц. «Ну нет! — возмутилась в душе Мирочка. — Никогда она не упадет так низко! Не для этого я драпала из СССР, чтобы стать здесь мелкой сошкой за прилавком. Переждем трудные времена, а там что-нибудь придумаем».

Жить на ресторанные чаевые Шурика было трудно, они снимали в Берлине маленькую убогую студию в полутрущобном квартале, который, как ни странно, считался модным среди туристов. Здесь давно осели «прикольные» художники, музыканты, раскрашенные во все цвета радуги панки и наркоманы. Общаться с соседями Мира-Шура не могли: с одной стороны, язык плохо понимали, а с другой — они эту местную «богему» презирали. К немецким артистам и художникам ходило много иностранцев, частенько приезжало телевидение, устраивались выставки, концерты, берлинский «скват»* жил бурно, а Шура-Мира — своими русскими душевными посиделками. Съехать на другую квартиру денег не было, ресторанная атмосфера затягивала, найти что-то более достойное было невозможно, творчески «дышать» в такой обстановке становилось все труднее.

Шурик на десятый год жизни в Германии вдруг понял, насколько русские отличаются от немцев. Недаром же гласит поговорка: «что немцу здорово, то русскому смерть». И потом, всему миру известно, что русская культура и искусство знаменитей всех культур! Об этом он часто с посетителями ресторана спорил, приводил в пример своего отца, бабушку-профессоршу, а в ответ многие ему советовали попытать счастья в Париже. Ведь французы — почти побратимы с русскими, у них революция тоже была, своих царей они, как и мы, поубивали, потом объявили свободу, равенство и братство, даже ихняя компартия с нашей в тесной связи. И еще (это Шура недавно узнал), во Франции защищают права меньшинств, любят русскую душу и эмигрантов.

В одно серенькое утро Мирочка выпила чашку кофе, закурила сигарету и задумчиво произнесла:

— Шурик, помнишь, нам кто-то говорил, что у тебя есть родственники в Париже? Может быть, эти старые «осколки» эмиграции захотят увидеть своего племяншу? Ты им на гитаре

* «скват», слово англо-амер. происхождения от squat — нелегально занятое помещение, превращенное в коллективное жилье и культурный центр, своеобразная коммуна. — Прим. ред.

русский романс сыграешь, а я присмотрю к тамошней обстановке, может, чего и выгорит. Махнем к ним в гости? Вот только адресок нужно раздобыть.

Шурочка не возражал, уже давно он передоверил жене свою судьбу. Бывали, конечно, ситуации, когда он пытался брыкаться, изображать из себя настоящего мужика, но слов: «Что бы ты без меня делал?» — мгновенно все расставляли по местам. Действительно, он без Мирочки давно бы погиб, спился, сблядовался (он ей втихаря изменял). Низкими, мелкими словами ей удавалось воскрешать в Шуре ненависть к отцу, Наде, дочке и оставленной стране. Этот «ностальгический» костерок постоянно нуждался в дровишках. А то ведь можно впасть в уныние и начать думать о том, что зря уехали и что там не так уж было плохо. Шура верил, что он спасся только благодаря Мире. Пусть там все провалится в преисподнюю, там одно хамство и грязь, люди — говно, правительство — говно, страна нищенская, а мы должны думать о наших будущих детях. Странно, что их жалкое эмигрантское прозябание никогда между ними не обсуждалось. Считалось, что это как бы в порядке вещей, все через эти временные трудности проходили. Нужно, чтобы им повезло, а уж когда это произойдет, то Шура-Мира позвонят в Питер и похвастаются актерской семейке о своих победах. Шура до сих пор отцу завидовал, но в силу своей подлой душонки частенько использовал его имя для собственной рекламы. Ведь все русские эмигранты знали его отца, видели в разных фильмах, читали с ним интервью, а совсем недавно отцу стукнуло 75, и по русской телепрограмме передавали грандиозный концерт в честь этого юбилея. Море цветов, поздравления знаменитостей, певцы, комики, политики... В течение двух часов Шура не мог оторваться от экрана.

Идея найти парижских родственников оживила их жизнь, вдохнула новые силы, впереди замаячила цель. Мира списалась с кое-какими знакомыми, они ей раздобыли искомый телефон и адрес. Ну а потом дело техники: Шура под диктовку написал трогательное письмо, напомнил о бабке и отце, приложил несколько своих фотографий в цветастой косоворотке и с гитарой. Через месяц они получили ответ. В письме, написанном

по-русски «дорежимным» почерком, говорилось о волнении, которое испытали «родственные души», получив письмо от внучатого племянника Шуры, и как они были бы рады познакомиться, приглашали приехать в гости.

Почему-то Шурика это письмо взволновало, на него пахнуло чем-то незнакомым и таинственным. Всматриваясь в нарядный конверт и необычный почерк, он старался представить этих старичков, но дальше образов, выведенных в советском кино о буржуях, фантазия не работала.

Сборы были недолгими, из ресторана Шуру отпустили на три дня. До Парижа решено было ехать автобусом, потому как билеты на поезд стоили дорого. Всю ночь они «прогудели» со случайными попутчиками-хохлами, трепались, пили дешевый виски, в пять утра приехали в сонный Париж. Голова раскалывалась от боли, глаза слипались, и когда они оказались на тротуарах вечного города, им было не до его красот.

Нужно было где-то пересидеть, доспать, а в двенадцать часов позвонить в дверь родственников.

* * *

Граф Сергей Сергеевич Б. родился в 1915 году в Петрограде и в эмиграцию был увезён ребенком. Семья графа не относилась к той части русской эмиграции, которая бедствовала в Париже, им удалось еще до революции переправить кое-какой капитал за границу, вот почему Сергей Сергеевич получил хорошее воспитание и образование. Он знал много языков, и на протяжении всей его жизни это оказалось для него настоящим кладом. Во время Второй мировой войны он служил во французской армии, дослужился до капитана-лейтенанта и попал в плен к немцам. Пересыльный лагерь для военнопленных находился под Дрезденом. Содержание в нем не было похоже на ужасы Дахау или Освенцима, немцы разрешали даже посещения родственников. Именно тогда к нему приезжали кузина и мать. Сергею Сергеевичу в лагере знание языков необыкновенно пригодилось, он выполнял обязанности переводчика с английского, русского, немецкого, французского и даже польского... Временный лагерь под Дрезденом оказался вполне

«идиллическим» по сравнению с тем, куда его перевели потом. Это уже были настоящие ужасы, как в кино, с овчарками, эсэсовцами, изнурительным трудом и голодом. Здесь он познакомился с множеством русских собратьев, как эмигрантов, так и пленных красноармейцев. Они к нему относились с уважением и называли «товарищ граф». Некоторые из советских военнопленных уговаривали его вернуться в СССР, обещали повышение в чине и блестящую карьеру. На его счастье, он не согласился. Сергею Сергеевичу повезло, он выжил, а освобождение лагеря пришло от союзников, вместе с американскими войсками. Неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба, окажись он в объятиях «русских освободителей», уже позднее он узнал, сколько пленных из подобных лагерей было переправлено на родину напрямик в ГУЛАГ. После войны он продолжил карьеру в армии. Уже в чине полковника он служил до самого 1948 года в оккупационных французских войсках в Германии. Хитрая военная политика Сталина запудрила мозги и притупила бдительность многих русских эмигрантов, казалось, что в СССР что-то меняется, некоторые даже взяли советские паспорта и вернулись на родину, но березки встретили их неласково, многие из заманенных навсегда сгинули в лагерях. Графа тоже после войны стали одолевать сомнения. Тоски по родине не могло быть, потому что он ее не знал, но всю свою жизнь он прожил в окружении русских-французов, где бесконечно спорили о старой России, шпионских проделках ЧК, коварстве Сталина и власти Советов. Пословица «где трое русских, там четыре политических партии» вполне подходила к тогдашней эмиграции. Ведь русская душа, как ни одна в мир, испытывает по отношению к своей матери-родине смесь эмоций: надежды, разочарования, ненависти и ностальгии.

После 1950 года военная карьера Сергея Сергеевича была отмечена, и он получил предложение поступить на дипломатическую должность в ООН, где ему надлежало заниматься проблемами европейской эмиграции. Поэтому он жил то в Женеве, то в Нью-Йорке, а ближе к пенсии окончательно перебрался в свой любимый Париж.

Все в жизни графа сложилось как нельзя лучше, кроме одного — у него не было детей. Сразу после войны он женился на красивой и очень богатой француженке, на пятнадцать лет моложе его. Жена его обожала, выучила, как могла, русский язык, перешла в православие, пекла по старым рецептам кулича, красила яйца и делала пасху. Она тоже страдала от отсутствия потомства, а потому с головой ушла в благотворительность, помогала бездомным, отправляла посылки африканским детям (даже думала усыновить арабчонка). Ирэн происходила из древнего французского рода и унаследовала крупный капитал, не только в недвижимости, но и в фамильных драгоценностях. Характер у нее был твердый, воспитанная с ранней юности в католических пансионах, она любила порядок во всем, и несмотря на то что никогда не нуждалась в деньгах, тем не менее искала цель в жизни. Полезное приложение своей энергии она обрела в благотворительности. Она создала ассоциацию, стала ее президентом, и многие богатые французские дамы с особым ражем влились в ряды этой структуры. О них писали в прессе, показывали по телевидению, к ним обращались за помощью... Сергей Сергеевич всегда относился к деятельности жены благосклонно, взамен она уважала его капризы. Ирэн очень любила своего Сержа. Он был изящен, красив, её богатство удачно дополнялось его карьерой, а потому их союз вызывал у многих зависть.

Ирэн, при всей вынужденной любви к щам и каше, никогда не смогла привыкнуть к эмигрантским друзьям своего супруга. Разговоры за столом хоть и велись по-французски, но на совершенно чуждые ей темы, чаще всего они походили на масонские заговоры, решалась политика будущей России, состав правительства, кто с кем, кто против, кто друг, а кто враг. Ирэн было скучно и страшно, а потому однажды она сама предложила Сержу встречаться со своими друзьями в ресторане каждый четверг. (После распада СССР кое-кто из них уже побывал в Москве, а некоторые даже совершили паломничества по монастырям.)

Перелистывая семейные альбомы, взглядываясь в пожелтевшие фотографии, граф частенько вздыхал: «Ах, какие бла-

городные лица, таких уж нет». Под каждой из них подпись с именем, датой рождения, смерти, родословную семьи Сергей Сергеевич выучил наизубок. По рассказам родителей он знал, что в СССР у них есть родственники, правда, доходили слухи, что кое-кто из них был арестован и сгинул в лагерях, но были и такие, которые выжили, хотя связь с ними так и не наладилась. Письма из СССР в Париж писать было опасно («родственники за границей!»), а получать «из-за бугра» — еще страшней. Теперь наступили другие времена, и Сергей Сергеевич стал думать о наведении русских семейных мостов.

Огромная барская квартира графа была настоящим музеем. Предметы подобраны с большим вкусом, много старинных гравюр на стенах, семейные портреты, северский фарфор, ампирная мебель. Вся атмосфера этой квартиры, где они с супругой прожили около сорока лет, дышала богатством, обжитым уютом и роскошью, множество изящных безделушек напоминали им не только о предках, но и о путешествиях. Выйдя на пенсию, он не умирал со скуки: кроме встреч с друзьями за бриджем, походов в ресторан, ежедневного чтения английских и французских газет и пеших прогулок, у него была одна страсть, подавить которую он не мог ничем — он обожал казино.

Граф страдал настоящими игорными запоями, зеленый ковер его гипнотизировал, он много проигрывал, реже выигрывал, остановиться не мог, а потому жене врал, что всегда срывал «джэк пот»*.

Когда они жили в Женеве, то почти каждый день после работы Серж садился в автомобиль, пересекал границу с Францией и через пятнадцать минут оказывался в знаменитом местечке Дивон, этакой микромекке Монте-Карло. Как только он переступал порог казино, начиналась его вторая жизнь. «Одноруких бандитов»** он не признавал, играл только на зеленом сукне. Особая шуршащая тишина, мужчины, женщины разного возраста, богатые и не очень, арабские шейхи, итальянские ма-

* выигрывал крупную сумму денег. — Прим. ред.

** игровой автомат. — Прим. ред.

фиози, женевские пенсионеры, случайные туристы... Толстые шейхи с гаремом развлекаются тем, что проигрывают миллионы, а когда выигрывают, кидают через плечо, как кость собаке, одной из жен «плак д'ор»*, она ловит на лету миллионный выигрыш, и он исчезает в глубоких карманах чадры. Странно, что мужчины на красивых женщин внимания не обращают, а они выются только за спинами удачников, им иногда тоже, как кошкам рыбка, перепадают фишки, но шейхи кидают только своим «барышням», зачехлённым. Кое-кто из игроков пытается делать ставки сразу на нескольких столах, у всех своя манера, нужно успеть, седьмым чувством уловить счастливый номер. Все глаза устремлены на зелёный ковер, напряжённое ожидание, крупье бессознательно ловким движением запускает шарик, рулетка беззвучно вращается, десятки глаз следят, будто собирают последние силы перед броском, противно холодит под ложечкой, глоток виски, затяжка, кто-то в последнюю секунду делает ставку. Крупье отстраненным голосом: «Господа, ставок больше нет... Вышел номер 15, нечётная, черная...» Вдруг повезёт? Но шарик с костяным лягом падает на другой номер, разноцветные кружочки сгребаются лопаточкой, перед счастливецом вырастает пирамидка.

Игра затягивает, как любовный омут, остановиться невозможно, нужно победить, перебороть неудачу... Только в этом исчадии ада понимаешь, что большая игра важнее секса!

Сергея Сергеевича здесь знали все, более того, не только встречали шампанским, но даже когда он проигрывался в пух и прах и наличных денег уже не было, от него принимали чеки. Зато, когда он выигрывал, щедрее игрока было трудно сыскать, направо и налево сыпались чаевые, шампанское лилось рекой, угощались все подряд.

Ирэн, конечно, знала все! Но ради собственного покоя смогла убедить себя, что Серж всегда в выигрыше, о чем постоянно хвасталась друзьям. Однажды за вечер он проиграл двести тысяч франков. Вернулся под утро сильно навеселе, с огромным букетом роз и бутылкой шампанского. Ирэн сразу поняла, что

* золотой жетон (франц.). — Прим. ред.

дело плохо, но виду не подала. Вот какая она была мужественная женщина!

Все это было так давно, что сорняком поросло. Сейчас уж было не до рулетки и не до ночных безумств. Несмотря на преклонный возраст, граф Б. сохранил бодрость и любовь к пешим прогулкам. Каждый день, при любой погоде, в течение двух часов, вооружившись палкой с костяным набалдашником или зонтом-тростью, он мерил мостовые Парижа. Граф ходил один, так лучше думалось, а красота города, весёлая суета парижан и туристов всегда поднимали настроение.

Сегодня он свою прогулку отложил, потому что к завтраку ожидался приезд гостей.

Они с женой волновались, это было настоящим событием в их жизни — русские родственники из Германии!

С утра граф пребывал в приподнятом настроении, одет по последней моде, в лёгкий итальянский пиджак, вместо галстука шелковый шейный платок, Ирэн в очень скромном и очень дорогом платье от Диора хлопотала вокруг стола. Сергей Сергеевич, сидя в глубоком кресле, просматривал кипу газет и как бы машинально тихонечко напевал: «Бойтесь женщин, бойтесь женщин, господа, ведь у них между ног есть п...а. Ха, ха, ха...»

— Фи, Серж! Я умоляю Вас, оставьте эти армейские шуточки. Подумайте, что сейчас к нам придет молодая, скромная пара, а Вы настроены несерьёзно и несете черт знает что!

Граф своего фривольного настроения совсем не стеснялся, впрочем, так же как и философского безделья. Он гордился своими прошлыми победами на сердечной ниве. А разные словечки и шутки он обычно отпускал, находясь в бездумно-радужном настроении. Неожиданное появление родственников всколыхнуло эмоции.

— Ирэн, душка, не обращайтесь на меня внимания. Я волнуюсь... плесните-ка мне немного виски со льдом.

* * *

Они появились на пороге квартиры, как два побитых градом котёнка. Они втекли в уют, тепло и достаток. Им сразу все понравилось.

«Слушай, я ошалела. Мы где? В раю? — незаметно зашептала Мирочка. — А сколько красивых вещей. Как в музее!» Описывать её представление о рае не стоит, он состоял всего лишь из богатства, чистоты и ласки старичков, но это было полной неожиданностью. Можно было ожидать каких угодно родственников, но не таких!

Поначалу было непонятно, как себя вести, куда сесть, нужно ли разуваться. Оказывается, в таком доме это не принято, хозяйка сказала, что у них не в мечети, повела в гостиную, навстречу поднялся очень симпатичный старикашка со стаканом в руке. Восторги, объятия, приветливые слова, их усадили на роскошный диван, и они утонули в шелковых подушках.

— А почему, позвольте спросить, Вас зовут Шурик? — со смешным картавым акцентом обратился к ним граф. — Это что за имя?

— Ну так это от Александра, Саши... Меня так с детства кличут. Бабуля московская и дед меня всегда Шуриком называли. Говорили, что это нежнее, чем Александр. А еще они мечтали всегда о внучке, хотя у них есть одна, её Ланочкой зовут, но потом с ней одна история вышла... — Тут Мира сильно надавила каблуком на его ногу, и он понял, что дальше лучше не продолжать.

— Как странно, а мне тоже нравится имя Александр. В этом есть нечто воинственное, мужественное. Ведь и у французов есть такое же имя, — Ирэн хлопотала вокруг аперитивного столика и с нежностью поглядывала на застенчивую парочку. — А тепер, Серж, мы должны выпить шампанского в честь нашего знакомства и воссоединения семей!

Шура залпом опрокинул бокал. На голодный желудок и после ночного переоя кислая французская «шампуза» ударила в голову. Стало приятно, будто Боженька босыми ножками пробежал по душе.

Разговаривать было трудно, да и не о чем. Он вспомнил, как много лет назад приехал к отцу в Ленинград и совершенно не понимал их языка, а тем более разных заумных тем. Вот и теперь ему было неловко в присутствии этих старичков. Может, оттого, что эти «осколки» с акцентом говорят? Хотя нет, что-то

тут другое. Таких людей он видел впервые: вроде бы и русские, а на самом деле иностранцы, жесты и манеры, как во МХАТе, держатся не надменно, а просто, как наши интеллигенты, обставлена квартира, как в Эрмитаже, а у тех все венгерские гарнитуры да рухлядь с книгами. Интересно будет с Мирочкой все это обсудить.

Уже за огромным обеденным столом он рассказывал об отце — только хорошее, о бабке — только положительное, о своей творческой судьбе — только несчастное. Мирочка прибавила к рассказам ужасы выезда из СССР, отравление, унижения, рабский труд и прозябание в низших эмигрантских кругах Германии и... Израйля. Старички всему удивлялись, особенно когда слышали рассказы о бедности, они в этих странах бывали, ездили на вагнеровские оперы в Германию, а совсем недавно посетили Израиль и с восторгом вспоминали о поездке. Мира-Шура пучили глаза и не могли понять, как можно восхищаться немчурой и государством Израиль.

Потом, уже за десертом, выясняли родословную, каким боком-припеком Шурина семья связана с графом Б. По фотографиям из альбома это было трудно понять, фамилия отца подходила к одному из дальних родственников, который остался в России, не успел эмигрировать, был арестован (по доносу) и расстрелян. Шура смутно помнил разговоры в семье о том, как его бабка от страха и партийности донесла на своего мужа. Отца иногда совесть мучила, но он старался об этой истории особенно не распространяться, так что подробностей Шура не знал, а сейчас о таком позоре лучше было не вспоминать. Нужно поднести его семью как героически знаменитую и абсолютно лояльную, но Шура не знал, как это сделать, а потому, рассматривая альбомы с пожелтевшими фотографиями, мучительно соображал, как произвести хорошее впечатление на стариков. Мирочка тоже старалась изо всех сил — мурлыкала, шептала, скромно опускала глаза, нежно гладила по руке графа, улыбалась Ирэн и помогала убирать со стола прислуге.

— Ты видел их глаза? — вопрос Ирэн к Сержу, поздно вечером, когда Мира-Шура были отогреты, накормлены и уложены

в комнате для гостей. — Мне их так жалко! Они так достойно держатся, не жалуются, а по всему видно, что им плохо. Бедные детки.

— Да уж... — Граф досматривал последнюю страницу «Фигаро» и очень хотел спать.

— Нет, ты не понимаешь, что они пережили. Ты слышал рассказ этой девочки? Как им тяжело пришлось выезжать, они окружены людьми не их круга...

— Хм, да уж... — Прогноз погоды на завтра предвещал солнце, а поэтому, подумал Серж, ранний обед с друзьями можно будет провести на открытой террасе ресторана.

— Ты бесчувственный человек, ты эгоист, — Ирэн терпеть не могла безразличного барского тона мужа. — Помнишь рассказ Александра о том, как за ними следил КГБ? А что пережили родители Мирочки? Бедные старики. Вот ты все свои газеты читаешь, в них много разного пишут о России, о диссидентах тоже много писали, а когда непосредственно с такими людьми сталкиваешься, сразу понимаешь, как им тяжело. Ведь они иностранцами будут всегда и везде! Они теперь навсегда без родины, без семьи.

— Неужели? — Граф зевнул и отложил газету. Он не очень хорошо понимал, кто такие диссиденты, а кто просто эмигранты. Но ребята на него произвели приятное впечатление, и он даже решил пригласить их в ресторан. Хорошо бы показать Париж, сводить в музей... Он поцеловал жену и выключил свет: — Спокойной ночи дорогая. Утро вечера мудренее.

Ирэн с Сержем прожили счастливую жизнь, без особенных болезней, окруженные людьми своего круга, приличными и богатыми, и единственный их грех заключался в том, что они никогда никого ни о чем не просили, а давали и дарили с удовольствием. Благородное сердце старого графа всегда было настроено на волну сострадания. Когда он видел по телевизору истории о стихийных бедствиях или катастрофах, то на глаза Сергея Сергеевича набегали слезы, он доставал чековую книжку, проставлял трехзначную цифру и оправлял чек по адресу благотворительной организации. Так что Ирэн была не права, упрекая его в чёрствости.

Она еще долго не могла сомкнуть глаз. В её головке крутились сценарии, мысли множились, душа и сердце зывали к деятельности. Помощь требовалась немедленно. Сострадание росло в Ирэн, как гриб-дождевик, оно влилось в ее квартиру в виде двух несчастных родственников. Они были рядом, в досягаемости нескольких метров (не то что голодные дети в Африке), дыхание бедности, исходившей от Шуры-Миры, витало в ее квартире, и пьеса «Пигмалион» уже переписывалась в фантазиях Ирэн на другой лад.

Лёжа в темноте, она рассматривала таинственные тени,двигающиеся по потолку спальни, и выстраивала планы. Главное, нужно уговорить ребят уехать из Берлина. Необходимо, чтобы они преодолели свою застенчивость и приняли предложение жить у них. Ах, как она чувствовала, что нельзя унижать бедность, нужно делиться, быть щедрой. Ее этому учили с детства, а православие (которое она обожала) развило в ней чувство вины перед всем миром. Да, да, она частенько плакала и стыдилась своего богатства, но все до копейки раздать голодным арабам и неграм так и не решалась.

Счастье её заключалось в том, что она не догадывалась о планах, зарождающихся в головках Шуры-Миры. Знала бы Ирэн, о чем в гостевой комнате, на огромной кровати под балдахином, шепталась эта парочка?! Какие планы вынашивались в синих сумерках ночника, о чем грезилось этой парочке; им казалось, что стоит только руку протянуть и из рога изобилия польется золотой дождь!

Как часто падает в жизни, счастье падает на тебя кирпичом в самый неожиданный момент. Всё прошлое, уже давно позабытое, вспучилось пивной пеной в душе Шуручки. Проступили детали: находка пистолета, смерть деда, обретение отца. До сих пор в дальних закоулках сердца он хранил ненависть к деду, многое не мог ему простить и сейчас. Матери своей он все простил и жалел её, а воспоминания о Ланочке и Надежде щекотали ласковым тополиным пухом и возбуждали желания.

Мира уже давно сопела рядом, а он, широко раскрытыми глазами глядя в черную пустоту потолка, строил воздушные замки. Когда-то от сильного умственного напряжения он уста-

вал, потом под влиянием Миры перестал особенно мудрствовать, всё перепоручил ей, но теперь ситуация настолько была необычной, что в его голове вдруг сами по себе стали строиться грандиозные планы. Они собирались в его подкорке, словно стаи черного воронья, идея претворения в жизнь этих планов пьянила почище французского шампанского. После семейного ужина и ванны, в крахмальной белизне простыней, до глубокой ночи они, как два заговорщика, обсуждали ситуацию: «Я хочу здесь жить, мы будем их любить, ухаживать за ними, а потом они нам все завещают. Ладно, положим на это лет пять, но зато потом...» Мирочка от радости зажмурилась и зачмокала губками, как ребёнок, она была слишком добра, потому что предлагала постепенный план внедрения в «рай». Она даже думала развестись с Шуриком и женить на себе графа. Она видела, как он посматривал на её декольте. Или можно наоборот, сделать так, что старикашка неожиданно помрет, а Шурик женится на старушке. Ещё можно подумать и подключить её папу-маму из Израиля. Но все это требовало времени, переселения в Париж, нахождения работы и с огромными трудностями переоформления вида на жительство. И потом, каким-то сверхчувством они сознавали, что комедию с нежностью, семейственностью и полным растворением в этом высшем свете долго ломать им не придётся. Не удастся сыграть Мире второй раз Снегурку, а Шурику доброго Деда Мороза. Вот почему они предпочитали действовать стремительно. Ведь пока никто из окружения благородных родственников не знал об их существовании, и следы замести будет легко.

Шуре было чудно слушать сегодня разговоры о вечной России, вере, царе, отечестве. Он не представлял, что есть русские эмигранты, которые сохраняют любовь к этой мудацкой стране. А может быть, они все завербованы КГБ и потому пропаганду жахают? Ясно, они агенты влияния. Он слышал от разных русских (особенно от тех, кто на радио «Свобода» работал), что среди эмиграции полно кагэбэшников. Как могло получиться, что этот Сергей Сергеевич воевал, в плену был, в международных организациях состоял, в политике разбирается, знает все об СССР, а в будущее России верит? Хрен знает, какую лапшу

он весь вечер на уши вешал, плакался, что перед смертью хочет посетить Москву! Шамкал о какой-то вине перед страной, долге, православии. Видел я в гробу это православие. Глупость все это.

Наверное, именно таких наивных идиотов и расстреливали. Вот отец Шурика таким простачком никогда не был, он всегда знал, как своей стране и партии услужить и что взамен просить. Он все и получил, что хотел. Молодец. Нужно быть гибким, ловким, лбом стенку не прошибешь. Шурик никогда не задавался вопросами о «великой России», а в кругах его эмиграции об этом никто вообще не думал, в основном проклинали, так жить было проще и на душе легче. «А тут какой-то странный феномен — патриот России», — мелькнуло в голове у засыпающего Шурочки.

Сегодня в центре Парижа произошло знаменательное событие, которое все расставило на свои места: неостребованное материнство Ирэн в эту ночь обрело цель, а мечты Миры-Шуры стали обретать реальные очертания.

* * *

Родственник оказался замечательно наивным старичком, а его жена — уж совсем «Снегурочкой». После прогулок по Парижу, рассказов о достопримечательностях, вечернего ресторана, в котором они оказались вдвоем (Ирэн в этот вечер была в театре), старичок разболтался, и полезли из него старые страстишки. Озорно поглядывая на Миру, он признавался в них со смущением, но и с нескрываемой гордостью. Ужин заканчивался, и, доедая кусок пирожного «наполеон», Мира промурлыкала:

— А нельзя ли нам хоть раз посмотреть на казино... в Париже? В Германии мы никогда не бывали, денег на это у нас нет. Наверное, это как в голливудском кино, дамы в мехах, мужчины во фраках...

Сергей Сергеевич зарумянился.

— В Париже самом нет казино, по закону они отдалены от столицы на сто первый километр. — Шурик хмыкнул. Знал бы старикан, что это означает! — Но нам это не помеха. Хотите покажу? Вспомню молодость по такому случаю, только Ирэн

мы ничего не скажем, придумаем что-нибудь... — И он заговорщически подмигнул.

Мира-Шура переглянулись.

Сергей Сергеевич быстро расплатился, и они вышли из ресторана.

Несмотря на возраст, он прекрасно вел машину.

За окном мелькал ночной предрождественский Париж, вот уже и скоростная трасса, встречных машин нескончаемый поток, все спешат в город за последними покупками. Родственник жмет на газ, его азарт, подогретый ужином и воспоминаниями, так и брызжет. Он уже не стесняется, рассказывает, сколько выигрывал, сколько проигрывал, как кутил в былые времена, всхлипнул и покаялся, что виноват перед Ирэн. Но все это было мимолетное наваждение. Через полтора часа они прикатили в Форж Лез О, ближайший «игорный дворец» от Парижа.

Граф обменял наличность на фишки и занял место за столом, справа Мира, слева Шура.

Никаких дам в мехах и брильянтах, мужчин во фраках, обстановка в зале походила на провинциальный спектакль, вроде пьес Островского. Какие-то группы молодежи у «одноруких бандитов», несколько местных фермеров после ужина пытаются счастье в карты, полупьяненькие старушки делают ставки вокруг зелёного сукна. Крупье скучно, он позевывает.

Игра пошла. Мире были выданы кругляшки, она робко ставила их на те же номера, что и Сергей Сергеевич.

Давно с Шурой не было такого, но глаз стал противно дергаться, и потянуло в туалет...

Игра затягивала.

Дешёвое шампанское, для улаживания клиентов, под праздники подавали бесплатно, и старичок сосал его, не переставая, а разноцветные фишки то росли пирамидкой, то таяли. И когда у «знатока» дела их осталось три, он пригнулся к Шуре и прошептал:

— Вот, дружок, тебе моя кредитная карточка. — И написал на бумажке код из четырех цифр. — У самого входа, рядом с вестибюлем, ты увидишь банкомат, возьми из него двести франков и обменяй... Мы тебя с Мирочкой ждем.

Шура-Мира переглянулись.

Он шел через зал, и его качало, не от выпитого, а от волшебной простоты саморазрешения проблемы.

Карточку он в автомат запустил, композицию из четырех цифр набрал, вытянул не двести, а десять тысяч. Это максимум, что за один раз можно было получить, но через час наступит следующий день и в другом месте и в другом «банкомате» можно вытянуть еще приличную сумму франков, а пока Шура вернулся на место, отдал поменянные фишки старичку. Тот пребывал уже в состоянии игрового угара, ставил без разбора и все проигрывал. Мира его экстаз подогревала, подливала шампанского, оно и завершило роковое дело, через полчаса пришлось звать «человека» и выносить графа в гостиничный номер при казино.

Ну вот. Теперь они свободны и богаты.

До Парижа их подбросила веселая компания молодых людей. На трех машинах они заезжали покутить, немножко выиграли, что-то продули, но всё было неважно, а главное, что через час наступал Праздник!

Ночью, в спящем автобусе, Мира толкнула Шуру, он будто не слышал её, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрел в черноту за окном.

— Смотри, что я нашла. Это сувениры на память.

На коленях, в грязноватом носовом платке, лежала брильянтовая брошка и серьги Ирэн.

P.S.

В декабре на пляже было неуютно, каждый день шёл дождь, с сильным штормовым ветром. Лазурно-открыточное Средиземное море походило на Питерский залив. Курортники с детьми уехали, бархатный сезон для англичан и голландцев закончился в конце октября. Сейчас наступили самые грустные и серые месяцы. Многоэтажки из бетона окаймляли всё побережье Испании, зимой эти города-спутники вымирали, только брошенные коты да собаки промышляли на помойках, да отдельные кафе и магазинчики обслуживали местное население.

Сюда Шуру-Миру не сквозняком занесло, а сильным ветром, задувавшим в спины беглецов. Где скрыться и пересидеть — было все равно, лишь бы не в Германию. Они торопились, в панике сели в первый автобус, который пересек Францию, Пиренеи и завез в маленький испанский городок. А наличных денег была куча! Да ещё кое-что — это мечталось продать и выручить хорошие бабки.

До отдаленной пляжной деревни их добросило такси, с шофёром кое-как на немецко-английском «эсперанто» разговорились, и он дал адрес старушки, сдающей квартиру. Вне сезона за ничтожную плату Шура-Мира обрели двухкомнатную квартиру с видом на море.

В шлакоблочном «курорте» в декабре было неуютно, одиноко и очень холодно, оставалось сидеть целыми днями в квартире. Когда выглядывало солнце, Шура надевал куртку, выходил на балкон и плюхался в шезлонг. Перед глазами — море до горизонта, а у подножья дома — пустынный многокилометровый пляж... Мира отлеживалась в горячей ванне или, натянув толстый свитер, часами смотрела телевизор.

Вчера, гуляя по пустому поселку, он неожиданно набрел на газетный киоск, порылся в журналах, посмотрел диски и с удивлением обнаружил кассету русского барда.

С балкона шестого этажа открывался потрясающий вид. Ветер с моря доносил соленые брызги, солнце било лучами из черных туч, гигантские волны затягивали в свою бездну песок с пляжа, и где-то на горизонте рыбацкая лодка, как спичечный коробок, была готова захлебнуться в «девятом вале».

Шурик поёжился, плотнее запахнул куртку, вставил пленку в кассетник, и из наушников понеслась песня Трофима*:

Тушите свет — попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи кинули в дерьмо.
Россия открывает путь к успеху
Крутому и отвязанному чмо!

* Сергей Трофимов (Трофим) — композитор, поэт, музыкант, исполнитель своих песен. — Прим. ред.

Наверно зря жалел Деникин хамов —
Их надо было б розгой да плетьюми.
А вот теперь — ни воинства, ни храмов,
И мается Россия их детьми.

Аристократия помойки
Диктует моду на мораль.
Мне наплевать — а сердцу горько,
И бьет по печени печаль!

Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк «Американ Экспресс»,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.

И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа.
Теперь они в порядке и в почете,
Гребут лаве* из мутного пруда.

Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
— Я понимаю, что из грязи — в князи,
Но где взять столько грязи для князей?

Какой народ — такие и бояре.
Так что ж тогда на зеркало пенять?
А вот за что поперли Государя,
Так тут умом Россию не понять.

Аристократия помойки
Диктует моду на мораль.
Мне наплевать — а сердцу горько,
И бьет по печени печаль!

* деньги (жаргон). — Прим. ред.

НОВОРОЖДЕНИЕ

Прошло две недели с того злополучного случая. Узоры на ковре, который висел над кроватью, он изучил настолько хорошо, что мог бы воспроизвести их по памяти. Александр Сергеевич никуда не выходил из дома, перестал мыться, валялся, не раздеваясь, на диване, непрерывно курил и молчал. Он впал в сильнейшую депрессию. Ольга никак не могла взять в толк, почему столь незначительное событие выбило Голицына из равновесия. Ну, подумаешь, хамы-милиционеры! Так ведь у нас всегда нужно быть на чеку, не расслабляться, а то с костями проглотят и не подавятся. Хорошо, что удалось вовремя среагировать, позвонить друзьям, которые спасли Сашу. Страшно представить, в какую отбивную котлету превратили бы они её «поручика».

Отчего в нем что-то сломалось? Ведь он так старался жить, как все. От небольшого сотрясения груз последних событий, как гигантский ледник, сорвался и устремился вниз, подминая Голицына под себя. Всё полетело в пропасть.

Он не мог спать, на короткое время тяжёлые от бессонницы веки опускались, но через два часа опять просыпался. Не меняя позы, отвернувшись лицом к стенке, он неподвижно лежал, а в голове крутились все те же мысли. Что же теперь делать? Где справедливость, где любовь? А главное, во что остаётся верить? Всю свою жизнь он прожил так, что ему не было стыдно посмотреть в глаза людям. Большинство коллег на работе не были для него загадкой. Он их не судил строго, был всегда лоялен и не вмешивался в конфликтные ситуации. Каждому свое — это банальное и расхожее выражение вполне его устраивало.

Голицын вырос атеистом, но это была не его вина; как он сам себе объяснял, это потому, что мать ограждала его не только от прошлого, но и от веры. Разговоры о Боге они между собой никогда не вели, хотя он знал, что она посещает церковь. В памяти сохранились детские воспоминания: иногда по воскресеньям или большим праздникам мать брала его на службы, но чем старше он становился, тем это бывало реже. Он никому из сверстников об этом не рассказывал, для пионера и комсо-

мольца так было лучше. Между ним и матерью возник как бы молчаливый договор, посещения церкви отпали сами собой, а как только он женился, мать совсем перестала напоминать ему о вере. Голицыну отчасти от этого было стыдно, но так жилось спокойнее.

Она долго болела, скрывала это от сына, терпела, потом её увезли «по скорой» на операцию. Разрезали и зашили. Диагноз был страшным. Перед самой кончиной, когда он оставался ночами напролет у её постели, а она не могла заснуть от сильных болей, с закрытыми глазами, с искаженным от страданий лицом, она что-то шептала. Он нежно гладил, целовал её исхудавшую маленькую ручку, не стесняясь своих слез, плакал. Когда физические страдания стали невыносимы, она дала ему телефон священника, своего духовника. Для Голицына это было откровением, такого он не подозревал. Отец Михаил пришел в больницу (что вызвало панику среди медперсонала), исповедовал маму, соборовал, причастил. Она скончалась во сне через три дня. Голицын сделал так, как она просила: её отпели в церковке при кладбище, и на могиле поставили простой деревянный крест.

Ольга Леонидовна требовала кремации, расходы на похороны были непомерные, да ещё церковь с попом, позору не оберешься, но Голицын был непреклонен, и ей пришлось уступить. «Черт с ней, с глаз долой — из сердца вон, теперь-то уж навсегда избавимся от этой святоши», — думала Ольга.

С тех пор прошло десять лет, отец Михаил сильно постарел, но каждый год служил на могиле панихиду. Приходили Александр Сергеевич и молодая пара слепых учеников матери. В течение пяти лет, до самой болезни, она давала им уроки французского языка за совершенно символическую плату, а ребята настолько прилепились к ней, что стали близкими людьми. Им было хорошо вместе, они слушали её рассказы о прошлом, она читала им вслух, и не только французские романы. Познакомились они и с отцом Михаилом. От него Голицын узнал, что в последние годы мама была активной прихожанкой того храма, где о. Михаил служил, что она многим помогала, подкармливала одиноких женщин с детьми. Об этой стороне её жизни

Александр Сергеевич ничего не знал. Почему она была с ним неоткровенна?

Во время отпевания в маленькой деревянной кладбищенской церкви он стал шептать слова как бы молитвы, слов правильных он не знал, но душа его была настолько переполнена страданием и любовью к матери, что он просто просил у неё прощения. Полумрак, мерцание свечей, запах ладана, пение хора — возникало странное чувство, будто мама слышит его. Невидимая легкая рука коснулась его плеча. Сердце Голицына наполнилось радостью. Он был благодарен ей за этот последний знак с того далекого и неведомого света, он перестал робеть, смущаться, захотелось остаться в церкви, встать на колени и молиться, молиться бесконечно.

Но прошли похороны, и суета будней сожрала его душевный порыв, хотя неожиданное блаженство, которое он испытал тогда, засело в памяти. Додумать и понять, что же это было, собственных сил не хватало.

Голицын смотрел на красный узор ковра и думал, что теперь уж наверняка он должен отказаться от поездки в Париж. Он болен, и ни о каких съемках с эмигрантами речь идти не может. Он перевел взгляд на фотографию, стоявшую на его рабочем столе. Лицо мамы будто светилось, но это был эффект падающего солнечного луча из-за приоткрытой шторы. Голицын встал, взял в руки фотографию и поцеловал её. В голове мелькали самые странные мысли, за последнее время душа его так изболелась, что частенько хотелось покончить с этими страданиями. Что держало его на плаву? Самый дорогой человек улыбался ему с фотографии и будто приглашал последовать за ним. Почему бы и нет? Так просто открыть окно, взглянуть с седьмого этажа не вниз, а, как во сне, в небо и оттолкнуться от подоконника.

Но прежде чем это сделать, он решил съездить на кладбище.

* * *

Голицын последний раз был здесь зимой; утопая по колено в снегу, он тогда еле пробрался к могилке. Сегодня, в будний июньский день, на кладбище посетителей не было. Многие

могилы украшены искусственными цветами, металлическими венками, мрачные, гранитные плиты с портретами по грудь и во весь рост не на шутку пугали. Хотя в народе и говорится: «Как человек жил, так он и погребен», но эти мини-мавзолеи казались варварским надругательством над покойниками.

Видно, кто-то побывал на могиле матери, посадил ее любимые цветы; у самого креста, в стаканчике, обгоревшая восковая свеча.

День стоял теплый, солнышко весело пробивалось сквозь высокие кладбищенские березы, а Голицына била дрожь, и, чтобы хоть как-то унять ее, он закурил. Огляделся по сторонам — никого, потом взгляд упал на могилу и на маленький овальный портретик матери, вделанный в крест.

Он вспомнил её голос, неторопливые беседы, рассказы об отце, всплывали картины их мытарств, смена школ, бедность, страх, потом его женитьба. С этого момента в их отношениях произошел не то что раскол, но мать отошла в сторону. Она никогда не критиковала Ольгу, но и никогда ею не интересовалась, будто этой женщины и не было рядом с Голицыным. Ольга иногда злобствовала и говорила, что мать просто ревнует. За долгие годы эти отношения так и не наладились, а к концу жизни мамы ненависть и ожидание её смерти настолько накопились у Ольги, что она почти перестала стесняться в выражениях.

«Здравствуй, мама», — прошептал Александр Сергеевич, дотронулся до креста и опустился на скамеечку.

Внезапно им овладело странное состояние, что-то вроде ступора, будто весь он отяжелел, как свинцом налился, движения замедлились, он услышал голоса, шепот, в голове пронеслись странные мысли, чьи-то слова, его вопросы, ее ответы, будто помимо него начался диалог с матерью. Он говорил ей о своих муках последних лет, как ему тяжело и трудно живется с нелюбимым человеком, корил себя за малодушие, за невозможность расстаться с семьёй, жаловался, что надежды встретить близкого человека уже нет. Он сказал матери, что больше не может лгать, что разобраться в том, что происходит в стране, ему не под силу, как перестроиться и жить дальше, он не знает,

что самое правильное было бы убежать, скрыться в глубинке, но ведь от себя не убежишь, и это он уже понял.

Её тихий голос доносился издалека, как в детстве, шептал ему ласковые слова, просил успокоиться. Захлебываясь в слезах, Голицын говорил, что только теперь он осознал, как он одинок и как трудно найти себе друга и собеседника в жизни, сын, которого он любил, стал для него чужим, они боятся и не понимают друг друга, говорят уже на разных языках. Работа, которая была единственным убежищем всей жизни, его больше не интересует, а коллектив, с которым он сработался, стал враждебным, и он не знает, что будет дальше. Он плакал, как ребенок, и жаловался матери, что окружен хамством и лизоблюдством, что ему страшно выйти из дома, он рассказал ей о случае в милиции и унижении, которому он подвергся. Сухой комок перехватил горло Александра Сергеевича, и, задыхаясь в рыданиях, он произнес, что решил покончить с собой, потому что это единственный шанс честно и благородно выйти из игры. Почему игры? Да он сам это плохо понимал. Может быть, он всю жизнь играл? Впрочем, в этой стране все пряталось за персонажами. «Вот почему у нас так любят комиков по телевизору пускать!» — мелькнула в голове идиотская мысль.

Сколько продолжался этот нервный приступ, трудно сказать, но кто-то обнял его за плечи, и, как эхо из небытия, он услышал голос.

— Слушай, сынок, да не убивайся ты так. Её не вернешь. Вот я совсем сиротой остался, сначала жену, потом дочь похоронил. Да ты не стесняйся своих слез, тебе от них легче станет. Давай-ка лучше помянем их. — У Александра Сергеевича в руках оказался стакан, в него полилась прозрачная жидкость, совершенно машинально, будто во сне, он залпом выпил, повернул голову и увидел на скамейке рядом с собой мужчину в ватнике.

— Плохо тебе, по всему видно, слышал я, что ты тут рассказывал. Болеешь, что ли? Трясет тебя, как в лихорадке, давай-ка ещё хлопнем по маленькой. — Человек был уже немолодой, большого роста, с густой щетиной вроде бороды, глаза большие и умные.

— Ты знаешь, что с собой порешить — это большой грех. Я не церковник, но человек верующий, к сожалению, к Богу меня поздно судьба привела, так что живу с верой в Него, но без знаний о Нём. Жена моя Аннушка говорила, что для человека важно жить со страхом Божиим в душе. Страх Божий от многих преступлений спасает. Я в церковь хожу, пощусь, стараюсь молиться, да плохо у меня это получается, а хорошего батюшки так и не встретил никогда. Расспрашивать о вере Христовой стесняюсь, конечно, а надо бы переступить через себя. Ты-то в Бога веруешь?

Голицын молчал, он слушал.

— У меня вся жизнь поломалась до войны, я ведь из семьи репрессированных, «врагов народа», родителей арестовали, расстреляли, меня в детприемник сдали. Тогда ведь всех подряд хватали, а отец у меня в Ленинграде главным инженером на бумажной фабрике работал, они обои выпускали, ну и по кромке рулона всякие выходные данные проставляются. Видно, случилась неполадка со станком, и машина вместо «Ленинградская», напечатала «Ленин-гадская фабрика»... Сначала никто этого не заметил, контроль пропустил, а какой-то гражданин покупатель позвонил и сказал, что на фабрике враги работают, Ленина не уважают. Весь тираж потом из продажи изымали, а руководство арестовали как вредителей. Сам я в детдоме вырос, разного насмотрелся, шпаной был, воровал, посадили меня (это уже после войны), а когда я встретил мою жену, то будто родился заново. Она старше меня на семь лет была. Я ни во что не верил, ни в Бога, ни в черта, а она меня, как котенка слепого, из дерьма вытащила, к себе в геологический отряд определила, и мы с ней по Алтайским горам десять лет лазали. Там мы с ней и срослись, как два дерева, душу она мою отогрела, приучила к добру. Я очень озлобленный был. Ненависть меня спасала, на плаву держала, но не верил я, что настанет день, когда кончится эта безбожная власть. Знаешь, тем, кто моих родителей погубил, до сих пор не могу простить, а таких у нас еще много, живучие они, гады, их, вампиров, земля не принимает, вот они и маются на земле до ста лет, нам жить мешают.

Старик встал, подошел к соседней могиле и перекрестился:

— На небо только ангельские души попадают, гуляют по райским кущам и поют песнопения. Моя Аннушка была светлой души человек, все о смирении гордыни рассказывала. Всем существом я чувствую, что молится она обо мне с того света и этим мне помогает. Вот и твоя мать, она как ангел-хранитель для тебя. Ты не должен черные мысли копить, отбрось их, вся суета пройдет, а любовь к ней и к Богу тебя согреет.

— А почему ваша дочь умерла? Ей сколько лет было?

— Доченьке моей было двадцать лет, мы с ней смерть Аннушки пережили, у нее хороший парень завелся, сама она в медицинском институте на втором курсе училась. Пришла домой, приступ, живот режет как ножами, температура. Я вызвал «скорую», отвезли в больницу, оказался аппендицит, у меня даже от сердца отлегло, ну, думаю, пустяки, у нас врачи и не такие операции делают, а это для них как семечки. После операции десять дней прошло, температура не спадает, нагноение шва, они опять наркоз, опять режут... А там уже полное заражение брюшины. Оказывается, забыли вату из живота вынуть во время операции. В общем, кровь ей переливали, антибиотики давали, мучилась моя девочка ужасно и умерла от общего заражения.

Только сейчас Александр Сергеевич заметил, что на соседней могиле стоят два самодельных креста, сделанных из необструганной березы. На общем фоне кладбищенских памятников, белоснежная береста выделялась своей необычностью. «Странно, как это я раньше их не приметил, — подумал Голицын. — Вроде двух деревенских избушек в окружении бетонных новостроек».

— Понимаете, у меня больше нет сил. По всему видно, что вы пережили в жизни больше моего, но вы выстояли, не сломались. А я всю жизнь только и сгибался, дорожил своим покоем, лояльностью, я ведь не боец. Это жена моя всегда на передовых позициях. Мама была человеком кротким, но твердым, она меня своим примером от духовной нищеты спасала. Теперь уж я совсем ничего не понимаю: как нужно жить? Никогда не думал о личной свободе, а предпочитал подчиняться. Мне было

так спокойнее, а теперь настал предел. Не понимаю, где зло, где добро...

— А теперь нужно радоваться! Отчаиваться не стоит, все самое страшное позади. Вот ты, как все мы, русские, долго, долго и тяжело болел, не лечился и болезнь вглубь загнал, а в результате случился кризис, гнойник этот и прорвало. Душа твоя и тело теперь будут поправляться. Медленно, конечно, но многое от тебя зависит.

Человек встал, нагнулся к могильным холмикам и, достав из кармана две деревянные иконки, прислонил их к крестам.

— Каждый раз на Пасху приношу, каждый раз исчезают. Зачем воруют? Непонятно.

— А разве сейчас Пасха?

— Да, в этом году поздняя, пошла последняя неделя. — Он немного заколебался и как-то смущенно добавил: — Книжечка у меня есть, она небольшая, но мысли в ней интересные. Самому мне трудно во всем разобраться, не хватает образования, но ты, наверняка поймешь, — он протянул Голицыну маленькую потрепанную брошюрку; видно, что ее здорово зачитали, страницы буквально рассыпались в руках. — Ну, с Богом! Давай на прощание выпьем, да я пойду,

Через какое-то время Голицын остался один.

Будто и не было странного знакомого, разговор с ним был недлинным, слов мало, а на душе от них потеплело. Он раскрыл наугад и прочел: «Дорогой!.. Зло не создано Богом. Зло не имеет сущности. Оно есть извращение мирового, а в отношении к человеку и ангелам — нравственного порядка свободной воли. Если бы не было свободы, то не было бы возможности извратить нравственный порядок, премудрый и совершенный. Ангелы и человек, как автоматы, подчинялись бы законам физического и нравственного мира, и Зла бы не было. Но без свободы воли не было бы в человеке и в ангелах образа Божия и подобия. Совершенное существо немислимо без свободы воли! Кстати, все атеистические учения отрицают эту свободу. Отрицают ее в теории, а на практике втихомолку допускают. Эта бездушная атеистическая машина, которая знать ничего не хочет о человеке, безжалостно калечит и уни-

чтожает его именно тогда, когда законы этой машины того требуют...»

Александр Сергеевич осмотрелся: вокруг ни души, солнышко скрылось за деревьями, где-то в глубине, на дальнем участке кладбища слышалось переругивание могильщиков — рыли свежую яму. Голицын опустился на колени и припал губами к холодной могильной плите.

* * *

Ольга Леонидовна терялась в догадках: что произошло с её мужем? Не только от депрессии не осталось следа, но и сам Саша изменился. Сначала она думала, что он пошел к врачу и тот прописал ему таблетки, но оказалось, что никаких лекарств он не пил. Она в тумбочке и в его портфеле пошуровала — пусто.

Голицын вышел на работу, еще раз поговорил с начальством о Париже. Процедура оформления командировки была несложной, но волокитной, как всегда, связана с унижительными беседами, вызовами. Труднее всего было согласовать состав рабочей группы. Александр Сергеевич поставил вопрос ребром: он требовал своего оператора, с которым они сняли не один фильм, иначе он отказывался ехать. Но на это в результате было дано «добро». Куратором-директором (она же переводчик) была назначена молодая и очень шустрая девица. Ей надлежало не только отвечать за все финансовые расходы во время поездки, но и наладить связи с теми эмигрантами, которых они должны были снимать. Встретившись с Голицыным и с оператором, она заявила, что работала в Госкомспорте, много ездила за границу (как переводчик), а потому её как опытного профессионала попросили помочь в столь ответственной работе. Кто попросил? Голицыну стало сразу ясно, откуда «ноги растут».

Он встретился со сценаристом, который пять лет провел в Париже. Какую должность он занимал и чем конкретно он там занимался, Голицын из его рассказов так и не понял. Сценарист ко всему прочему побывал когда-то журналистом и в самые застойные годы был откомандирован в качестве специ-

ального корреспондента для газеты «Известия». Благодаря своей природной тактичности он сумел войти в доверие к некоторым эмигрантам первой волны. Они приглашали его к себе, он спрашивал, они рассказывали, в результате накопились целые папки бесценного материала. Пожалуй, это был первый советский писатель, которому удалось не только собрать, но и опубликовать в конце восьмидесятых первую книгу об эмиграции.

Александр Сергеевичу для вникания в тему был вручен довольно увесистый том, а также список с фамилиями и телефонами. Писатель предупредил, что с момента его изысканий в Париже прошло более семи лет и что нужно торопиться, так как настоящих эмигрантов становится с каждым годом все меньше. Они, как «ветераны войны», доживают последние годы, историческая память уходит вместе с ними, а потому нужно успеть записать все на киноплёнку. Дети наши должны знать правду об эмиграции, не в искаженном виде, а так, как это было на самом деле.

Ведь до недавнего времени в нашей стране распространялось мнение, что эти люди были предателями, заклятыми врагами, бежали из страны и воевали на стороне белых с оружием в руках против Красной армии. Теперь времена поменялись, и уже не может быть карикатурного взгляда на историческую правду, новая Россия должна попросить прощения у эмиграции и протянуть дружескую руку. Есть даже дальний прицел (у кого — писатель не уточнил) на возможное восстановление монархии в России, но для этого нужно проделать большую работу по наведению мостов с русскими аристократическими фамилиями, войти к ним в доверие, подумать о настоящей программе, которая уже разрабатывается (кем и где — он опять умолчал), о связях с соотечественниками.

— Ну, вы, конечно, понимаете, Александр Сергеевич, что выбор для такого важного фильма пал на Вас не случайно? Не только ваша фамилия к этому располагает, но есть подозрение, что у вас там остались родственники. Так что задание вам, видимо, будет не только как к киношнику, но и как к тонкому политику.

— Что значит — задание? Я ведь не разведчик.

— Нет, вы совершенно неправильно меня поняли, — писатель немного смутился, — от вас требуется просто правильное поведение с этими людьми. Держитесь естественно, не стройте из себя красного патриота, старайтесь быть раскрепощенным, можете критиковать власть и особенно СССР. Это многих расположит к вам, я сам так действовал, правда, времена тогда были другие и на меня смотрели косо, подозревали во мне шпиона... Хотя я был профессиональным журналистом. Эмиграция настроена к нам осторожно и не всех пускает к себе в дома. Но мы думаем, что им будет лестно выступать в качестве киногероев, тщеславие никому не чуждо, они в своих парижках им не избалованы. Поверьте, что я вам все это говорю в качестве совета. Это мой личный опыт.

Голицыну был неприятен «писатель», разговор с ним раздражал. Получалось, что от этого документального многосерийного фильма, на съемки которого выделялись огромные средства, ждали не только участия исторических персонажей, но был заложен в этом проекте некий дальний прицел.

Возвращаясь домой после встречи, он решил, что в Париже будет вести себя, как ему захочется, а в отношениях с эмигрантами никаких ужимок он делать не собирается. Ему стало противно, когда сценарист намекнул на ведение особых записей и дневников и посоветовал ненавязчивое внедрение в семью Голицыных. Так он ведь их не знает! Не беспокойтесь, у вас в списке есть их телефончик, поверьте, что они обрадуются не только съемкам, но и знакомству с вами. И так на душе гадко, а тут от него требуют сделки с совестью, на что он никогда не пойдет. Лучше он будет невыездным, изгоем, пусть с работы выгонят, но быть стукачом — никогда!

Чем муторней проходило оформление поездки, тем отчетливее он понимал, что должен, несмотря ни на что, оказаться во Франции. Из депрессии он вышел, а в душе народилось предчувствие перемен; и совсем уже не важно, что жена постоянно следит за ним, роется в его вещах, письменном столе, подслушивает разговоры по телефону. Из суеверных страхов, чтобы поездка не сорвалась, он никому о ней не рассказывал, ну а Ольга тем более была не из болтливых. Голицын знал, к

чему приводят завистливые пересуды творческой братии, не постесняются и анонимку состряпать. Было бы обидно, если бы все сорвалось в последнюю минуту.

* * *

В гигантском аэропорту «Шарль де Голль» они долго проходили паспортный контроль, за ввоз киноаппаратуры пришлось отдать очень много франков. Переводчица крыла матом французских полицейских, они ее не понимали. Говорили: не застраховано, документы не так составлены, если не заплатите, конфискуем! Их встречал посольский шофер, по дороге в город, не стесняясь в выражениях, они на пару поносили «теплый прием дружественной Франции».

На бульваре Ланн в Российском посольстве им отвели две комнаты, в одной Голицын с оператором, в другой переводчица, и сказали, что они могут питаться в общей столовой вместе с сотрудниками. Мрачное бетонное здание посольства, построенное в 70-е годы, недаром было прозвано французами «бункером». Архитектура его резко отличалась от архитектуры богатого и красивого района, который окаймлял этот цементный «шедевр», за чугунными решетками неприступной цитадели сразу начинался Булонский лес, теннисные корты, розарии, богатые особняки с ухоженными цветниками, а дальше... Боже! Там простирался мопассановский, муленружевский, киношный, театральный, веселый, красивый, развратный Париж! По его улицам, еще в восьмидесятые годы, сотрудникам посольства расслабленной походкой гулять не рекомендовалось, а неосторожные и восторженные сравнения в кругу своих могли быть неправильно поняты. Отдельные чиновники и «резиденты» могли себе кое-что позволить, но и они были под прицелом «своих» ушей и глаз, кагэбэшники не дремали, все на всех строчили, следовали неприятные разговоры, а иногда и высылка на родину.

Казалось бы, посольский мир был надежно защищен неприступными стенами от тлетворного влияния Парижа?

Ан нет, за последние годы среди советских дипломатов (и не только во Франции) наметились тенденции непослушания.

Несколько человек попросили политического убежища, кто-то из сотрудников ЮНЕСКО перестал отдавать свою зарплату в мидовскую кассу и решил не возвращаться на родину. Скандалы нарастали, но никого за шиворот не взяли и в Москву не выслали. Вольнодумство витало в воздухе и под видом шпионского комара норовило всеми правдами и неправдами проникнуть за неприступные стены и всех перекусать. По правде говоря, большинству посольского народонаселения на парижские красоты было начхать, глаза бы не смотрели, но застрять в этом «бункере» подольше хотелось всем. Вот почему рука от анонимок не уставала, а пятилетняя экономия на еде приводила не только к приобретению мебели и машины, но и к авитаминозам.

Голицын знал, что совсем недавно волевым решением президент Ельцин сменил старого посла «профессионала» Дубинина на нового «непрофессионала» Рыжова. В МИДе глухо зрел «разгул демократии». Бывший ректор и академик Юрий Алексеевич Рыжов, вступивший в должность посла России, широко распахнул двери неприступного «бункера». А несколько месяцев тому назад президент посетил с официальным визитом Париж. На встречу с ним, впервые за 75 лет, в резиденцию посла на улице Гренелль была звана эмиграция в самом неожиданном составе: духовенство, дворянство, писатели, диссиденты... Ельцин приехал в окружении своего молодого правительства: Гайдар, Чубайс, Бурбулис... У всех радостный и открытый настрой, будто хотелось им перепрыгнуть через годы, повернуть вспять колесо истории, а потому и речь, сказанная Ельциным на этой встрече с «недобитым сословием», растрогала всех до слез. Он просил прощения от имени новой России, вспоминал о красном терроре, благодарил Францию, оказавшую приют русским, и звал приезжать в Россию. Для эмиграции началась эпоха ренессанса!

Новая политика, требовала и нового стиля работы посольства: бронзовую многотонную голову Ленина на центральной лестнице «бункера» срочно задрапировали в русский флаг, под которым вождь мирового пролетариата замрет на несколько лет.

Только что назначенный советник по культуре оказался вежливым молодым человеком, сказал, что ему приказано всячески содействовать налаживанию контактов с эмигрантами, съемочной группе из Москвы выделили машину с шофером и сотовый телефон. К проекту многосерийного фильма об эмиграции в посольстве относились серьезно. Тем более что после визита Ельцина раскручивалась новая программа по работе с «соотечественниками за рубежом».

Голицын был доволен, что их поселили именно здесь, запахи щей и пирогов (еще витавшие в те годы) в коридорах снимали напряжение, свои стены защищали и помогали устоять от соблазнов. А он уже из окна машины, когда из аэропорта ехали, кожей почувствовал, как этот город проникает в него.

Всякий раз, когда Голицыну удавалось оторваться от оператора и переводчицы, он пускался в прогулки по городу. Дней пять он сопротивлялся, по сторонам не смотрел, в лица прохожих не заглядывал, здешнюю толпу со своей не сравнивал, скорее критиковал: архитектура — так себе, наш Питер не хуже, в Лувр пошли — нас не удивишь, у нас Эрмитаж; набережные Сены в подметки не годятся Невской перспективе, бульвары — в Москве они тоже широкие, Люксембургский сад, конечно, неплохой, но какие-то дурацкие отдельные стульчики, а народ на траве валяется.

В общем, шарму Парижа Александр Сергеевич не поддавался, но потом устал бороться, и его доспехи стали покрываться дырками и ржавчиной. Он вышагивал по городу километры, фотографировал, записывал, сидел на набережных, рылся на книжных развалах, наблюдал, слушал уличных музыкантов, уже не стесняясь, глазел на шикарные витрины магазинов и заглядывал в глаза прохожих и не мог понять, чем отличаются эти лица от русских. Потом сообразил — выражением глаз, не было в них угрюмости и затравленности. С каждым днем ему все больше нравился Париж, таким он его не представлял, в нем была не киношная красота, здесь хотелось жить, этот город незаметно овладел Голицыным, и однажды он окончательно сдался. Он перестал сравнивать его с Москвой, он уже не цеплялся за стереотипы: «а у нас лучше, чище и негров нет...»,

он кинулся в объятия вечного города, как истосковавшийся по любви советский турист кидается к молоденькой проститутке с площади Пигаль. И еще Александр Сергеевич окончательно признался себе, что, будь ему сегодня двадцать лет, он не задушиваясь остался бы здесь навсегда, хоть бездомным бродягой: все равно с голоду не помру, а назад в Москву не хочу!

Три недели командировки предстояло провести в напряженной работе. Переводчица созванивалась по списку, оператор набросал примерную сетку съемок, а у Голицына в голове не было ни идей, ни мыслей. Тексты сценариста он читал, старался за месяцы перед отъездом понять, о чем этот фильм должен рассказать, но, кроме абстрактных говорящих голов на экране, представить ничего не мог. Главное, он никак не мог ухватить идею, на какие темы задавать вопросы. Не сводить же все к бытовухе? Хотелось снимать на знаменитом кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и в соборе на улице Дарю. Пока он в Москве, обложившись текстами, книгами и журналами, пытался выстроит, как говорится, «концепцию» фильма, для него неожиданно открылось много интересных подробностей. Биографии будущих героев фильма поражали не только фамилиями. Среди них были ученые, высланные из СССР на знаменитом «философском пароходе», офицеры, сражавшиеся у Врангеля и Деникина, а потом в рядах Сопротивления, графы и князья, богословы и иерархи церкви, дипломаты, сделавшие блестящую карьеру в международных организациях, банкиры, писатели, художники, манекенщицы, актеры и, конечно, шоферы такси. Франция стала для них второй родиной, они любили ее как могли, сохранили на чужбине русский язык и культуру.

Дни летели быстро, вроде бы все шло по плану, каждый визит был заранее расписан, снимали много. Голицын не мог вообразить, что встретит таких интересных людей, в какой-то момент он понял, что снимать по сценарию невозможно, что люди и судьбы выходят за рамки казенных страниц писателя-журналиста. Надуманных вопросов этим почтенным старикам можно было даже не задавать, беседа завязывалась сама собой, и чем дальше, тем больше хотелось узнать о жизни каждого, их рассказы вызывали у Голицына странные чувства. Никогда он

не предполагал, что этот пласт России, потерянный для страны навсегда, всколыхнет в нем такую бурю противоречивых мыслей, с какого-то момента он перестал себя контролировать и стал задавать откровенные вопросы. Чаще всего съемки затягивались, их поили чаем, угощали ужином, приглашали приходить еще.

Неприятно было Голицыну, что переводчица всегда и всюду сопровождала их, наводила на себя вид наивной девочки, задавала странные вопросы, в основном по биографиям, рылась в семейных альбомах и постоянно включала свой магнитофон.

По составленному расписанию съемок выходило, что к князю Михаилу Кирилловичу Голицыну они должны были попасть сразу по приезде в Париж. Переводчица ему позвонила, и он дал свое согласие на съемки. Но не мог себе позволить Александр Сергеевич этой встречи, не подготовившись к ней, поэтому он уже во второй раз, под разными предложениями, её откладывал. После разговора с писателем он твердо решил, что если и встретится со своим родственником, то расскажет ему всю правду, а потому беседа эта должна произойти без свидетелей.

Оператору он доверял, тот был хорошим парнем и нос в чужие дела не совал, а вот переводчица всегда была начеку. «Все равно, будь что будет, обратной дороги у меня нет». Он так долго обдумывал свое решение, что заранее знал, как поведет разговор с князем, и был уверен, что получит не только моральную поддержку, но и практические советы.

Наконец он ему позвонил. Представился — режиссер фильма, фамилию свою не назвал, а только имя и отчество, сказал, что необходимо обсудить детали будущей съемки.

Из посольства Голицын должен был исчезнуть незаметно, но, конечно, так, чтобы его сразу не хватились, а потому он написал в записке оператору, что вернётся сегодня поздно, ждать к ужину его не нужно, запихнул в спортивную сумку самые необходимые вещи, фотоаппарат, документы, деньги. Их было мало, но на первое время хватит. Что такое первое время, он себе плохо представлял.

До дома, где жил князь, он решил дойти пешком, как-то раз он уже заблудился в метро, а опаздывать к назначенному вре-

мени ему не хотелось. Голицыну предстояло пройти большое расстояние, но это его не смущало. Серый декабрьский день, напоминавший дождливую московскую осень, подходил к концу, каждая улица по-праздничному светилась и мигала тысячами разноцветных лапочек. Рождественские базары, серебристые гирлянды, ёлки, нарядные витрины — к этому празднику французы готовились с особой любовью. Рыбные лавки переполнены «морскими зверушками», мясные — преобильным разнообразием пернатой, хвостатой, клыкастой и пушистой дичи. Шоколадные и марципановые пирамиды, заморские фрукты, грибы и ягоды со всего мира и миллионы разных вкусовостей призывали в эти дни парижан, не задумываясь о грехе чревоугодия, кинуться в объятия «рождественского Бахуса».

Суэта предпраздничной толпы Александра Сергеевича не раздражала, он был соучастником её веселой беззаботности; на душе хорошо, спокойно, назад дороги нет. Наконец-то он пережмет пуповину, она и так держится на истлевшей ниточке. После смерти матери все попытки как-то наладить семейную жизнь не удались, а последние события (а может, это был знак свыше?) подтолкнули к решению. Что ждет впереди? Было бы неправдой сказать, что он не задумывался о будущем, но в парижской суэте страх неизвестности пьянил, хотелось верить, что он сумеет справиться, а родственник ему поможет. Об Ольге он не думал, скорее знал, что ей в результате без него тоже лучше. Теперь другие времена, в худшем случае, с ней поговорят, строгих санкций не последует, да и работа её вряд ли пострадает, о сыне он тоже не беспокоился, у него наметился свой путь, а Ольга ему объяснит, какой он «плохой отец — предатель».

Голицын всегда носил с собой фотографии мамы и отца, сегодня он их покажет. «Интересно, похож ли князь на папу?»

* * *

В кресле за большим письменным столом сидел Светлейший князь Михаил Кириллович Г. Все стены кабинета плотно завешены: старые карты, фотографии военных, небольшое место занимала коллекция кинжалов и сабель, над камином,

в массивной золотой раме, портрет Государя Николая II. Светлейший страдал одышкой, был грузен, с крупными чертами лица, лысиной и совершенно не походил на тот семейный тип, о котором Голицыну говорила мать.

Хозяин был неразговорчив и настороженно наблюдал за гостем.

Александр Сергеевич растерялся, не знал с чего начать. Вся продуманность разговора улетучилась.

— Я принес вам показать кое-какие фотографии... семейные, — он протянул их через стол. Светлейший достал из ящика стола толстое увеличительное стекло и поднес фотографии к носу.

— Это кто, позвольте вас спросить?

— Мои родители. Их фамилия Голицыны.

Князь небрежным жестом отбросил фотографии и откинулся в кресле. На его толстых губах появилась ироническая улыбка.

— Так вы, значит, из Голицыных? Да, я слышал, что в Москве оставались какие-то родственники. Но раньше они не проявлялись. Почему сейчас все бросились искать своих предков? Раньше о таких, как мы, в СССР старались не вспоминать. Что, страшно было?

Александр Сергеевич реакции такой не ожидал.

— Понимаете, я впервые оказался за границей, моя мать давно скончалась, она мне рассказывала о семье, особенно об отце, он ведь был арестован, мы потом скрывались, боялись, что и нас...

Князь слушал, не перебивал.

— Мы приехали снимать кино об эмиграции, об этом вы уже знаете, вам звонили, рассказывали. Я согласился быть главным режиссером этой ленты только потому, что хотел познакомиться с вами. Мы ведь уже со многими встретились, на меня эти русские произвели огромное впечатление.

— Неужели все произвели на вас такое впечатление? Видно, большинство из них несли свои благоглупости о великой России, которая возрождается. И что теперь они смогут кататься к себе на родину и плакать под березками. Не так ли? Я тоже был

на приеме в посольстве, когда приезжал Ельцин, слышал его речь. Ну, достаточно трогательно. Многие из моих друзей там даже прослезились. Вы сами-то верите, что после семидесяти лет Страна Советов начнет подниматься с колен? Ведь политической жизни у вас нет. Какие перспективы? — Такого поворота Голицын не ожидал. Эмигранты, которых они снимали, действительно, о политике не рассуждали.

— ...Россия — жертва веков ига крепостничества — продолжал князь, — а потом большевистского террора. Истребляли в этой стране всех самых трудолюбивых, талантливых и честных, а щадили и продвигали бессовестных, ленивых и склонных к доносительству. Ну а потом те же большевики и чекисты истребляли своих же. Почти как у Гоголя в «Страшной мести»: мертвецы грызут мертвецов.

Голицын замер, возразить на эту тираду ему было нечем. То, что касается «бессовестных и склонных к доносительству», — таких он знал, именно об этом он и хотел рассказать родственнику. Но нужно ли это делать? Может быть, его рассказ неуместен? А как быть с главным, с тем, что его разъедало и ради чего он пришел сюда? Поймет ли этот надменный господин, о чем идет речь?

— Вы совершенно правы, когда замечаете, что при крепостничестве у простого русского мужика не было выхода. Я читал об этом, мама мне рассказывала, но даже тогда был выход, если мужик был энергичным, умелым и работающим, то мог выкупиться. Кажется, дед писателя Чехова выкупился, да и не только он, ведь тысячи русских людей, которые потом стали настоящей славой России, вышли из крепостных, а из них уже в начале XX века появились предприниматели, военные, ученые... Может, и среди наших родственников были такие?

Светлейший мельком взглянул на Голицына и усмехнулся.

— Среди наших — таких не было. Может быть, среди ваших и были, но меня Бог миловал. Мои родственники и предки, талантливейшие русские люди, всегда знали, что такое служба Царю и Отечеству, некоторые из них попали в тюрьмы и лагеря, потом были расстреляны. Никто из них не играл по правилам Компартии, а те, кто играл, это не Голицыны. Если

они и соглашались вступить в партию, чтобы их детям было легче или, как у вас говорят, «дать детям нормальное будущее и образование», то они тут же попадали в такую ловушку, что от их личности ничего не оставалось.

— Вы правы! Ах, как я с вами согласен! Только совсем недавно я стал понимать, в какой стране живу. Вероятно, необходимо, чтобы прошло несколько лет, и только тогда будут изменения, пока все по-старому, любого человека могут стереть в порошок... В простом отделении милиции. У нас в стране сейчас большой энтузиазм, подъём, и всем кажется, что народ подымается с колен. Среди тех русских, которых мы снимали для нашего фильма, многие говорят о монархии. Как вы думаете, в России это возможно, может быть, это выход для страны?

Причем здесь монархия? Почему он решил заговорить об этом сейчас? В Москве о каких-то таинственных планах наверху намекал сценарист. Он за эти дни разного наслушался, сам спорил: о будущем России, о правительстве, здесь многие хвалили и жалели Горбачёва, а Ельцину не доверяли, он для них был слишком «мужланом». Разговоры, что скоро начнётся гражданская война, уже докатились до Парижа. Приходилось успокаивать эмигрантов.

Голицын, как увидел князя, так хотел сразу о главном сказать. Но пока прошли через квартиру, потом хозяин предложил тарелку с бутербродами, стакан виски со льдом, обменялись незначительными фразами, и только он собрался с духом, чтобы приступить к своей истории, как его втянули в этот политический спор, а он был не готов к таким разговорам.

— Ну, это уж совсем ерунда. О какой монархии может идти речь?! Наверное, никто в России не понимает, что Государь — это помазанник Божий, он сам от престола отрекся, потом всех расстреляли, династия прервалась. Не этих же шутов ряженных сажать на трон? — Князь взял со стола газету и ткнул пальцем в страницу. Статья в «Русской мысли» была посвящена наследнику русского престола, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, его бабушка Л. мечтала о том, чтобы внук поехал в Россию, поступил в Суворовское училище и подучил русский язык. — Думаю, что маленький франко-испанский принц не

подозревает, что его ждет в Ленинградском «пажеском корпусе». О зверствах советской дедовщины он вряд ли наслышан. Кстати, я слышал, что у вас теперь создают Дворянское собрание. Вы уже в нем состоите?

— Ну что вы. Я ведь себя таковым не ощущаю, правда, я слышал, что теперь достаточно быть Шуваловым или Романовым, чтобы вписаться в это новое дворянство. У нас теперь есть все, а купечества и казачества растут, как грибы после дождя. Я ведь на телевидении работаю, теперь многое показывают и избочивают: как было до 91 года, что такое власть партии, ГБ... В последнее время я по провинции мотался, видел, как народ хотел расправиться с коммунистами и с милицией. Могу вам рассказать историю... Сам чуть не оказался жертвой народного бунта. Позвольте закурить?

— Пожалуйста, не стесняйтесь, сам этим грешу.

— В прошлом году оказался я в небольшом городишке. Мы снимали фильм об одном из местных героев Отечественной войны, пришли к главе администрации, сидим, разговариваем, и вдруг перед его окнами на площади стихийный митинг, народ требует перевешать всю гэбню и коммуняк, мой оператор, молодой парень, начал из окна сначала снимать, а потом кинулся на площадь, в толпу, я за ним, слышу, как вокруг подзадоривают: «Давай, давай, пусть в истории останется! Пусть весь мир увидит!», а тут отряд милиции, ОМОН, камеру выхватили, шмяк об асфальт, на куски разбили, началось побоище, выстрелы, я парнишку-оператора оттаскиваю, он сопротивляется, в общем, укрылись мы опять в горисполкоме и в том же кабинете, только теперь в нем оказался и начальник местного КГБ. Помню как сейчас, он у окна стоит, курит, сверху на площадь смотрит и, обращаясь к нам, говорит: «Мне наплевать, какой флаг на горисполкоме будет торчать. Пусть народ в демократию поиграет, мы на время исчезнем, а потом перевернемся, и снова наша возьмет». Так и сказал. Неужели это правда? Откуда у них силы берутся?

Будто нарыв прорвало у Голицына, полезло из него все, что накипело, все, что носил в себе, о чем думал. Он уже расхаживал по кабинету, не особенно стесняясь, налил виски и стал

говорить, что Ельцин обещал расправиться со сталинцами и партийцами, уже Бакатина назначили во главе КГБ, а он демократ, переговоры с прежними высланными диссидентами идут, Дзержинского с Лубянской площади снесли, народ только и ждет, когда, наконец, окончательно падет власть ГБ, но что страх глубоко сидит в каждом русском человеке, он вьелся в сознание, и что конца этому не видно.

— Я устал, я себе уже не принадлежу, всю жизнь так, но больше не могу, мне, перед тем как сюда ехать, предлагали за вами наблюдать, войти в доверие; поверьте, я ничего не обещал, но решил — уеду и останусь. Понимаете, я себе стал противен, всю жизнь со страхом, унижением... А как решил здесь остаться, так перестал бояться.

Воцарилась гробовая тишина.

Где-то в глубине квартиры громко тикали настенные часы. Время шло... Разговор принял неожиданный оборот. Князь с величайшим любопытством смотрел на Голицына, он с трудом встал из-за стола, опираясь на массивную трость, немного прихрамывая, вплотную подошел к Александру Сергеевичу. Его тучное тело колыхалось, казалось, что он вот-вот потеряет равновесие и упадет на собеседника. Неловким движением одной рукой он притянул Голицына за шею и обнял.

— Очень надеюсь, что вы не совершите этой глупости. Для вас это было бы роковой ошибкой. Вы не сможете здесь жить, вы другой. Простите за нескромный вопрос — сколько вам лет?

— Шестьдесят миновало, — он не узнал своего голоса. Все пропало. Помощи здесь не будет. Этот человек ему не верит. Нужно его убедить, что назад у него дороги нет, мосты и корабли сожжены, все передумано, может быть, плохо придумано, но каждый прожитый здесь день его убеждал, что если не получится, то остаётся один выход, и придется к нему прибегнуть, потому что записку уже нашли и консулу доложили.

— Жестоко говорить, но поверьте мне, пройдет несколько месяцев, и вы окупаетесь в нищету, неустроенность, безъязычие, вы будете обречены на одиночество. Это сейчас вам кажется, что Париж прекрасен, а когда каждый день нужно будет добывать хлеб насущный и унижаться в поисках социальной

помощи... Поверьте, вы возненавидите всех. Было бы вам сейчас двадцать, ну даже тридцать лет, были бы вы холостым, я не остановил бы вас. Приветствовал и готов был бы вам помочь!

— Что же мне делать? Как жить дальше? В Москве я одинок, ведь таких людей, как вы, там нет. Сами-то вы верите, что прежняя, старая Россия народится заново? Никто из тех, кого мы снимали, возвращаться не собирается, да и кому они там нужны, так, съездить в гости, пожалуйста. Для большинства наших русских здешние эмигранты смотрятся выжившими из ума идиотами, чем-то вроде музейных редкостей. Мне иногда кажется, что их у нас хотят использовать в каких-то таинственных целях. Может, это престиж страны подымает? Мне на это один человек намекал.

— Кому мы там нужны, на что могут влиять жалкие эмигрантские недобитки! Да уже такие заманивания после 45-го года были, некоторые здорово пострадали. Откровенно скажу, меня никакими калачами туда не заманишь. Скажите, Александр Сергеевич, вы верующий человек?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, иногда кажется, что да, но всю свою жизнь я вырос без веры, мама была церковной, меня в детстве в храм водила, а я сплеховал... Предал я собственную веру, она во мне еще в юности тлела, а потом совсем погасла, покрылась панцирем. Только недавно опять в церковь потянуло.

— Вот видите, мы, русские, проиграли самим себе по всем статьям. Мои родители, братья проиграли в гражданской войне, и не потому, что мы не умели воевать, а потому, что большая часть русских мужчин и офицеров погибла на фронтах Первой мировой. Но тогда у наших родителей сохранялись высшие благородные идеалы. Во имя великой России и Империи они клали свои жизни. Потом белые были разгромлены, их идеи были преданы, а тех, кто остался и не бежал, всех вырезали на корню. И не только физически. Коммунисты сумели густо засеять эти пустующие пастбища своей пропагандой, разложить души, разорить церкви, они сумели внедрить в них свое духовенство. В те годы, когда белые ушли в мир иной, гэбэшники начали последнюю войну: за духовность. Мы здесь

знаем всю историю советской церкви... Как она выживала, кем заседалась, а народ опять оказался оболваненным. Я не случайно спросил вас, верите ли вы в Бога.

— Понимаете, у нас сейчас народ валом валит в церковь. Все крестятся, венчаются, в общем, ищут опоры, наверное, и для меня это единственный шанс выжить там, я совсем недавно к этому пришел. Случайная встреча подтолкнула, но настоящего батюшки, наставника у меня нет.

Он представил панику в посольстве, переводчица звонит по всем эмигрантам, наводит справки, выспрашивает. Будут ли обращаться в полицию и когда сообщат Ольге? Слова князя долетали издалека.

— Такому, как вы, трудно будет везде. Меня, конечно, зовут в Россию, письма получаю от странных родственников, поверьте, я не вас имею в виду, из провинции приглашают приезжать и даже править каким-то именем, все это напоминает мне театр абсурда. Вот и вы сомневаетесь в том, как пойдут дела в стране, а, казалось бы, вам на месте видней, возрождение страны происходит у вас на глазах. Но я решил для себя, что поеду туда, только если будет настоящее покаяние за все преступления, которые совершены. Пусть вам покажется это наивным, но я хочу услышать не только слезные извинения Ельцина в узком кругу эмигрантов, я хочу услышать публично имена всех, кто убивал, сажал и расстреливал мой народ. Был же Нюрнбергский процесс! Так почему не может быть подобного над коммунистами?! А пока я предпочитаю подождать и не кидаться сломя голову в объятия новой власти. Наверное, вы уже заметили, сколько легковых и наивных эмигрантов в Париже?

— Мне скорее показалось, что они очень любят Россию, хотя и увидеть её богатой, быть ей полезными, возродить традиции, культуру ...

— Глупости! Какими были наивными идиотами, такими и остались. Большинство из них клюют на приманку. Вокруг них в Москве попрыгают, два-три интервью возьмут, медаль повесят, и им кажется, что от них зависит возрождение России (опять Голицын вспомнил слова сценариста), а на самом

деле все смотрят им не в рот, а в карман. Вы знаете, что русским династиям каюк, их больше нет и не будет, так же как купечества и крестьянства. Мы все представляем собой конец перевернутой пирамиды, а я, ее макушка, головой в земле. Все мои родственники во втором поколении, дети, внуки уже не говорят по-русски, ходят в церковь, и то не всегда в православную. Неужели вы полагаете, что можно возродить дворянство, благородство души и кодекс чести? Ведь одной фамилии для этого не достаточно.

Князь распаялся, разговор его увлек, он будто забыл, что перед ним человек, который хочет услышать совсем другое. В соседней комнате били часы, каждый удар приближал Александра Сергеевича к гильотине. Нужно было на что-то решаться.

— Знаете, — продолжал Михаил Кириллович, — мне вчера звонили друзья, рассказали ужасную историю. Одного моего знакомого, правда, я с ним не очень близок, сталкиваемся иногда на разных приемах, так его ограбили новоиспеченные родственники, какая-то молодая пара из Германии. Он их принял с распростертыми объятиями, а они его обчистили как липку. Полиция ищет, да что толку, бедного Сергея Сергеевича хватил инсульт.

«Неужели и меня он воспринимает как совкового родственника и, не дай Бог, как грабителя? А почему, собственно, он должен мне доверять? Кто я такой? Сомнительный режиссер, свалился на него с рассказами о слезке и вербовке, прошу помочь остаться в Париже. Какая наивность с моей стороны! Зачем я пришел сюда?» Стало грустно, рождественское настроение сменилось осенней слякотью и безысходностью. Голицын покосился на свою спортивную сумку. Дурак, еще и вещи притащил. Может, что-то предпринять, так, чтобы оператор не поднял паники?

Номер телефона проходной посольства у него был.

— Простите, вы позволите от вас позвонить?

Долго рылся по карманам, бумажка нашлась. В трубке то длинные гудки, то короткие. Время идет, он уже с ним наперегонки. Кто быстрее — он, оператор, переводчица, консул? Ка-

кую легенду выдумать? А может, плюнуть на все и будь что будет? Попроцаться с хозяином, выйти на улицу, подойти к первому полицейскому и сказать фразу, которую он давно выучил? Отступления нет, только в прошлое, а впереди неизвестность, толчок, прыжок, пропасть... Но как знать, может быть, вырастут крылья и он не разобьется, а полетит?

ПЕСЧИНКА

Впервые в жизни, в свои шестьдесят лет, Голицын был готов на прыжок в неизвестность. Никогда он особенно не задумывался, что такое для него «родина», всё сводилось к привычкам, уюту, мещанской обустроенности, к маме, к старым фотографиям в альбоме, природе, поездкам по стране и к работе. Вот это и была его «родина», которая в его сознании уместилась в некую плоскость бытия и сформировала его инфантильное сознание на долгие годы. Его личность была защищена от внешних стихий не только самой бессобытийной страной в мире, но и людьми, с которыми он жил и работал, а работу он любил больше всего на свете. Да и сам Александр Сергеевич, особенно глубоко не копал, скользил по накатанному, ну, а от несчастий в личной жизни он ушёл с головой в работу и стал трудоголиком.

А тут, (как знать, в один день, или постепенно?) в нём что-то поменялось... Пылинка, песчинка, зернышко, занесённое ветром неведомо откуда, дало росток, Голицын стал задумываться.

Он помнил даже погоду в ту парижскую предрождественскую ночь, лил холодный декабрьский дождь. Голицын второпях попрощался с князем, выбежал сломя голову на улицу, пытался поймать такси, но ни одна машина не остановилась, все спешили домой к праздничному столу. Он побрёл пешком, расстояние большое, и, подойдя к тёмному силуэту посольства, он понял, что катастрофически опоздал, видимо, даже те чиновники, которые справляли по «басурманскому» календарю и этот праздник, своё выпили и улеглись спать. Голицын перешёл на противоположную сторону, к самой кромке Булонского леса, встал под намокшую крону гигантских дубов и

взглянул на чёрный фасад «бункера». Лампочка тускло горела у входа, французский полицейский одиноко сидел в своей будке и, несмотря на ливень, изредка выходил прогуляться вдоль решетки. Вероятнее всего, ему было очень грустно дежурить в такую ночь, а не сидеть в окружении семьи или друзей вокруг праздничного стола. Ведь для французов Рождество — самый долгожданный и любимый праздник года; сейчас далеко за полночь, а значит, если семья была на полуночной мессе, то все давно вернулись домой, сели и приступили к вкуснейшему чревоугодию, состоявшему из устриц, сёмги, с обязательным белым вином, потом выносилась пылающая золотисто обжаренная индюшка с каштанами, разливалось бордо, а на сладкое — традиционный бюшь: шоколадное палено, в спинку, которого были искусно вбиты марципановые ёлки, топорики и снеговики. Настоящая красавица ёлка, пышная, свежая, вся опутанная лёгким серебром, в мигающих лампочках была центром и загадочным местом для каждого, а особенно для детей, которых взрослые давно отправили спать, но ровно в двенадцать, тем, что постарше, разрешалось прибежать в пижамках к ёлке и обнаружить под ней разноцветные, коробки. Они раздирались сразу и очень весело! Паркет был усеян пёстрым серпантинном, вперемежку с блестящим упаковочным мусором, а восторженные возгласы детей и счастливые глаза взрослых завершали эту праздничную ночь.

Полицейский вышел в очередной раз из своей будки, натянул на голову капюшон и медленно, прогулочным шагом стал приближаться к лесному массиву, который скрывал Голицына. Он не мог его видеть, так как дождь усилился, особенно вглядываться в темень охоты у полицейского не было, а в ночной чаще деревьев рассмотреть одинокую фигуру было практически невозможно.

Возникла какая-то странная геометрическая взаимосвязь, некий треугольник, между Голицыным, полицейским и «бункером». В любой момент это спокойствие и кажущееся равновесие должно быть нарушено и Александр Сергеевич знал, что осталось всего несколько минут до этого. Он, как бы примериваясь, вымеряя расстояние и свои силы, смотрел на спящую

бетонную громаду и вполне сознавал, что второго прыжка, в обратную сторону, не сможет совершить; записку его уже давно нашли, прочли, обнаружили пропажу сумки, поняли, что он сбежал. Идти с повинной к гебешникам, означало подписать себе если не смертный приговор, то муки унижений и позора на всю оставшуюся жизнь. Но даже сейчас, в последние мгновения перед броском, когда для него стало очевидным, что то, к чему он себя готовил, мучился в сомнениях, и, как бы эта масса архитектурного уродства не довлела над ним фараоновой пирамидой и не поднимала в нём стыдливые чувства долга, чести, совести и не гипнотизировала его, впрочем, как и всех тех, кто сейчас спал внутри, страхом прошлого и будущего, даже сейчас он сознавал, что не уверен в себе и своих силах. Тишина, нарушавшаяся лишь шуршанием дождя становилась невыносимой, его раздражала собственная нерешительность; жена всегда ругала его, что он тряпка и не боец, а тут он вдруг становится воином... поневоле. Голицын горько усмехнулся, посмотрел на часы, перекрестился и направился решительными шагами в сторону полицейского, который сначала не удивился, возникшей перед ним фигуре, потому как решил, что это ночной гуляка забрёл в незнакомое место и ищет нужную улицу, он даже вежливо приветствовал его; но через пару секунд, случилось нечто непредвиденное: сутулый в промокшей куртке, немолодой господин, смущаясь и заикаясь, кинулся к нему со словами: «же не парль па франсе, же свьи русс, силь ву пле, азиль политик!!!»

Вот какой рождественский подарок в эту ночь принёс французскому флику русский Дедушка Мороз.

* * *

Полицейский затащил Голицына в своё убежище и сразу позвонил по сотовому телефону, по его взволнованному тону и многократному повторению слова «политика» Александр Сергеевич сделал вывод, что он правильно заучил слова о «политическом убежище»; а его вопли возымели действие — через пять минут, как по волшебству, из ночи вынырнула маленькая юркая легковушка без особых примет, двое молодых парней,

одетых в джинсы и куртки, бодро выскочили из неё. Перекинувшись несколькими фразами с полицейским, и, взглянув на ошалевшее лицо виновника ситуации, они сразу усекли, что русский побегушник не может связать и двух слов по-французски, и что нужно его срочно отсюда увозить.

Александра Сергеевича как-то особенно бережно упаковали на заднее сидение машины, шофёр нажал на газ, переключил скорость и когда силуэт бункера исчез за поворотом, Голицын облегчённо вздохнул.

Сначала его привезли в районный полицейский участок, дежурный листал его паспорт, куда-то звонил, что-то заполнял, предложил чашку кофе, прошло полчаса, потом опять автомобиль, на этот раз уже в сопровождении молодых полицейских с пистолетами, которые неслись по спящему городу с мигалкой и сиреной, мелькали мокрые деревья в паутине огней, гирлянды разноцветных лампочек свисавших через улицы, хрустальные ёлки в освещённых витринах...

Странно — подумал Голицын, — что его поездка в Париж наметилась ещё весной и он сомневался, не хотел ехать, мечтал о Байкале, а потом с ним произошла эта дурацкая история, которая его буквально раздавила и, может быть, именно она стала последней каплей; ведь его тогда тоже везла милицейская машина, он помнил, как его унизили в участке, как он дрожал от страха, но жена спасла, убедила начальство, а потом и его, что для карьеры и какого-то очередного диплома он должен поехать снимать эмиграцию. Он тогда ничего от этой командировки не ждал, тем более, что оформление документов затянулось до зимы, и казалось, что эта работа сорвётся. И уж совсем он не предполагал, что, попав сюда, за очень короткое время мысли и сознание его так дооформируются, что он, неуверенный и потерявший себя человек, совершит этакий «героический» кульбит.

На всей скорости машина подлетела к серому гранитному монолиту, окна первого этажа были зарешечены, и необычайно высоко росли от тротуара, все вышли, и один из полицейских, вежливо придержав Голицына под локоть, указал на массивную дверь. Александр Сергеевич глянул машинально вверх,

скользнул взглядом по фасаду и в неоновом свете ближайшего фонаря увидел как первый снег крупными хлопьями, устилает мокрую мостовую и превращается в серую кашицу. «Как в Москве — подумал он — нужно загадать желание»

Они пересекли пустынный холл, с одинокой фигурой в отдалении, поднялись на лифте, шли по коридорам и ему казалось, что они бесконечны. Наконец, его ввели в довольно пустую казённую комнату, и оставили одного. Стол с телефоном, три стула, и окно, плотно закрытое жалюзи. Голицын не знал, то ли ему сесть, то ли стоять, он опустил свою промокшую насквозь спортивную сумку на пол и прислонился к стене. Усталости он не чувствовал, ему хотелось, наконец, поговорить с кем-нибудь, и обстоятельно объясниться на родном языке. Мысли путались, прыгали, хотя ему казалось, что он всё заранее продумал, как скажет, что ответит, а тут всё мешалось, и лезла одна ерунда. «Странно, вчера началась оттепель, а сегодня наверняка подморозит», — подумал он, и в это мгновение дверь резко распахнулась.

В комнату вошёл сухощавый средних лет господин, в изящном модном сером костюме, из нагрудного кармашка торчал розовый шёлковый платочек, галстук такого же нежного цвета в крапинку был завязан небрежным свежим узлом, в руках у вошедшего кожаный портфельчик, который он ловким жестом бросил на стол и дружески протянул руку Голицыну. Рукопожатие оказалось вполне клещевидным. Поджарая сухость спортивной фигуры, щегольски подчёркнутая изящным костюмом, с головой выдавала военную сущность господина и, скорее всего, его принадлежность к офицерскому званию. Александр Сергеевич от неожиданности, что перед ним возник некий «Джеймс Бонд», окончательно растерялся, не просёк тех нескольких слов, брошенных при знакомстве, а, вероятнее всего, это была фамилия «бонда», но так как мысленно Голицын представлял кого-то другого, а не такого ряженого кино-героя в крахмальной рубашке, то у него в ответ выдавилось нечто мыщее и несуразное: «Же не парль па франсе, мерси, же вё...».

Офицер улыбнулся, указал Александру Сергеевичу на стул, сел напротив, лёгким щелчком открыл замок портфельчика, из

которого на стол выплыл паспорт Голицына, множество бланков и блокнотик, после чего «джеймс» старательно отвинтил колпачок с пера и быстрым бисерным подчерком стал заполнять бланки, сверяя что-то с данными паспорта. Время шло, вопросы молчаливой гурьбой грудились в голове Голицына, он был взволнован, недоволен собой и напомаженным офицером, от которого несёт одеколоном и который наверняка срочно вызван в связи с его делом, примчался прямо от праздничного стола, а сам сидит и зря тратит время на какие-то закорючки. «Он ведь ничего не понимает — раздражённо думал Александр Сергеевич и, чем делать свои дурацкие записи, мог бы сразу приступить к делу». Голицын нетерпеливо ёрзал на стуле, деликатно покашлял пару раз, чтобы обратить на себя внимание, но офицер не отрываясь, сосредоточенно продолжал писать, сверять с записями в блокноте, и Александру Сергеевичу слышалось, будто золотое перо, скользящее по бумаге издаёт неприятный звук.

В дверь тихонечко постучали, и молодой человек в форме внёс поднос с бутылкой шампанского и тремя длинными пластиковыми фужерами. Вслед за ним в кабинет протиснулась фигура, довольно молодого, человека, в чёрном костюме, с бледным помятым праздничной бессонницей лицом. Дежурный вышел, а «джеймс» ловким цирковым движением, бесшумно откупорил бутылку, разлил пенящуюся жидкость в пластик, белозубо сверкнул улыбкой, высоко поднял руку с бокалом и обернувшись к цветной фотографии президента Миттерана, висевшей над столом, воскликнул: «Вив ла Франс, вив ла Републик, вив ла Либерте !» — и залпом выпил.

Голицын последовал примеру, бледное лицо молодого человека исказилось болезненной гримасой, будто он вливал в себя не французское шампанское, а серную кислоту.

«Джемс» неожиданно хряпнул пластиковый фужер об пол, тот пружинно отскочил под стол, а офицер что-то буркнул и засмеялся.

— Он говорит, что у вас в России принято на счастье разбивать рюмки. Простите, я не представился, я Паша, переводчик. У меня так болит голова, что я предпочёл бы таблетку аспири-

на... Да вы садитесь, и без церемоний, здесь можно держаться по-простому. Я не знаю, вам сказали, что «он» довольно большое начальство... Хотя это не моё дело, вам, наверное, объяснят потом...

«Джеймс» сел за стол, переводчик и Голицын рядом, напротив.

— Скажите Александр Сергеевич, вот вы, известный режиссер, давно работаете на телевидении, почему вы приехали снимать фильм об эмиграции? — Смешно коверкая по-французски его имя-отчество, начал свой допрос «бонд», а Паша, несмотря, на головную боль, подключил свой автопилот и, не отставая ни на секунду, залопотал рядом.

— Я совсем не хотел ехать, я даже не думал об этом, но у нас ведь не спрашивают, мне дали такое задание... Это моя работа.

— Странно, кто же вам дал такое задание? Вы, кажется фильмы о милиции снимали, а тут тема совсем другая... Странно. С вами беседовали в КГБ? Нам понятен их интерес к русской эмиграции. У вас ведь, кажется, здесь тоже есть родственники?

«Быстро же они навели справки» — мелькнуло в голове у Голицына.

— Да, у меня троюродный дядя, по отцовской линии, князь Голицын. Я, собственно, решил на эту поездку, чтобы с ним увидеться, поговорить и вернуться, но потом понял, что наша встреча, да и вообще, все эти русские люди, они замечательные, они другие... У меня от их рассказов, что-то внутри прорвало.

Голицына несло, он не мог уже остановиться, но, чем дальше он рассказывал о себе, о матери, о своих переживаниях, о том, что, он понимает, что, по возвращению, от него так просто не отстанут, а потребуют отчётов, и, может быть, за этим последуют ещё командировки, которые будут ему отвратительны, и он никогда не сможет ничего подписать, никогда ничего не сможет плохого рассказать ни о ком из этих героических русских парижанах, которые его так сердечно здесь принимали...

Он говорил, Паша лопотал как пулемёт, а Александру Сергеевичу всё казалось, что «джеймс» откинувшись на спинку стула, смотрит на него иронически и ждёт чего-то другого, более важного, а не той сентиментальной белиберды, с поисками

справедливости и угрызениями совести, которыми он его пичкает уже целый час.

— Но ведь не может быть, чтобы с вами никто никогда не беседовал? Вот вы мне сказали, что получили всякие звания, дипломы, за фильмы о работе милиции... Ведь так просто, кого попало, к этим органам у вас в стране не допускают?

— Вы не верите мне?! — отчаянно воскликнул Голицын. — Но, я вынужден признаться, я сам себе лгал долгие годы, я ведь всё знал, терпел, принимал от «них» звания, и всё из-за того, что не мог жить без интересной работы, совершенно опустился, стыд потерял... Моя жена меня всю жизнь защищала, собственно говоря, она мне мою карьеру сделала, это она со всеми этими ужасными... органами общалась, думаю даже тесно.

Его от этого признания замутило, стало гадко, он совершенно не подозревал, что разговор примет такой оборот, когда он рассказывал «джеймсу» о своём детстве, о родителях, о том, как постепенно он стал искать истину и когда СССР «приказал долго жить», ему стало легче дышать и появилась смутная надежда, что и страх у него пройдёт и что эти «органы» сдохнут, и, как знать, может быть, он смог бы больше не зависеть ни от кого, и обрести свободу; именно во время этого «чистосердечного признания», он не заметил, как упустил существенную деталь, забыл сказать самое главное, что жена его... стукачка! Может быть, страх в обнимку с амнезией так давно и надёжно сковали его совесть, что даже сейчас он боялся и до последнего пытался обойти эту скользкую тему. Нет, конечно, не для того, чтобы выгородить Ольгу, он совсем не хотел в разговоре с «джеймсом» выставить её в хорошем свете, а просто, независимо ни от чего, ему было очень стыдно за себя... и как ни странно, за страну.

— Как интересно. А ваша жена вас шантажировала, угрожала?

— Нет, она меня оберегала всю жизнь, но вам трудно это понять... Я её всегда боялся, а она это знала и пользовалась этим.

— Значит, шантажировала, угрожала?

— Нет, но в этом не было необходимости, она просто завладела моей волей. И знаете, мне стало невыносимо жить с ней

рядом, я старался уезжать в командировки, подальше от неё и тогда мне казалось, что я дышу свободнее, а её вообще нет, что она исчезла.

Он не мог раскрыть свою сокровенную тайну, он понимал, что даже мать осудила бы его за это, но он не только мечтал об исчезновении Ольги, а даже фантазировал, как можно её убить. В самые тяжёлые бессонницы, он листал энциклопедический словарь из которого узнал о ядах; грезилась капли, которые после вскрытия не оставляли следов, из детективов он вычитал о медленных отравлениях, с побочными явлениями «ежедневной рвоты, головокружения, звоном в ушах...», человек умирал в течении нескольких месяцев, но неизвестно, от чего. Но всё замыслы, дальше болезненного воображения не шли, наступало утро, растворялись чёрные тени, и днём, в обычной суете, он забывался работой.

— Можно подумать, что вы решили сбежать от вашей жены, а не из страны Советов?— как бы читая мысли Голицына усмехнулся «джеймс». — Но скажите, кто, всё-таки, перед отъездом с вами разговаривал, кроме начальства? Ведь, насколько нам известно, на такую съёмку кого попало не пошлют. Это дело ответственное, обычно инструктаж проводят, а потом отчёты требуют.

— Была у меня встреча, со сценаристом, он когда-то здесь в Париже работал, то ли в Торгпредстве, то ли в консульстве, а может, и в Юнеско, я толком не понял. Он собрал большой материал по эмиграции, говорил мне, что встречался со многими из них, книжку написал, вот она и легла в основу нашего фильма. Да только, когда я встретился с его персонажами и начал их снимать, то понял, что всё у этого журналиста очень тенденциозно написано... Я решил, что или совсем ничего не сниму, или всё по правде. Ну, а потом... Прошло несколько недель, и знаете, я не только наслушался этих людей, но и надыхался воздухом... Парижа, тут меня будто кто толкнул на окончательное решение.

Голицын опять, углубился в воспоминания, стал почему-то излагать свою концепцию будущего фильма, потом перескочил в прошлое, нырнул в воспоминания детства, рассказал о

жизни и мытарствах матери, и совсем неожиданно вывалил подноготную дрязг советского телевидения. Как всякий советский человек, воспитанный на университетском беспредметном многословии, ему казалось крайне существенным, обстоятельно погрузить «джеймса» в детальную окраску своего социума.

Офицер зевнул, для приличия прикрыв рот ладошкой, и спросил.

— Как фамилия этого журналиста?

— Его зовут Пётр Иванович Пряскин, да, он известный у нас человек, его часто в газетах публикуют, он теперь стал демократом...

— Да, он действительно известная личность и не только у вас, мы его, в своё время выпроводили из страны, так как он по совместительству со своей журналистикой, занимался не совсем тем, чем следует!

— Как выпроводили? За что? Неужели он шпион?

В ответ «джеймс» только рассмеялся. Потом пошли вопросы о составе съёмочной группы, каких эмигрантов они посещали и кого им в консульстве предлагали снимать ещё.

— Вы в курсе того, что теперь никогда не сможете вернуться в Россию? Что для них вы предатель, не знаю как сейчас, но в СССР, вам вынесли бы жёсткий приговор, вплоть до пожизненного заключения. А для ваших родственников вы тоже конченный человек, в такой ситуации они вряд ли захотят с вами общаться. Да и мы вам не советуем, хотя у нас есть примеры, когда КГБ засылало всяких эмиссаров с уговорами, со слёзными письмами от жён и детей, с клятвенными заверениями, что если вы вернётесь, то вам всё простят... Но не советую попадаться на эту удочку, история возвращенцев нам известна и она печальна, «там», мы уже ничем не сможем вам помочь.

— Я всё это представляю. Но, надеюсь, вы мне верите и не вышлете, как того журналиста? Знаете, мне нужно оглядеться, почувствовать себя человеком, я это в Париже понял, конечно, я другим ещё не стал, но один слой кожи уже поменял. Ведь я страх преодолел, а остальное... Не будем загадывать. Если бы была жива моя мама, она бы порадовалась. Может быть, вам

покажется странным, но она помогала мне в этом решении, поддерживала мысленно, мне казалось, что я ощущал её присутствие даже сегодня...

Офицер встал из-за стола, подошёл к окну и поднял жалюзи, за окном начинался зимний, серый рассвет, и в комнате от этого не стало веселее.

— Я должен вас предупредить, что вам будет трудно здесь. Вы должны положиться на советы вашего родственника, мы ему позвонили и он за вами приедет — «джеймс» вынул из внутреннего кармана визитную карточку, протянул Голицыну, и неожиданно по-русски добавил — Здесь мои координаты, можете звонить, когда хотите.

Голицын растерянно всмотрелся в картонку, там стояло два слова и номер телефона, понять, где имя, а где фамилия он не мог, но больше всех был ошарашен Паша, видно он не ожидал, что «джеймс» всё понимает.

— Моё имя Ги, а фамилия Ру — видя замешательство переводчика, пояснил офицер, мы ещё не один раз будем встречаться и говорить, а теперь вас проводят до проходной, и пожалуйста не стесняйтесь, звоните.

Паша замешкался, что-то быстро стал говорить по-французски, будто оправдываясь в чём-то, но Ги Ру вполне начальственно выслушал его, двумя словами дал понять, что встреча закончена, распахнул дверь кабинета и проводил их до самого лифта.

Его прощальное пожатие, показалось Голицыну столь же жёстким.

Пока они спускались в лифте, Паша сконфуженно молчал, может он не знал, что Ги Ру всё понимает по-русски, и ему казалось, что его подвергли некому экзамену. Александр Сергеевич пытался с ним заговорить, ободрить двумя словами, но тот как-то совсем сник, пожелал удачи и выйдя из лифта смешался с толпой служащих в холле.

Несмотря на Рождество, здание Контрразведки немножко ожило, пустое пространство холла преобразилось, даже в праздник здесь сновали чиновники. Если бы ему сказали, что он находится в чреве местного КГБ, он бы не поверил, настоль-

ко в его представлении лица этих людей должны были соответствовать «нашим держимордам».

Из дальнего угла, где в кадке росла одинокая пальма с голубоватой неоновой подсветкой, отделилась знакомая фигуры, тяжело припадая на палку и с трудом передвигая своё тучное тело, старый князь простёр руку на встречу Александру Сергеевичу.

— Мой дорогой! Как же вы решились? Ну, да ничего, с Божией помощью мы всё одолеем. Клянусь, я вас не брошу. А теперь едем домой.

* * *

Квартира Светлейшего князя Голицына помещалась в массивном каменном доме девятнадцатого века. Александру Сергеевичу была выделена комната для прислуги, на последнем, шестом этаже, под самой крышей. В этой довольно убогой мансарде единственным украшением было окно, а так, стол, два колченогих стула, матрац и умывальник, уборная ниже этажом на лестничной клетке. В углу комнаты были свалены старые эмигрантские газеты и журналы, хорошо спрессовавшиеся от времени.

Вечерами Александр Сергеевич погружался в эту кипу, и с удивлением и болью открывал для себя историю своей страны, так надёжно скрытую советской цензурой. О многом он слышал по «вражьим голосам», но далеко не всё, особенно события хрущёвской оттепели, процессы над диссидентами, посадки, закрытие церквей; пятидесятые годы, которые не только для него, да и для всей советской интеллигенции были надеждой на начало новой эры, но очень быстро переродилось в очередное закручивание гаек. Оттепель, оказалась зимней слякотью. Интеллигенции выдали аванс, потом, их же посадили на крючок и они получили свободу, в виде фиги в кармане, продолжая травить анекдоты на кухне.

Голицын открывал окно садился с ногами на подоконник, курил, слушал курлыканье голубей, смотрел на крыши, а дальше через них открывался вид на холм с белоснежным Сакрэ-Кёром, где-то справа маячил уродливый небоскрёб Монпарна-

са, золотой купол музея Инвалидов... Можно было не двигаться, стараться ни о чём не думать, где-то внизу шумел город, он провожал закаты, а время как бы замерло, растеклось, словно кисель по тарелке и подёрнулось дрожащей плёнкой. Что будет завтра, послезавтра, через неделю — Голицыну было безразлично, в глубине сознания происходила глухая работа, он противился ей, старался не замечать, но чем больше ему приходилось погружаться в рутинность новой жизни, тем больше он понимал, что даже после своего прыжка в неизвестность, с удачным приземлением ему далеко ещё до душевного выздоровления. Да и как себя не растерять? Ах, было бы ему не шестьдесят, а двадцать!

Не зажигая света, скорчившись на подоконнике, он всматривался не только в ночь, но и в своё прошлое; в памяти всплывали образы детства, разговоры с мамой, их мытарства, и ненависть к жене. Было ли ему стыдно за свои преступные мысли? На этот вопрос он не мог ответить, но вполне сознавал, что осуществи он тогда свои замыслы, (а были моменты, когда он был на грани), то сейчас он не любовался бы Парижем.

Несколько раз в разговоре с князем, он почти был готов к раскаянию, но что-то его всякий раз удерживало. И он подумал, что так как он не совершил этого преступления, то нечего и рассказывать, а преступные мысли они и во сне бывают.

Через пару недель после своего прыжка, он позвонил жене, но та, как только услышала его голос, завопила, прокляла и бросила трубку.

С оказией он послал письмо сыну — ответа не получил.

Может это было не по-христиански (так бы сказала его мать), но ему было приятно сознавать, что он вызывал ненависть у Ольги. Физического убийства не случилось, но удовлетворение, что он отомстил ей за все годы унижений — сердце его согревало. Может быть, это было не по-христиански (так, наверное, сказал бы тот старичок на кладбище), но он без сожаления, злорадно, представлял, как Ольгу вызывают в КГБ, как она оправдывается перед ними, а дома плачет и воет от бессилия.

Может быть, тоже, не хорошо, но у него совершенно не болело сердце за сына. Уже давно сын перестал уважать его и, как ему казалось, стыдился отца.

Последней каплей, в их отношениях, был разговор, когда сын с презрительной усмешкой бросил ему «...что с тебя возьмёшь, ты же неудачник».

Горькие воспоминания не оставляли его.

Но больше всего Голицын страдал от отсутствия работы. Она настолько въелась во все его поры, превратилась в наркотик, что теперь оказавшись отрезанным от настоящего «дела», он ощутил огромную пустоту во всем теле.

Почти каждый день ему приходилось заниматься мелкими и большими делами, в основном это касалось его оформления во Франции, эти «дела» разрастались в горы бесконечных ксерокопий, телефонных звонков, встреч с чиновниками, высиживанием в очередях, подач документов на всяческие пособия и вид на жительство. Князь ему помогал как мог, но из-за возраста он поручил всю эту тягомотную беготню своему внуку, студенту третьего курса Сорбонны, который оказался милым молодым человеком, общительным, обаятельным, унаследовавшим внешность своих предков, но совершенно далёким от русских вопросов и вполне иностранной складки. Он довольно хорошо знал русский и, проводя часы с Голицыным в очередях, всячески пытался расспросить его и понять, почему его дальний родственник сбежал из России.

— Скажите, мне дедушка рассказывал, что Россия до революции была почти как Европа, потом всё большевики уничтожили, но неужели сейчас невозможно её возрождение? Я читал, что столько природных богатств, нефти... Что она до сих пор сильная, вон, как все её здесь боятся.

— Не знаю, в чём её сила. Если только в нагнетании страха на весь мир, так это не сила, а слабость. Вот представь, была бы у тебя такая мать, или, скажем жена, которая в тебе не уважение, а один страх вызывала. Ты бы её любил и всё прощал? Уверяют тебя, что на унижении и несправии долго держаться нельзя.. Все только и ждут в России второго Сталина, и желательно, чтобы он был православный. До сих пор

все мечтают о хозяине с железной рукой и в этом почему-то видят стабильность. Хотя у нас уже такое было... Сколько людей, унизили, нещадно уничтожили, сломали веру и лишили собственной воли. Но на Руси матушке уроки истории, быстро забываются.

— Ну, а что же народ?! Вот у нас во Франции, попробуй, тронь только нашу демократию, забастовки пойдут, Париж в баррикадах уже не раз бывал, но мы отстоим свои права.

— Дорогой мой, у нас слово «демократия» стало неприличным словом. Наш народ не знает, что с ней делать, его так давно оболванили, раздавили, что он превратился в недоумка. И не думай, что это произошло теперь, при развале СССР! Нет, это случилось, когда начался красный террор. Твой дедушка об этом хорошо помнит, многое может тебе рассказать.

— Нет, я не могу понять... Ведь есть теперь в России такие как вы, и молодое поколение выросло, я встречаю русских студентов в Сорбонне, они вроде нас... ну почти, как мы.

— Поверь мне, что таких очень мало, ведь на протяжении десятилетий у всей страны корчевали корни и обрезали побеги, так что и эта молодёжь другая, без памяти, без истории, лишённая воли. Я сам недоумок, а мой сын, который, кстати, твой ровесник, но, к сожалению, ему далеко до твоих рассуждений, он предпочитает не копать так глубоко, он уже сложился в молодого недоумка.

Эти темы волновали их обоих, а Кирилл, зовущийся нежно на французский манер — Сирилль, изо дня в день всё больше увлекался, задавал вопросы, пытался разобраться, в тайнах русской души своих предков; и Голицыну было несказанно радостно что, несмотря на другое воспитание, этот русский-француз до сих пор болеет Россией. Да и за собой он стал замечать, что на расстоянии он жалеет свою родину больше... Может потому, что она была недосыгаема.

* * *

Он несколько раз встречался с Ги Ру, уже без переводчика, на третий раз он показался Голицыну менее напыщенным, они подолгу разговаривали и когда, однажды, речь зашла о рабо-

те, сам предложил позвонить в редакцию «Русской мысли». Александра Сергеевича это удивило, но потом он сообразил, наверное, Ги Ру стали известны его беседы со старым князем. Он пару раз жаловался на безделье, на то, что не привык жить нахлебником, что ему хочется быть не просто полезным, но оказаться «при деле». В чём можно найти применение своего таланта в Париже он не представлял, тем более, что французского он не знал, и вся его деятельность сводилось к помощи князю по дому, прогулкам с собаками, хождению в гости и знакомством с многочисленными дальними родственниками.

Случай Голицына облетел не только эмиграцию. Какое-то время разные журналисты крутились вокруг, даже показывали его пару раз по телевидению, но ажиотажа не произошло, так как Александр Сергеевич совершенно не стремился к славе «изменника родины», а пикантных подробностей другой измены просто не было, так что слава его, не успев разгореться, стала гаснуть.

Больше всех им гордился Светлейший князь! Более того, он как ребёнок с новой игрушкой, носился с ним, приглашал на Голицына гостей, а те в свою очередь передавали его дальше. Круг расширялся, но с русской эмиграцией отношения у Александра Сергеевича складывались сложно, неоднозначно; кто-то его принимал за героя, кто-то за шпиона, кто — за сумасшедшего, были и такие, кто откровенно говорил, что «он предатель своей родины». Голицын и не подозревал, что русская эмиграция столь противоречива и настолько размежевана.

Старый князь обрадовался, когда узнал, о возможной работе в «Русской Мысли», только добавил — «Вы не должны строить иллюзий. Хоть эта газета и старая, но в ней заправляет уже не та гвардия. Всё это люди для меня не близкие, не свои, хотя, есть среди них достойные диссиденты, кое-какие литераторы, философы, лучше всех главный редактор, она из наших, мы с ней знакомы лет тридцать».

Александр Сергеевич позвонил в редакцию и через пару дней был радушно принят тучной седовласой дамой, чем-то отдалённо напоминавшей Ахматову, она лично представила Голицына сотрудникам газеты, а те сразу зазвали его на огром-

ную кухню и напоили чаем. Ему стало хорошо, по-семейному; большой рыжий кот прыгнул на стол, попугай в клетке закричал «Борька дурак», вокруг заговорили о политике, стали ругать Ельцина, хвалить Гайдара, и предложили взять у Голицына интервью. Поначалу, он отнёсся к этому коллективу с опаской, а потом ему здесь понравилось. Суета, суматоха, авралы перед выходом газеты неразбериха, крики, ссоры, мелкие интрижки... всё это было знакомо и даже забавно, он особо не вдавался в детали, держался в сторонке, писал странные вирши о путешествиях по русской глубинке, о дрязгах на телевидении, писал плохо, но милые редакторши помогали, доводили его «воспоминания» до совершенства.

Александр Сергеевич действительно оказался «при деле», и ностальгия по работе, как зубная боль стала отступать.

Потом, дальше — больше, дружный коллектив уже не казался ему «вражьем», а скорее даже своим, советским. Он зачастил в редакцию, прилепился к их жизни, постепенно стал незаменимым помощником, покупал корм коту, чистил его тазик, бегал на почту, сопровождал главного редактора до дома, пил чай, разглагольствовал с ней часами о «жизни и вере», а ещё, подружился с корректором Аллой, которая сидя на кухне, постоянно рассказывала ему о своих несчастных романах, курила и добавляла в чай виски. Лицо у неё было асимметричное, одна половинка как у клоуна плакала, а другая настороженно выжидала несчастий.

Как не банально, но время лечило раны Голицына, можно было ожидать, что он сопьётся или впадёт в депрессию, (а такое с некоторыми эмигрантами случалось) он не стал каждую неделю покупать лотерейный билет в надежде стать миллионером, и не превратился в коллекционера спичечных коробков с видами Парижа, печально, что он так и не прилепился к церквям, но он стал фанатом этого города.

Город манил и звал.

У него возник некий симбиоз с ним.

Он не мог бы сказать, что Париж — это «его» город, что он его принял безоговорочно, но то, что этот город есть концентрация красоты и гармонии, которая возвышает, отгоняет

дурные мысли, вытесняет желчь и целебным бальзамом лечит душу — это было так! Бродя по улицам теперь «своего» города, он с горечью вспоминал рассказы некоторых коллег, которые, возвращаясь из загранпоездок, мрачно отмалчивались, а потом цедили сквозь зубы «да, ничего себе городишка.., мясо есть, а души нет». Ему тогда было нечем возразить, он в Париже не бывал, но теперь он тех моральных уродов презирал и вполне разделял мнение поэтов и художников, которые говорили, что здесь «нужно жить и умереть».

Голицын, не мог оценить особенности французского характера, языка он не знал, но, будучи человеком наблюдательным, он увидел, что народ этот любит свою страну, гордится ей, любит вкусно поесть, повеселиться, много работает, путешествует, и помогает бедным. Правда их щедрость иногда не знала границ — к разноцветным иностранцам они относились не просто терпимо, а возились с разными правами меньшинств, защищали их, осуждали расистов, трубили об этом по телевидению, а многодетная арабо-негритянская семья получала такие «бабки», что не работая могла жить припеваючи. Их было здесь много. Поначалу Голицына это раздражало, как у всякого советского человека крутилось в голове «Россия для русских... Франция для белых», но постепенно он этих мыслей стал стыдиться, более того, он стал подавать милостыню.

Прогулки стали неотъемлемой частью его бытия.

Он мог часами бродить по бульварам, вдыхая ароматы цветущих каштанов, подставляя лицо под облетающие розовые лепестки, блуждая по ночным огнистым улицам, он присматривался к волшебным освещённым витринам, к толпе, к лицам, переходил мосты, спускался на набережные, где рядами стояли баржи, лодки и он вдыхал дурманый запах воды, вперемежку с дёгтем. Он как мальчишка, свешивался с мостов и махал рукой скольльзящим по Сене трамвайчикам, туристам со всего света, а они улыбались и что-то кричали в ответ.

Голицын полюбил парижское метро, с его весёлыми рекламными щитами, с приветливой толпой, так не похожей на мрачные лица сталинской подземки, а когда поезд выныривал из туннеля и выплывал всем своим лёгким, синим телом на

ажурный мост и стайка японских туристов, щебеча, кидалась к окну, щёлкала аппаратами Эйфелеву башню, Марсово поле, Трокадеро, он улыбался и думал, «а мне уже не нужна фотка на память, всё это теперь моё».

Его мучило, что он живёт нахлебником у князя и не может себе позволить лишнюю трату, но как только за свои статейки он стал получать гонорары (жалкие гроши), не задумываясь, он шёл в кафе, усаживался на веранде, заказывал чашку кофе или пиво, расслаблялся, вытягивал ноги и, откинувшись на спинке стула, часами наблюдал за людьми, слушал весёлую перепалку гарсонов с клиентами, вспоминал прошлое и стоп кадры прежней жизни казались ему немым чёрно-белым кино. Будто всё это происходило не с ним, а с другим человеком.

Как он мог любить Ольгу? Как он мог жить в той стране?

Он узнал как хороша прозрачная парижская весна, потом лето, горячий жар раскалённых домов, с прохладой парков и бульваров, внезапный ливень; потоки воды устремлялись вдоль улиц, падали в особые щели в тротуарах и исчезали в подземных колодцах, через пол часа город высыхал и распускался как чёрная роза после дождя, а дворники-негры огромными зелёными метёлками подталкивали листья и мусор в бегущие потоки, тщательно вычищали остатки ненастья, прихорашивали улицы, и Голицын с ребячьей завистью посматривал на эти метёлки и ему хотелось поиграть, как в детстве, в кораблики.

Он шёл дальше и в Люксембургском саду усаживался на кромке круглого фонтана, в котором целыми днями дети всех возрастов гоняли парусники по воде, а старушки, с подсинёнными волосами, чинно сидели на белых стульчиках, читали газеты, книжки, выгуливали внуков; и по ним Голицын сверял время, ровно в двенадцать они подымались и шли обедать.

Он бродил по всему городу, узнал его северные кварталы с беднотой, фешенебельный левый и правый берег Сены, самый красивый проспект мира Шанс Елизе, Лебяжий остров, современные небоскрёбы Дефанса, и оживленный, туристический Китай город...

Он принадлежал только себе и ему, он делал, что хотел, а мог и не делать вовсе и довольствоваться малым, Париж шеп-

тал на ухо, что не бросит его и любой его уголок станет для Голицына приютом.

Конечно, он побывал и в Лувре и в музее Орсэ, а однажды князь повёл его в оперу, но главным музеем был сам Париж, в его атмосфере он чувствовал собственное ощущение бесплотности, растворения и свободы! Да, да! Он, наконец, понял, что такое Свобода!

И странно, Александр Сергеевич, впервые за долгие годы перестал бояться приближения ночи, кошмарные сны, чёрные тени, сменились пёстрыми весёлыми картинками, которые стирались из памяти, как только он просыпался, но оставалось чувство радости. А ещё, за долгие годы, впервые, он ощутил лёгкость во всём своём старом теле, будто город поделился с ним не только силами, но и напоил живой водой; и не в первый раз некая невидимая соринка, лёгкая песчинка щекотала горло, учащённо билось сердце и благодатные, счастливые слёзы наворачивались ему на глаза.

* * *

Старый лифт медленно полз на последний этаж. Он напоминал узкий школьный пинал, их тела были плотно прижаты друг к другу.

— Прошу вас, только никаких разговоров о политике, в этой семье предпочитают смеяться, а не вести заумные беседы, — раздражённо произнесла Алла, а он сразу почуял запах, опять она пила, а ведь обещала до вечера не притрагиваться.

Странно, но с утра, его не покидало ощущение, что из этого случайного посещения выйдет сегодня нечто значительное, непредвиденное.

На лестничной площадке цветы в горшках, гостевой шум слышался из распахнутой настежь входной двери. Для приличия Алла нажала кнопку звонка.

— А вот и наша Алинушка! — молодежавый мужчина, босиком, в белоснежном индийском костюме облапил Аллу и зацеловал. Он как две капли воды походил на своего знаменитого деда писателя, подчёркнутая стилизация в причёске и бороде, дополняла сходство.

— Это Александр Сергеевич — произнесла Алла и хозяин в таком же припадке возбуждения, будто-то сто лет ждал этой встречи, кинулся на шею Голицына.

— Какая встреча, проходите скорее, — и он потянул их вглубь квартиры, — ребятки, смотрите, кого нам привела Алинушка... Это же Пушкин!

Просторная прихожая, направо большая комната, налево застеклённая веранда с тропическими растениями, «индус» увлекал их дальше, вглубь квартиры, всюду народ, кто стоит, кто полулежит на низких кушетках, курят, пьют, группками разговаривают, девушки в белых передничках разносят подносы с закуской, издалека слышится гитарный перебор и русский романс. Алла увидела знакомого и опустила у его ног прямо на ковёр, ей сразу плеснули виски.

— Зора, Зора... ты где?! Сейчас я найду мою жену...

Хозяин ласково обнимал Голицына за плечи, больше двух минут было трудно удержать его внимание, поговорки, шутки, прыгали, мелькали, он знал их великое множество. Неожиданно перед ними возникла маленькая, костлявая балерина, в розовой пачке, атласных тапочках, её огненно рыжую шевелюру украшал большой белый бант. В полутемноте она казалась неуклюжим подростком, впечатление портила сигарета прилипшая к губам, в одной руке пепельница в другой стакан с красным вином. Балерина встала на пуанты и усмехнулась.

— Я Зора, а ты, значит, Пушкин? Присоединяйся, выпьем за моё здоровье, мне сегодня восемнадцать, праздную совершеннолетие. Может стишки новые считаешь?

— Нет, моя фамилия Голицын, а зовут меня Александр Сергеевич, от этого вечная путаница.

Он по-детски засмутился, ему стало неловко за великого поэта, за себя и, вообще, всё вдруг стало противно и захотелось побыстрее уйти.

— Так ты ещё и князь? — усмехнулась Зора, — Пойдём, я тебя со всеми познакомлю. Подадим тебя на десерт.

Александр Сергеевичу показалось, что он стал персонажем Феллинневского фильма, вот сейчас, заиграет трубочка, а потом появятся карлик и толстая женщина с бородой. Балерина

крепко держала его за пуговицу пиджака и на кончиках пальцев, пританцовывая, перешла в соседнюю комнату, девушка-прислуга на ходу подлила ей красного.

— Внимание, господа! Вот это Пушкин, он же по совместительству князь Голицын — торжественно объявила Зора. Разговоры вокруг смолкли, десятки любопытных глаз устремились на Александра Сергеевича. — Все видели о нём передачу по телевизору, а ещё в газетах писали о нём?! Он герой, перебежчик! Дарю вам его на сладкое!

Секунда тишины, а потом опять все между собой заговорили кто по-французски, кто по-русски... Зору качнуло и она, потеряв равновесие, повалилась на мужчину сидящего рядом на низком диване, красное вино разлилось на розовую пачку.

Александр Сергеевич поискал глазами Аллу, но в полутьме свечей и скоплении тел он её не нашёл.

— Расскажи нам, Расскажи князь, как ты чухнул?! — пьяным голосом кричала Зора.

Но тут всеобщее внимание привлёк маленький, щупленький мальчик в пижаме. Волосы ребёнка были взъерошены, шея замотана толстым вязаным шарфом, в руках он держал игрушечного монстра. Мальчик вглядывался в силуэты полулежащих гостей и искал кого-то, вот он увидел Зору, подошёл к ней, та потрепала по щеке, он заплакал и побежал из комнаты. Отец ловко настиг его в коридоре, сгрёб в индусские объятия, потом усадил на пол и достал из глубокого кармана пузырёк с микстурой. Мальчик мотал головой и плакал навзрыд: — Не хочу лекарства, не будуууу!

У отца в руках, как по мановению волшебной палочки, появился стакан морковного сока, чайная ложка, яйцо всмятку, мальчик, зажатый в угол, бился в истерике, отец силой влил в него микстуру, потом сок и запахнул яйцо. Ребёнок тут же выплюнул всё обратно.

— Вот, познакомьтесь, Александр Сергеевич. Это моя любимая жареная курица, я его обожаю, он маленький гений, у него ангина, болят уши, вот он и капризничает. А сейчас, он покажет вам свою комнату. Дэн, покажи Пушкину свою берлогу.

Мальчик освободился из объятий отца, взял Голицына за руку и повёл вглубь квартиры, они поднялись по внутренней лестнице на антресоль, и попали в сказочное царство. Огромное пространство нависавшее вторым этажом над всей квартирой, очень отдалённо напоминало «Детский мир», скорее это была каверна Али-Бабы, заполненная до потолка немислимыми игрушками. Что-то двигалось, жужжало, разговаривало металлическим голосом, мелькал экран телевизора и компьютера, с потолка свисали разнообразные модели самолётов, в центре комнаты, макет замка, фигурки рыцарей, солдатиков, лошадей, рельсы железной дороги уложенные по периметру антресолей... Лицо малыша преобразилось, от страдальческого выражения не осталось и следа.

Дэн был одинок и вполне счастлив в своём одиночестве, так, по крайней мере, казалось родителям. Отец ему не отказывал ни в чём, мать полностью доверяла польской няне. Почему отец считал его гением и что такое гений, мальчик не понимал, но то, что он небожитель из своих сказок он твёрдо усвоил, его виртуальный мир стал для него настоящим убежищем. «Как хорошо, что у этого мальчика есть куда скрыться», — подумал Голицын.

— Ну, идём же со мной Пушкин, ты должен рассказать о себе, — розовая пачка медленно поднималась по лестнице, вот она рядом, она неуклюже пытается приласкать сына, он от неё отбрыкивается, переползает на коленях в другой конец комнаты, прячется, щёлкает зажигалка, Зора глубоко затягивается.

— Зора, не куууррриии!— истошно кричит ребёнок.

— Слушай, ты мне надоел, пошёл ты в баню, что хочу то и делаю, я тебе жить не мешаю, и ты мне не мешай. Идём вниз! — и она решительно взяла Голицына под руку. — Тоже мне морализатор нашёлся, то не пей, то не кури! Я ему райскую жизнь устроила, а он мне мозги пачкает, эколог какой-то и откуда у него эти замашки. Есть перестал, голодовку объявил, на одних макаронах живёт, а отец в истерике, бегаёт за ним целыми днями с ложкой, пытается насильно кормить. Чего ему не хватает, не пойму...

Они спустились вниз, Зора затащила Голицына на застеклённую веранду, здесь было удушающе жарко, тропические растения превратили это место в настоящую оранжерею.

— Расскажи мне, как ты решил остаться. Тебе было страшно? За тобой ГБ прыгало, а французы скрывали, прятали? Ты, наверное, всякие секреты знаешь..., тебя в Москве приговорили к расстрелу?

Она умирала от любопытства, ей хотелось знать больше, чем из газет, она впервые видела русского героя и представляла его совсем иначе. Перед ней сидел не «супермен», а довольно усталый, не молодой мужчина, в потрёпанном пиджачке и стоптанных башмаках.

Герой молчал.

— Ну, а что ты умеешь делать в жизни? Это правда, что ты режиссер и на телевидении работал? На это у нас не проживёшь, нужно тебя толкнуть в жизнь, знаешь, у меня куча связей, друзей пол-Парижа, хотя русских здесь как собак не резанных, все голодные, все хотят урвать, да побольше. Хоть и пишут в объявлениях, что они с тремя дипломами, но готовы на любую чёрную работу. Нужно подумать как тебя приспособить.

Он молчал, он устал рассказывать о себе, хотелось выпить и желательно водки.

— Слушай, а ты и вправду князь? Я эту белую кость презираю, их нужно было всех в семнадцатом перерезать, да многие сбежали, в Париже осели. Ты за Царя или против него... а может ты православный, верующий? Видала я в гробу это ваше православие...

— К сожалению, я плохой верующий, — глухо произнёс Александр Сергеевич. — Я не совсем понимаю, о чём вы говорите, я не знаю этой страны и плохо знаком с эмиграцией, только сейчас начинаю понимать как она разнообразна. Оказывается, в ней есть и такие люди как вы и ваш муж, они думают иначе...

— Иначе, чем кто? Знаешь, Пушкин, я ведь из Польши приехала, меня малышкой сюда привезли, я родилась в Львове, помню, как в Варшаве мы с сестрёнкой развлекались, поливали чернилами из окна польских девчонок, которые к первому

причастию шли. Вот умора была, все их белые платица в фиолетовых подтёках... Мои родители в Польше преуспели, папа был военный, мама в гарнизоне столовой заправляла, а потом нас сложными путями выгнали сюда дальние знакомые. Правдами и неправдами, удалось переправить кое-что из папулькиных накоплений, он у меня марки коллекционировал, так, когда мы через границу ехали, никому тогда в голову не пришло всматриваться в его марочные альбомы... да под подкладку пиджака. Долго рассказывать о нашей жизни не буду, мыкались мы здесь годами, всякие «толстовские фонды» помогали, мы ничем не брезговали, потом мои предки магазин открыли... антикварный, ну а потом я встретила «индуса». Он на меня клюнул сразу, а я своего шанса не упустила, сразу родила ему маленького гения. Ты плохого не подумай обо мне, я своего Шасю люблю, он мне все прощает, жалеет меня. Мы с ним одного поля ягода. Знаешь ведь его бабушка из троцкистов-бомбистов, а дед, писатель, из революционеров, так что к «белой кости» у него наследственная аллергия. С ним на эти темы разговоры лучше не заводить, засмеёт.

Голицын посмотрел на часы, было уже за полночь, пора уходить и захватить Аллу, хотя вырвать её отсюда задача не из лёгких. Откровения Зоры были ему неинтересны, за последние месяцы ему многое стало ненавистно в русских эмигрантах, а разобраться в тонкостях, понять, почему одни ненавидят других, он не мог. Его жизнь сложилась здесь не совсем так, как он себе представлял.

Зора, подлила себе в стакан и уютно устроилась в шёлковых подушках низкого дивана.

— Присоединяйся герой, у нас вся ночь впереди, поговорим о жизни, я страсть как люблю философствовать. Я твои статейки в «Русской мысли» читаю, так себе, не очень гениально, знаешь, ведь я тоже сочиняю, готовлю книгу рецептов, вот Алка её корректирует, хотела тебя попросить, помочь мне... может, подкинешь кое-какие идеи?

Голицын выпил и почувствовал как его нижние конечности растворяются, кресло, в котором он сидит, оторвалось и плавно полетело по комнате, голова наполнилась веселящим

газом, а мысли поскакали чехардой и призвали к хулиганским действиям.

— Что же вам своих «рабов» не хватает? Муж ваш такой пост занимает, что, наверное, многие русские готовы услужить ему и вам? Я слышал, от Аллочки, как вы её третируете, да и не только её...

Зора злобно сверкнула глазами.

— Ты, наверное, Пушкин, не читал Оруэлла, там у него в «Скотском хуторе» персонажи прописаны — коровы, куры, свиньи, козлы, они мне вполне кое-кого напоминают, а из своего личного опыта, я давно заключила, что только русские должны подтирать задницы нашим детям, у них это замечательно получается, ну и в зависимости от талантов, делать кое-что другое.

Он и не подозревал, что вдруг, все те чувства, которые он когда-то испытывал к жене, отрицательная масса гнилой энергии, разьевшая его душу — враз, вскипит! Вскрыть нарыв, тогда смелости не хватило. А тут, у него не только зачесались руки, но и какой-то голос шепнул, что совершенно спокойно, он может не только закатить неприличный скандал, но крепко врезать по личику этой вульгарной старой кукле. Ему было невыносимо слышать не только личные оскорбления, но и что к России, относятся как к какому-то прогнившему телу, а к русским как к скоту.

Он встал, его сильно качнуло.

— Слушай... ты, я хочу тебе дать совет...

Дыша вином и ненавистью, он схватил её за руку, она взвизгнула, народ примолк, а он не узнал своего голоса.

— Слушай, кто тебе дал право так презирать русских!

— Патриот... поганая рука Москвы, вон из моего дома!

— Не волнуйся, я сейчас уйду, только скажу тебе кое-что. Прекрати писать свои бездарные кулинарные книги, всё это сплошной плагиат и компиляция... пока не поздно, заведи молодого любовника, грабани мужа, а не то твой Шася тебя опередит, видишь он уже в том углу тискает Аллочку.

Ха-ха-ха! Он смеялся. Он хохотал. Он дёрнул её за бант, тот покосился и вместе с рыжим париком остался у него в руке!

Гробовая тишина резко сменилась реквиемом, это Шася врубил магнитофон на полную катушку.

— Заткни своего Моцарта! — рявкнула Зора и плеснула вином в лицо Голицыну.

Кто-то кинулся её успокаивать, Шася в панике метался по комнате, Аллочка повисла на Голицыне, больно вцепилась зубами в его руку, но он вырвался и ринулся к выходу, опрокинул стул, поскользнулся, чуть не растянулся, захватил на ходу недопитую бутылку виски и громко хлопнул дверью! Уф! Ура! Скандал вышел на славу!

Ноги несли сами, только странно, что они были как не свои, и выделявали странные кульбиты, то спешили, то плелись, носки цеплялись друг за друга, а иногда ему казалось, что он на цирковых ходулях и тени ночных автомобилей скользят где-то внизу. В голове звенела счастливая пустота и навязчивые аккорды реквиема.

Он был доволен, ему было хорошо.

Свершилось!

Он свободен, как ветер и этот город его — дом!

Вот она — долгожданная воля!

Он шёл медленно, спешить было некуда, всё окончательно в прошлом, на ходу он подносил горлышко ко рту, отпивал большой глоток, весёлая компания молодёжи обогнала его, кто-то ободряюще похлопал по плечу, дал прикурить, вот он миновал знакомый квартал, потом площадь, видно завтра здесь будет базар, потому что заранее приготовлены длинные столы под навесами, ещё поворот, он уже на незнакомой безлюдной улице, откуда-то потянуло сыростью, будто из подвала, ему показалось, что впереди маячит огонёк, наверное, это станция метро, хотя уже поздно и оно закрыто, вот ещё несколько метров и резкий свет фонарика ослепил его, залаяла собака, кто-то закашлял и хрипло сказал: «Камарад, вьен ше ну, не па пёр...»

Так, он и не испугался, а с радостью принял приглашение, опустил на что-то ватное, мягкое, тёплый воздух вентиляционной решётки смешался с запахом дешёвого вина и грязных тряпок, рядом зашевелилась фигура под одеялом и невидимая рука укрыла его плечи чем-то тяжёлым и мохнатым. Веки отя-

желели, голова склонилась на чью-то спину и засыпая, почти машинально он похлопал себя по боку, там, где обычно хранился его бумажник с документами, но карман был пуст.

«Вот и хорошо, — проваливаясь в сон, и блаженно улыбаясь подумал Голицын — как всё славно получилось, теперь я свободен, и никто, никогда не найдёт меня».

Париж, 2005–2006

Содержание

Заворожённость жизнью	5
Вера, надежда, любовь	15
Муки творчества	123
Недоумок	167
Часть первая	
Несчастный случай	168
Другой отец	179
Тётя Мила	184
Катюха	189
Переживания	192
Личные неприятности	201
На пороге счастья	213
Планы	224
Свобода, слава, деньги	240
Часть вторая	
Призраки	254
Шум прошлого	277
Новорождение	297
Песчинка	322

Об авторе

Ксения Кривошеина (урожд. Ершова) — художник, литератор, общественный деятель. Родилась в России, с 1980 года живет и работает в Париже. Публиковалась (рассказы, эссе, романы) в издательствах «Искусство», «Логос», «Христианская библиотека», «Сатисъ», а также в журналах «Фома», «Нескучный сад», «Звезда», «Знамя», «Новой журнал», «Нева» и проч. Автор сайта «Мать Мария (Скобцова)», где собраны уникальные материалы по Серебряному веку, русской эмиграции, архивные фотографии и документы по Сопротивлению во Франции. В 2004 году в издательстве «Искусство» вышла книга «Красота спасающая», в 2015 году в издательстве «Эксмо» — монография «Мать Мария (Скобцова), святая наших дней»

Ксения Кривошеина
ШУМ ПРОШЛОГО

Главный редактор издательства *И.А. Савкин*
Дизайн обложки, оригинал-макет *Т.И. Индутная*

ИД № 04372 от 26.03. 2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*)
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aleteia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6, www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея». Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение». Тел. (495) 915-31-00

Подписано в печать. Формат 60x88/16.
22 п.л. Печать офсетная.